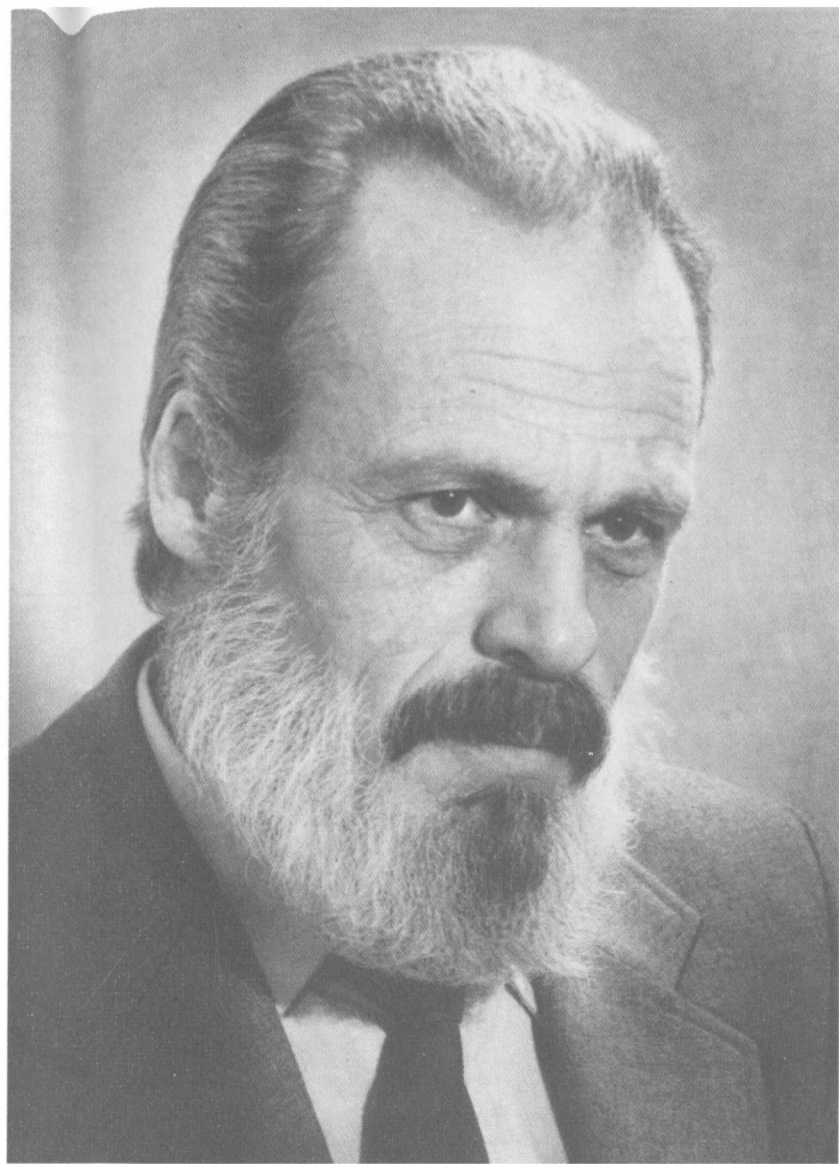




БОРИС
ХОТИМСКИЙ

ПОЛЯНЕ





**БОРИС
ХОТИМСКИЙ**



ПОЛЯНЕ



РОМАН-ЛЕГЕНДА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1989

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I. СИЛЬНЕЙШИМ БЫТЬ	6
Часть II. ОТВЕТ ЗА ЗЕМЛЮ	154

Борис Исаакович Хотимский

ПОЛЯНЕ

Оформление Евгения Соколова

Иллюстрации Александра Добрицына

Редактор В. Г. Клименко. Худож. редактор Е. Ф. Капустин
Техн. редактор И. М. Минская. Корректор Н. А. Кузьмичева

ИБ № 6844

Сдано в набор 26.07.88. Подписано к печати 18.11.88. А 05435. Формат 84×108¹/₃₂ Бумага тип. № 2. Академическая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 16,01. Тираж 100 000 экз. Заказ № 557. Цена 1 руб. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Хотимский Б. И.

Х 85 Поляне: Роман-легенда.— М.: Советский писатель, 1988.— 288 с.

ISBN 5—265—00650—8

Роман-легенда Бориса Хотимского «Поляне» посвящен жизни, трудам и войнам славянских племен, заселявших Поднепровье и соседние районы в VI веке нашей эры. Герои произведения — полулегендарный полянский князь Кий, его братья Хорив и Щек, сестра Лыбедь, дружинники и хлеборобы — наши далекие предки. Художественный вымысел, основанный на знании исторической эпохи, помог автору рассказать об основании города Киева, матери городов русских.

4702010201—433

X ————— **142—89**
083(02)—88

ББК 84 Р7

© Издательство
«Советский писатель», 1988

*Светлой памяти Татьяны Сергеевны
Бобковой-Хотимской, жены моей, друга
самого близкого, незаменимого*

«И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне называется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата, и назвали его Киев...

Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком; был-де тогда у Киева перевоз с той стороны Днестра, отчего и говорили: «На перевоз на Киев». Однако, если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. А между тем Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю, — не знаем только, к какому царю, но только знаем, что великие почести воздал ему, как говорят, тот царь, при котором он приходил. Когда же он возвращался, пришел он на Дунай, и облюбывал место, и срубил небольшой город, и хотел обосноваться в нем со своим родом, но не дали ему близживущие. Так и доныне называют придунайские жители городище то — Киевце. Кий же, вернувшись в свой город, тут и умер...

И по смерти братьев этих потомство их стало держать княжение у полян...»

(«Повесть временных лет»
перевод Д. С. Лихачева)

*«Автор хочет только, не умаляя значения истории,
утвердить значение легенды».*

(В. Гюго)

Автобус Львовского автозавода, похожий на сухопутный катер, вывез нас из Бориспольского аэропорта. Вдоль шоссе, покрытого серым и розовым асфальтом, с зеленым газоном посередине и яркими указателями по краям, плотно сияли, будто в почетном карауле, сосны с рыжими, как беличий мех, стволами. Давно знакомые сосны. Повзрослевшие теперь... Здесь в сорок первом, в тогда еще пахучем соснячке, я униженно отлеживался, носом в опадающую хвою, слушая хор певших на чужой лад моторов, зачем-то считая приближающиеся разрывы... следующий — мой?.. Тяжелый автобус, минув светлые многоэтажные новостройки, скатился, тормозя и напрягаясь, к Днепру, к широкому въезду на мост.

Кручи, зелено-желтые, вставали все ближе и все выше, вставали из неизмеримой глубины веков — и вот они уже не впереди, а вокруг, по сторонам, сверху, всюду, в моих глазах и в моей душе, сплошь! И в какой-то миг, на повороте перед подъемом, видны стали издали три легендарные горы над Днестром Славутичем. И не видна была четвертая... Или все были заслонены отсюда, а мне почудилось, будто вижу?..

Вон видно Старокиевскую, или Андреевскую, гору, отделенную Андреевским спуском — в прошлом Борицевым увозом, то есть подъемом. Над зеленым склоном — нарядно-голубое чудо зодчества — Андреевский храм, детище усыновленного Россией талантливой итальянца Бартоломео Растрелли. Неподалеку, как будто дворец на горе, высится сдержанно-величавое здание Исторического музея. В незапамятные времена на том месте выросла первая Киевская крепость, построенная, если верить летописной легенде, тремя братьями...

За Старокиевской — через давно засыпанный овраг, где текла Киянка, что впадала в речку Глубочицу (ныне на ее месте Глубочицкая улица), а та в свою очередь втекала в Почайну, приток Днестра, — Замковая гора. Или Киселевка. Или Фроловка. В разные века по-разному называли ее. На той горе, возможно, и был поначалу двор князя Кия, прежде чем перебрался он в просторную крепость. А кое-кто считает, что Замковая

гора и есть Хоривица, хотя такое название до наших дней не дошло — имя Хорива, единственное из имен трех братьев, затерялось в лабиринте давней истории. Иные же полагают, что Хоривицей были так называемые Иорданские высоты, или Лысая гора, которая подальше от Днепра и с берега не видна. Где же все-таки «сидел» Хорив? Пока неясно. Да и был ли он?..

А еще дальше — за горой Замковой, как раз заслоняя собой гору Лысую, — Щековица... Когда-то меж Лысой горой и Щековицей, на которой был двор княжьего брата Щека, протекал в овраге ручей Юрковицкий, теперь же там Нижнеюрковская улица...

Сколько нелегких столетий! Сколько событий, незабываемых и позабытых, столько поколений, сколько людей, умерших и народившихся! Не считая тех бесчисленных лет и веков, когда ни единого храма на приднепровских горах еще не высилось, а народ уже жил. Давно жил...

Как долго я вспоминаю все это и рассуждаю о вспомнянутах. А ведь увиделись тогда те три горы буквально на мгновение...

Часть I

СИЛЬНЕЙШИМ БЫТЬ

1. РАБ

До заката было недалеко. Облака-лебеди плыли не спеша по высокой голубизне, белое и голубое отражалось в неторопливых водах широкого Истра¹.

А люди на правом берегу торопились. Добить тех, кто сдуру все еще сопротивлялся. Разобраться с богатой добычей — взять с собой лишь самое легкое и ценное, остальное же утопить в реке. Перегнать вплавь на левобережье побольше захваченных коней, быков и овец, остальных же порубить на месте. Сжечь уцелевшие строения, сады и виноградники. Согнать в одну кучу полон — отобрать тех, кто попригоднее в хозяйстве либо на продажу, прочих всех прикончить. И успеть до сумерек убраться на левый берег, за Истр, который перешли сегодня на плотях еще до утренней зари, в тумане. Сейчас тумана как не бывало — солнце веселилось с недостигаемой высоты, сверкало на шеломах уцелевших и павших, на украшениях конского убранства, слепило поднятые к нему глаза, дерзко посмевающие взглянуть в его добела раскаленный лик. Здесь, на Истре, осень — как на Днестре лето: жара...

На побуревшую, побитую копытами траву свалилось коричневое, будто из обожженной глины, тело Раба. Кровь выбилась из черно-серебряной густоты волос и потекла обгоняющими друг дружку яркими струйками — по глиняно-коричневой коже, на бурую траву.

Он не родился рабом. На далекой отсюда своей земле он знал свободу. А что такое свобода? Богатство? Нет. Может быть рабом своего богатства. Так что же это — свобода? Не знать удержу своим прихотям? Нет. Можно быть рабом своих прихотей. Быть свободным — значит

¹ И с т р — Дунай.

быть самому себе хозяином, хорошим хозяином, бережливым и щедрым, добрым и строгим. Таким он был когда-то на своей земле, далеко отсюда.

То была горячая и суровая земля, вся в морщинах и трещинах, как кожа старика. Лишь узкая полоска, отвоеванная у пустыни нескончаемым трудом бесчисленных поколений, отвоеванная с помощью единственной в том краю реки — меньше здешних разлиivistых рек, — лишь эта полоска дарила немногие злаки и всяческие плоды — пламенно-рыжие и матово-фиолетовые, как ясное ночное небо.

Ни он, ни его предки не были, однако, земледельцами. Их род с незапамятных времен пас низкорослый скот в невысоких горах. И — чего не натворишь, покуда молод и не обременился семьей! — там, в горных пещерах, собирал он друзей, таких же молодых и независимых, и жили они как братья, деля меж собой поровну вино и хлеб, одежду и оружие. Готовились подняться — в который раз! — против Второго Рима¹, восточного. Как поднимались когда-то их прадеды против Рима Первого, западного. Сколько их было, таких восстаний, и все — тщетно... Тщетно ли? Кто знает, не восставали бы предки поколение за поколением — сбереглась бы у потомков непримиримость к какой бы то ни было несправедливости? Нет, ничем не истребить ее теперь, эту непримиримость, унаследованную от славных прадедов! Она может затаиться, выждать, долго и терпеливо ждать своего часа, но рано или поздно она проявится — не у отцов и сыновей, так у внуков и правнуков... И вот снова проявилась. И снова — тщетно...

Восточные римляне почему-то не распяли вниз головой и не четвертовали молодого вождя повстанцев, не скормили львам-людоедам и не залили глотку расплавленным свинцом. Вероятно, в порыве великодушной снисходительности (сильные мира сего иногда позволяют себе такую роскошь) они даровали ему жизнь — на время. Но взамен отняли свободу — навсегда. Сделали рабом.

Быть может, потому еще пощадили, что проводали о его умениях. Возглавлявший повстанцев пастух знал не только своих коз и овец, но еще знал столько разных

¹ Второй Рим — Византийская империя и ее столица Константинополь.

языков, сколько пальцев на руке. И при всем при том умел также врачевать раны и ухаживать за лошадьми. Он был ценным рабом, а восточные римляне знали толк в ценах и умели не упускать своей выгоды.

Потомки западных римлян к тому времени давно выродились и были покорены свирепыми готами. А эти, восточные... В их жилах текла греческая кровь, смешанная с кровью многих прочих народов; они говорили и писали теперь не столько по-латыни, сколько по-гречески, и не Рим был теперь их главным городом. Но все их законы и указы звучали только на латинском языке, и они гордо называли себя римлянами, а всю свою империю и ее столицу — Вторым Римом.

Раб был продан немолодому Хозяину, возглавлявшему гарнизон одной из пограничных цитаделей на правом берегу Истра. Крепость эта то и дело отбивалась от участвовавших нашествий славянов и антов¹, родственных меж собой и говоривших на почти одинаковом языке. Гарнизон получил подкрепление. Хозяин начал предпринимать встречные вылазки и велел Рабу овладеть еще и тем нелегким языком, после чего всегда брал его с собой в сражения — для переговоров с противником и допроса пленных. Однако никакого оружия Рабу не доверили. Было бы у него сегодня хоть какое-нибудь оружие! Как это тяжело и унижительно — погибать без возможности защищаться...

Хозяин не обижал своего столь ценного раба, даже оберегал всячески (до нынешнего дня, когда и самого себя не уберег!) и никому не продавал, хотя деньги ему за такую живую ценность предлагались немалые и не раз. Даже позволил Рабу жениться на приглянувшейся рабыне-гречанке, которую разоренный и затравленный имперскими чиновниками земледелец продал в рабство еще подростком — в счет недоимок. Она тоже неотлучно находилась при Хозяине, поскольку умела готовить вкусные блюда, а тот, как и многие его соотечественники, был изрядным чревоугодником. Не желая отказывать себе в любимейшем из удовольствий, он не оставил повариху в цитадели даже на сей раз, хотя она вот-вот должна была родить.

Кого родить? Раба или рабыню? Где она сейчас,

¹ А н т ы — восточные славяне в V — VI веках, предки русских, украинцев и белорусов.

жива ли? Удалось ли ей спастись? Не дай бог — плен. Беспощадные анты и славины не пощадят беременную — какой, мол, от нее прок...

О ней, о жене своей, и подумал первым делом Раб, когда очнулся и увидел перед глазами бурую траву, забрызганную кровью, своею собственной кровью, когда-то свободной, а ныне рабской...

Брызги на траве стали быстро расти, будто приближаясь, превращались во множество красных светил, прозрачных и заслоняющих друг друга, покуда все не застало сплошь прозрачно-красным, огромным и так тоненько звенящим. Нарастала, вместе с красным и звенящим, нестерпимая боль в глазах и ушах, накатывала непривычная, пугающая дурнота... Затем не стало ни боли, ни краски, ни звука.

2. РЕКС

Рекс — предводитель полянской дружины антов — ликовал. Победа! Большой полон, богатая добыча. Радость безмерная! Запрокинув над собой турий рог на цепочке, с узорчатым серебром по краю, заглотнул без передыху все вино из него. Добытое у ромеев, багряное и густое, как тихая кровь из взрезанной руки. Кислятина! Свой мед вкуснее — не сравнить. Да жаль, из взятого с собой в поход несколько не осталось. Коли будет на то воля богов, вернется Рекс на Днепр, к родным Горам, — уж там не одна вместительная посуда из облитой глины, пузатая да широкогорлая, полная меду, ждет его...

Теперь он не жалел, что примирился с соседними антами — росичами, северянами, древлянами и прочими. Иные же, помельче, давно уже считали себя полянами и называли так же, эти все с ним пошли на Истр. К ним примкнули спустившиеся к Горам по рекам из полуночных лесов дреговичи и кривичи, радимичи и вятичи... Много племен пошло в этот поход. Иные, не имея достаточно челнов и коней, на полпути отстали и сели на свободных землях, прельщенные их плодородностью. Зато уже в степной полосе прибавились дружины дулебов, уличей и тиверцев. А подойдя к болотистому устью Истра и поднявшись по левому берегу, соединились со множеством славинских племен, которые не первый год уже подходят к Истру из горных лесов, из лесных

топей, оседают целыми родами на левом побережье и все настойчивее, все чаще переходят на правый берег, разоряя пограничные ромейские земли. Набеги эти славинь нередко затевают вместе с антами. Так было и на сей раз. Славный поход, славный набег! Нет, Рекс не жалел, он был доволен.

Вспомнил, как перед рассветом, оставив вытащенные на песок челны и упрятав в кустах левобережья походные возы, переправились на плотах и просто вплавь через Истр, углубились тотчас, на ходу просыхая, в правобережные земли и к началу дня достигли великой крепости. Стены — как обрывы на полянских Горах, крутые, высокие. Десять башен вдоль стен стоят — девять четырехугольных и одна круглая, кверху сужающаяся. По двум углам — спаренные, по другим двум углам — одинокие, но те два угла на речку выходят, которая в Истр втекает. К одной угловой башне — мост через речку, а на мосту был пост ромейский, но славинь еще ночью подобрались и вырезали его весь. По бокам от круглой башни — двое небольших ворот, прямо в стенах, к ним две дороги проложены. И еще дорога, пошире, входит в крепость через ворота головной башни, что высится по другую сторону от речки. Внутри крепости все вошедшие в нее дороги продолжаютя. пока не встретятся, а по сторонам от них — дома светлые каменные, крыши двускатные под рыжей черепицей, одни повыше, другие пониже. На самом высоком, выше головной башни, крест виден, там ромей своему богу молятся. Иные дома не сами по себе стоят, а тесно, один к одному впритык, окружая свободную площадь. Будто вторая крепость внутри получается, подступись попробуй. На площадях повсюду — шатры ромейские, двускатные и конусом. Возле конюшен все уставлено повозками и боевыми двуколками, дышлами в небо. Тут и там ромей строем ходят, копыя держат ровно, не как-нибудь. Каковы-то они в бою окажутся, в сече лютой?..

Славинь решили подойти со стороны круглой башни — там все же двое ворот в стене, в случае чего легче будет пробиться. Анты, в их числе и поляне Рекса, укрыли себя и коней по другую сторону крепости, за развалинами построек, сгоревших еще в прежний набег — одни только каменные стены да обезглавленные мраморные столбы остались...

Не счесть подошедших к крепости славинь, детей

многих братских племен, обитающих на полночь от Истра и говорящих единой речью, понятной каждому анту. Одни после набега возвратятся восвояси, в покрытые тесным лесом скалы, прорезанные туманными ущельями, на заросшие склоны пологих холмов и в сырые долины. Другие попытаются осесть и закрепиться здесь, на левобережье, где после прежних набегов иные, пошустрее, успели обзавестись хозяйством, женами да младенцами в кое-как устроенных полуземлянках-мазанках. Строиться надолго и основательно смысла мало: здесь не лес, где укрыться можно, — здесь то ромейское войско потревожит, а чаще — гунны с восхода или готы с заката, теми же ромеями натравленные. Сегодня, однако, сами славины — вместе с боевыми друзьями братьями антами — вознамерились потормозить да попотрошить ромеев. Для того и переправились через Истр.

Где ложбинкой, где за бугорком, вжимаясь в остывшую за ночь росистую траву, продвигая перед собой выдранные кусты, подползли пешие славины к стенам крепости. И — по знаку своих вожаков — появились у самых стен внезапно, разом, будто из глубин земли выскочили. Тут же достали стрелами сколько-то раззявромеев, не успевших укрыться за зубцами стен. Но с круглой башни и с той угловой, которая слева у моста через речку, — отовсюду сыпанули по славинским головам ответными стрелами, а также камнями. И не одна голова, в темно-русых долгих кудрях либо обрито-чубатая, улеглась в траву и пыль тут же, перед стенами.

Немногие из тех голов были прикрыты железными шеломами, тяжкий деревянный щит едва ли не во весь рост — вот и вся оборона славина. У кого лук да стрелы, нередко отравленные, у кого копье да секира. Иные — не опасаясь полуденной жары — в мохнатых безрукавках, мехом наружу. Другие — не страшась утреннего холода — в одних только шароварах. Редкие, кто познатней да побогаче, в шеломах да при мечях с тяжелыми круглыми навершиями. Все они явились сюда еще раз померяться силами с непобедимыми ромеями, попытать боевого счастья, а заодно припомнить былые обиды: замученных товарищей и братьев, поруганных жен и порубанных деток, спаленные хижины, угнанный скот. Отплачивали тем же, за жестокость жестокостью. Так уж было в те давние века...

Славины рассчитывали угнать множество скота, за-

хватить полон — особенно женщин и детей, с которыми меньше мороки в пути, в хозяйстве и на восточных рынках. Надеялись добыть и унести с собой немало ромейских украшений с дорогими камнями, золота и серебра. Пригодится и взятое у недруга оружие. Конечно, наибольшая доля достанется вождям, кое-что — на украшение женам с дочерьми, а все остальное будет закопано в заветных местах. Для чего? А — впрок. Может, когда-нибудь для выкупа понадобится. И в случае чего чтобы никакой пришлый враг не нашел, не отнял. Бывает, правда, что и сам не найдешь, позабыв, где упрятал. Бывает и такое...

Вот для чего кладут славины свои беспечные головы под неприступными крепостными стенами.

Только не все еще головы сложены. Под летучими камнями и стрелами, прикрываясь размалеванными великими щитами, славинские толпы начали отходить от неприветливых стен. Все быстрее, быстрее. Вот побежали. Будто в страхе великом. Но успевая поджигать за собой каждое дерево и каждое строение на пути. Сколько-то прихваченного скота, а заодно и часть полона загнали в долгий амбар, заперли и тоже подожгли, — невыносимые крики людей и животных доносились оттуда до крепости. Можно ли живому человеку терпеть, слушая такие крики?

Не стерпели ромей. Раскрылись непробиваемые ворота в стенах справа и слева от круглой башни — тесными колоннами вышли оттуда воины, развернулись по команде, построились квадратами и, уставя длинные ровные копья одно к другому, двинулись — квадрат за квадратом — по пятам убегающих славин. Следом выехали боевые колесницы со стрелками и, обгоняя пешех, помчались вперед, посылая стрелами все пространство перед собой.

И тогда, как это было задумано, выскочили внезапно из-за развалин конные анты, не одна тысяча стремительных всадников. С грозным рычащим кличем помчались дружина за дружиной, рассыпаясь на скаку вширь по всей окрестности, огибая крепость и отрезая от нее ромейскую пехоту.

Рекс со своими полянами врубился в один из квадратов. Рука привычно ощущала, как поддаются, пробиваются вражеские медные каски под яростными ударами граненого железа его тяжелой булавы. В какой-то миг



увидел — неподалеку от себя — сына, срезающего мечом острую верхушку ромейского копья. Это был первый поход и первый бой его старшего сына, которому еще весной минуло семнадцать...

Что мог ромейский гарнизон за пределами своих стен перед неожиданным шквалом тысяч антских всадников? Набранные в долинах Иллирии простаки-земледельцы и диковатые пастухи-горцы из Исаврии, Пизиции и Ликаонии, кое-как обученные наспех строю, одинаково обмундированные и вооруженные, они владели мотыгой и овечьими ножницами лучше, чем копьем и мечом. Лишь немногие, из наемных готов и гуннов, были меткими стрелками. Все они, сколько их вышло из крепости, во главе со своим неудачливым начальником, полегли у стен, не защищенные ими и не защитившие их.

А тем временем успевшие заблаговременно укрыться за неприступными стенами окрестные жители не мешкали. Они заперли ворота перед самыми мордами антских коней, затем поднялись на башни и стены, полные решимости защищаться до последнего. Иного выхода у них не было. Разогревали смолу в котлах — лить со стен на штурмующих. Собирали в кучи камни — чтобы побольше было под рукой.

Но грозные пришельцы не собирались штурмовать крепость, у них не было ни штурмовых лестниц, ни осадных машин. Выманив и перебив гарнизон, они теперь беспрепятственно жгли и разоряли окрестности, беря все пригодное — от золотой монеты до молодой жены, уничтожая все невзятое.

К исходу дня начали переправляться обратно через Истр на левый берег, уводя множество скота и жителей. Каждое племя — само по себе. Воевать им было выгодно совместно, делить же добычу — порознь.

Перебравшись, первым делом принесли щедрые жертвы богам — в благодарность за боевую удачу. Кололи быков, овец и птицу. Иные племена сжигали и топили прихваченных с собою раненых ромеев — лучший подарок ненасытным богам...

Сожгли, уже в сумерках, павших. Одних — в челнах на воде, других — на береговых кострах. Некоторые антские племена к тому времени уже отвыкали сжигать своих покойников и ставить глиняные сосуды с прахом на межевых столбах либо закапывать под высоко насыпан-

ными могилами¹. Предпочитали погребать не сжигая, но по-прежнему — с необходимой утварью и оружием, а вождей — с любимым конем и любимой женой. Здесь же, в походных условиях, всем пришлось хоронить павших товарищей по старинке — сжигать. Хотя у каждого племени — свой обычай...

Искры вырывались из клубов тяжелого желто-серого дыма и улетали в вышину, в потемневшее небо, смешиваясь там с пробуждающимися звездами. Может, то улетали души павших бойцов, улетали туда, где нет предела ни времени, ни пространству?

К полуночи догорели сады и постройки на правом берегу вокруг крепости. Но до рассвета горели костры на левобережье — уже не погребальные, а те, которые славяны и анты всегда разводят на своих стоянках. Победители пиروвали, празднуя успех и поминая каждого, кто отдал свою жизнь за этот успех. Поляне сидели среди сдвинутых своих возов на снятых с усталых коней кожано-деревянных седлах перед большими кострами, озарявшими их светлые одежды и медно-смуглые усаые лица. Пили из ковшей и турьих рогов захваченные ромейские вина, шумели непринужденно. Иные весельчаки прыгали через огонь либо, забыв утомленность, пускались в лихой пляс, под дружные хлопки остальных, взмахивая руками, взлетая выше плеч и выбивая крепкими сапогами дух из этой чужой земли. Устрашающе вскрикивали, с пронзительным присвистом. Отплясав, снова возвращались — кто на свое седло, а кто и мимо. Тут же были музыканты, звенели под крепкими пальцами жилистые струны, звучали рожки и дудки. Сотни дружных мужских глоток гремели в ночи, спугивая пламя костра, — то грозную походную, то удалую застольную. И снова подхватывались — теперь уже не по одному, а все разом, — переплетались положенными друг другу на плечи сильными руками и двигались единым кольцом вокруг беснующегося пламени, молча и сдержанно прищипывая.

Рекс ликовал и веселился вместе со всеми.

К утру, утомленные дневным боем и ночным пиром, сморились и уснули — кто где и как попало. Лишь немногие, включая вожakov и дозорных, все еще держались.

М о г и л а — в данном случае холм, курган.

Рекс подозвал своего темно-игреневого коня — с хвостом и гривой, такими же ковыльно-седыми, как чуб и усы хозяина. Взнуздал, оправил нарядное, в серебряных бляшках, оголовье. Оседлав, проверил и подтянул подпругу. С неутерянной легкостью поднялся и плавно опустил свое тяжелое тело меж передней и задней лукой, каждая — в серебре. Огладил, лаская, сильную темно-рыжую шею боевого товарища, тронул каблуками упругие конские бока.

Объехав без торопливости дозорных — не уснули бы! — направился к реке.

Дажбог¹, румяный и великий, выбрался из своего ночлежного жилья за окоемом, прогнал туманы над водой и окрасил светло-червонным² видневшиеся вдалеке на правобережье верхушки крепостных башен. Нет, не взять их. Никто еще не брал крепостей ромейских. Надо не ждать, не оглядываться на остальных, уводить полон и увозить добычу. Торопиться надо. Скорей к себе, за Днепр, к Горам, где на одной из правобережных высот, в родовом дворе, за частоколом на волю над яром, ждут его жены, и одна из них — как знать — может, встретит своего мужа добрым подарком — новым сыном... Во многих других родах теперь жен недостает, приходится выкупать у соседей, а то и, как бывало, умыкать. В роду Рекса мужей пока хватает, и братьев, и зятьев, и племянников. Сыновей же немного осталось. Совсем немного — один всего. Остальные в стычках с соседями полегли да из походов дальних не воротились. И самый молодой, Кий, вдруг оказался самым старшим. Благодарение Дажбогу, не погиб в этой первой своей сече. То добрый знак. А вот и он сам, на помине легкий!

Кий подъехал на золотисто-рыжей кобыле-шестилетке с недолгим и негустым хвостом. Сам высокий, тонкий в поясе, а плечи — как у отца, усики пока еще недолгие и негустые, темно-золотистые на чуть скуластом лице. Под карими, как и у Рекса, глазами зеленоватые тени — с непривычки, молод еще, не окреп. Над глазами — двумя дугами края островерхого шлема с пластиной над носом. Такой же и у Рекса, только с пучком крашенных перьев. На обоих — поверх расшитых цветными нитями белых сорочек — железные кольчуги, перехваченные в поясе

¹ Д а ж б о г — солнце, бог солнца.

² Ч е р в о н н ы й — красный.

широкими ремнями в круглых бронзовых бляхах, на бронзовых пряжках. Просторные шаровары, у Рекса — червонные, у Кия — синие, стянуты по животу под сорочками тонкими кожаными очкурами¹, заправлены в кованые сапоги из прочной кожи молодого бычка, смазанные кабаньим жиром. Темные шерстяные плащи на каждом схвачены у плеча золотыми с камнями пряжками. Нож и меч на поясе у Кия, пожалуй, еще наряднее отцовских. А брови под шоломом хотя сейчас не видны, но Рекс знает: они — крыльями, материнские. Не похожа мать Кия на прочих полянских жен.

Да и сами поляне не все обликом сходны. Кто только и откуда не приходил к ним на Горы! Одни с незапамятных времен на Днепре жили, другие в разные времена появлялись — кто из полуночных лесов, кто из полуденных степей. Кто из звероловов, кто из пахарей. И все — кметы², если потребуется...

Отец и сын ни слова не промолвили друг другу — для чего слова лишние? — только кони встали рядом да сапоги соприкоснулись. Оба глядели за Истр, на безмолвную крепость, озаренную встающим Дажбогом, на все еще дымящиеся окрестности. Радостные утренние чада Стрибожь³ прилетели от реки, взбодрили гривы и хвосты коней, пошевелили края плащей и остудили лица всадников, прогоняя сонливость.

— Как там полон? — спросил Рекс, не поворачивая взора.

— Двое померли за ночь, — ответил сын, так же продолжая глядеть на реку.

— Меньше возни. В Истр их!

— Уже там. Остальные — добрый полон. Всех к Горам пригоним, продавать не станем.

Рекс кивнул одобрительно. Еще помолчали, прежде чем Кий добавил:

— Одна рабыня там... не нынче завтра родит.

— В Истр!

— Жалко же, отец.

— Обуза в походе. В Истр, немедленно!

— Отец!

— Что-о?!

¹ О ч к у р — шнур, чаще из тонкой кожи.

² К м е т — боец, воин, независимо от положения в войске.

³ С т р и б о г — бог ветра, ч а д а — дети.

У антов не было принято так долго спорить со старшим, тем более с отцом, и не просто с отцом, а с вожаком, да еще в походе. И Кий никогда прежде не позволял себе подобного. Но сейчас — какой черный дух овладел им? Брызнул огнем из-под шелома, дернул повод — рыжая кобылка заплесала под ним на месте.

— Позволь молвить, отец! Вспомни, моя мать тоже ждет там, на наших Горах... Тебе — сына, мне — брата... Эту утопим — Перун¹ покарает. Что тогда будет с матерью? Побойся Перуна!

— Перун знает, кого карать. В Истр ее! Я сказал.

— Отец...

— В Истр брюхатую! — заорал разъяренный Рекс. — А ты... Ты вчера мне больше нравился!

Кий смолчал, стиснув челюсти, круто развернул свою рыжую кобылу, поднял ее свечкой и с места пустил вскок.

Рекс поглядел вслед сыну, вздохнул хрипло. На душе осталась беспокойная тяжесть. И тут он заметил, что Истр переменился, потемнел весь и задрожал рябью. А из-за зубчатых башен крепости, навстречу восходящему Дажбогу, над озаренным камнем, выплыла невесть откуда взявшаяся угрюмая черная туча. И в ней — Рекс отчетливо увидел — раз и другой сверкнули ослепительные ломаные стрелы. Перун гневался!

Ладно, решил Рекс. Не сына послушаю — самого Перуна ослушаться не посмею. Раз он не желает такой жертвы... Отправлю ту рабыню вместе с прочими к Горам. Жене в подарок. А кого родит рабыня — тот пускай станет подарком будущему сыну, который все же должен успеть народиться к возвращению своего отца... Только бы Перун не гневался!

Он повернул своего игреневого, чтобы поскакать вслед сыну, сказать о своем новом решении, пока тот и впрямь не утопил полонянку в Истре. Но, повернув коня, увидел такое...

Ошеломленный, Рекс замер на миг, рванул себя в отчаянии за свисающий сивый ус и что есть духу помчался к возам, где спали у затухших костров его поляне.

Так вот он где, гнев Перуна!

Закрывая собой половину окоема и неотвратимо при-

¹ П е р у н — бог-громовежец.

ближаясь, разворачивалась тяжелая ромейская конница. Судя по всему, она только что перешла Истр выше по течению. На сей раз предстояла встреча не с теми злополучными пехотинцами из гарнизона — шла безупречным боевым строем неудержимая императорская конная гвардия, посланная на выручку осажденной крепости. Сверкали под лучами взошедшего Дажбога шеломы и панцыри всадников, налобники и нагрудники коней, щиты и острия копий. Трепетали червонные перья на шеломах и значки на копьях. Этих ничто не остановит, налетят и сомнут.

Уходить! Немедля уходить... Поздно, не успеть! Что же делать? Бросить полон на добычу? Воротиться ни с чем?

По всему левому берегу началась суматоха. Славины, анты — все металось в великом беспорядке, не слыша и не слушая вожakov. Кто дрался с соседом из-за добычи, кто ловил ошалелого коня. Многие, побросав все и всех, улепетывали — в седле или на своих двоих. Проскакал тяжело храпящий конь под двумя всадниками — один вцепился в другого. Далеко ли так ускачут?..

Дружно, не теряя порядка, уходила на резвых конях многочисленная дружина бесстрашных росичей, обитающих на полдень от полянских Гор, где в Днепр впадает речка Рось. Уходили, кое-как собравшись, дружины прочих антских и славинских племен, каждая своим путем, со своим вожаком, сами по себе. Не было единого князя, единого войска — пропадала зря великая сила...

А ромейская конница неотвратимо приближалась.

Рекс — с помощью сына и своего брата Идара, бывшего вояки, — насилу пробудил и собрал полян. Согнали в кучу немногий полон. Угнанный скот удержать не сумели — быки, овцы, козы разбежались с ревом и блеяньем, усугубляя общую сумятицу. Челны спускать на воду не стали, так и оставили на прибрежном песке. Придется уходить верхоконно, степями.

— Уводите всех к Горам! — крикнул Рекс, обращаясь к Идару и Кию. — И полон уводите. Поторапливайтесь, еще можно успеть! А я задержу ромеев.

— Я с тобой, отец!

— Ты опять?! Идар, уводи его! Скорее, не теряйте часу!

— Отец!..

— Делай, как велю!!

Идар схватил рыжую кобылу племянника за узду, рванул — и оба поскакали рядом, увлекая за собой остальных.

Окруженные взбудораженными всадниками, торопились без дороги тряские возы, груженные небогатой поклажей и ранеными. На возах же угоняли полонянок с чадами, а мужской полон принуждали бежать своим ходом. Отстающих, упавших не подбирали — оставляли на волю богов.

Идар, отпустив теперь Кия, сказал последним, подгоняя замыкающих, то и дело оглядываясь.

Впереди их ждал знакомый, но нелегкий путь через ковыльную степь — до первых перелесков, за которыми — Днепр и Горы. И — еще в степи — не одна стычка с остатками бродячих гуннов, от которых отбивались, окружив полон и раненых уставленными впритык вожами.

Позади, на берегу Истра, полянский вожак Рекс вместе с немногими старыми и верными дружинниками принимал свой последний бой.

3. СУДЬБА ИЛИ ВОЛЯ?

Оба были из тех скрытых отсюда за Родопскими хребтами благодатных земель, где вспухшие жилы невысоких гор поросли неприветливыми дубравами, а в широких котловинах меж ними поют свои нескончаемые песни прохладные реки и на цветущих по веснам плоскогорьях пасутся табуны полудиких коней. Вот уж десять столетий прошло с той поры, когда вылетел из тех земель и поднялся в бесконечные высоты истории славный наездник и полководец Александр, прозванный Македонским...

Оба были из тех благословенных земель. А когда двое — из одного края, да притом еще заброшены судьбою в другой, чужой край, — схожая память о своей земле сближает их.

Оба были в том неповторимом возрасте, когда жизнь, как большой плод, уже надкусана, но до конца не укушена, и познано более сладости, нежели горечи, а доедать сей дарованный лишь единожды плод, со всей его сладостью и всей его горечью, еще долго-долго — кусай себе да кусай, только косточки сплевывай, покуда не одолеешь его весь, если ничто прежде срока не прервет долгой трапезы...

Оба были в том благословенном возрасте. А схожие ощущения одного возраста тоже сближают.

Один был рослее и плечистее, суше, крепче, с более костистым и потемневшим под горячими ветрами лицом, со светлыми на этом темном лице глазами, прищуренными с мужественным спокойствием, будто глядит человек на приближающийся огонь и не страшится.

Другой был ростом поменьше, покруглее весь, помягче, лицом посветлее. На светлом его лице то возникал, то исчезал румянец и темнели большие глаза, пронзительно-пытливые.

На обоих под дорожными плащами угадывались дорогие одежды и ценное оружие, сами же плащи были прихвачены у правого плеча круглыми золотыми пряжками.

Под обоими дружно шли выносливые персидские кони в богатых оголовьях на горбоносых мордах, с золочеными бляхами на треугольных нагрудниках.

За обоими, почтительно блюдя дистанцию, следовала на разнопородных лошадях и мулах яркая разноцветная свита. По обочинам обсаженной высокими кипарисами дороги гарцевали гвардейцы, уставя в замутненное горячими земными испарениями вечернее небо ровные длинные копыта, зорко и сурово поглядывая из-под великолепных шлемов.

Далекие, в дымке, горы выглядывали окаменевшими серыми тучами меж верблюжьих горбов ближайшего холма.

— Как полагаешь, друг мой, — спросил один голосом столь же мягким, как черты его лица, — успеем засветло в Константинополь?

Второй отозвался не тотчас, еще теснее сощурил свои светлые глаза, словно прикидывая, что и как ответить. Наконец заговорил — немногословно и неторопливо:

— Полагаю, успеем затемно. Даже на рысях. А кони притомились.

— Да ты, пожалуй, прав. Мой уже дважды споткнулся. Не станем гнать. Переночуем лучше в ближайшей святой обители.

— Ближайшая обитель в стороне от дороги. Надо было свернуть у часовни. А за рощей, что впереди, должна быть усадьба. Небольшая, но подходящая. Воротимся к часовне?

— Возвращаться, по-моему, нет смысла. Только время упустим. Absens heres non erit¹. Вперед, мой друг, и да охранит нас в пути святая Троица!

Усадьба, окруженная увитой плющом каменной изгородью с двумя изящными башенками у ворот, была и впрямь невелика. Двухэтажный господский дом с двускатной черепичной кровлей и глубокой трехколонной лоджией едва высился над прочими постройками, а окружавшие его деревья поднимались намного выше всего прочего.

В одном из помещений второго этажа, у ведущей в лоджию открытой двери, откуда тянуло вечерней свежестью зелени и ароматами различных сортов роз, удобно располагались на шелковых подушках две молодые женщины — Хозяйка и ее Подружка. Обе были в легких одеждах, непринужденными складками спускавшихся с покатых плеч до остроносой обуви и где скрадывавших, а где подчеркивавших безупречные линии женских фигур.

— Может быть, хватит о детях? — Хозяйка, более миниатюрная и гибкая, чем ее собеседница, нетерпеливо стукнула кулачком по изогнутому подлокотнику. — Мы не смеем превращаться в наседок, способных лишь выводить цыплят и с утра до вечера кудахтать над ними. Дети!.. Слава всевышнему, пристроены недурно, и мое дитя, и оба твоих. Невзирая на наши идиотские законы, которые напоминают мне неприбранные волосы какой-нибудь неряхи, месяцами не знавшие гребня... Поверь, милая моя, если бы появился человек, дерзнувший и сумевший расчесать наконец путаницу наших законов... я бы такому человеку... я отдалась бы ему не колеблясь!

Черные глаза Хозяйки под сросшимися бровями на худощавом личике засверкали ярче камней в ее серьгах и устались в одном направлении, будто увидели того, о ком только что говорила. Одна бровь капризно приподнялась, не отрываясь при этом от другой.

Подружка залюбовалась Хозяйкой. Изумительна, ничего не скажешь! Правда, и Подружка знала себе цену, зеркало — свидетель. Пускай шее ее не так высока и тонка, но еще не известно, чья нежнее и белее. Пусть черты лица ее крупнее, чем у Хозяйки, но зато правильнее. А серо-зеленые глаза чем хуже черных? И один уголок рта чуть припущен, все тебе в этом уголке —

¹ Опоздающему ничего не достается (лат.).

воля, страстность. Осанкой, гордой и надменной, она тоже не уступит Хозяйке. Но... Вспомнив все, чем обязана сопернице, и не забыв иных бурных проявлений ее неукротимо-тщеславного и взбалмошного нрава, Подружка не проявила своих истинных чувств и прошептала восхищенно:

— Ты неотразимо очаровательна, дорогая!

Та только бровью повела. И, перестав глядеть в одну точку, будто пробудившись, продолжала свое:

— Наши законы!.. В чьих руках они? Вот отчего зависит их правда и неправда — оттого, чья рука на них ополчится... Когда бедняк-отец скончался — царствие ему небесное! — моя наивная мать — мир праху ее! — понадеялась на закон. Она взяла нас за руки, трех маленьких дурочек, и отправилась к законам венецианцев¹, этим самодовольным обжорам, которых развлекали на арене сбереженные отцом медведи. Несчастливая вдова просила лишь одного: оставить нашей семье причитавшееся по закону отцовское жалованье, пока мы не вырастем. Всего-навсего! Не так уж оно было велико, жалованье зрителя медведей. Неужели отец не заслужил у своей партии? Не у прасинов¹ — у венецианцев...

— Конечно, заслужил! — торопливо вставила Подружка.

— Это ты говоришь так. А те, обожравшиеся, говорили иначе. Они, видишь ли, сослались на законы. Мать ссылалась на закон и просила, а те ссылались на все тот же закон и отказывали. Я им еще когда-нибудь напомню, вот увидишь! Ненавижу, ненавижу венецианцев! — Хозяйка даже ножкой топнула. — Я ничего не забываю, ничего! Мне забыть что-либо порой труднее, чем запомнить... Век буду помнить, как вышвырнули нас тогда венецианцы. И никогда не забуду, как подобрали нас прасины...

— Что же они предложили вам?

— Что предложили? А что мы умели? Моя старшая сестра начала пользоваться успехом у зрителей, а я играла при ней роль маленькой прислуги. Говорят, получалось... Вот так, милая моя, и пришлось мне едва ли не с

¹ В е н е т ы (синие) и п р а с и н ы (зеленые) — основные соперничавшие между собой политические партии Византии, сложившиеся на ристалищах столичного Ипподрома; каждая такая партия содержала своих возниц и коней, отличая их соответствующим цветом одеяний и украшений.

детства овладевать артистическим искусством. На арене и... на ложе. Тогда-то нас с тобой и свела воля господня... Как все, оказывается, просто! Очень даже просто... Сначала был один укротитель варварийских львов, волосатый весь, как его звери. Что ему стоило укротить и меня, маленькую глупышку? Но он был дураком самонадеянным, он так и не понял, что, укрощая меня, как своих львят, сделал из доверчивой девчонки дикую львицу. Но до поры до времени я притворялась укрощенной. До поры до времени. Лизала то одного, то другого, униженно лизала! Пока не разбогатела и не ощутила себя независимой от всех этих похотливых болванов. Один, правда, был неглуп. Неглуп и незлобен, редкое сочетание...— Говорившая вздохнула, глаза ее подобрели.— Погиб в боях с гуннами, бедняга, царствие ему небесное. Он-то и подарил мне эту усадьбу... Да, всякие были... Но теперь уж хватит, надоело!

— Разве такое может надоест? — Подружка усмехнулась уголком рта.— Мне вот, пока женщиной себя ощущаю, никогда не надоест.

— А замуж не хочешь? — усмехнулась в свою очередь Хозяйка.

— Замуж? — та повела плавно покатым плечом под прозрачным шелком.— Муж — само собой, он свое получит. Но что же это, одно и то же вино до конца жизни? Сама знаешь, запретный плод слаще.

— Знаю, милая моя. Знаю, что запретный плод сладок, даже когда он горек. Но меня давно уже тошнит от сладкого.

— Я, пожалуй, какого-нибудь военачальника в мужа себе возьму.— Подружка явно оживилась при мысли о замужестве.— Он в поход, а я... ха-ха-ха!

Она хохотала долго, даже слишком долго, едва не до истерики, наконец совладала с собой, притихла. Хозяйка же, терпеливо выждав, теперь произнесла негромко и снова глядя в упор на кого-то видимого ей одной:

— Нет уж, лучше до конца жизни одно вино, зато из лучших коллекций. Военачальника я не хочу, хватит с меня поминок... Пусть бы мой муж... пускай сидел бы безотлучно в самом Константинополе. И не где-нибудь у дальних цистерн, а поближе к Акрополю. Во всяком случае, не дальше стены Константина... Ну, на худой конец, не дальше стен Феодосия.

— Надоест ведь!

— Не надоест. Мне — не надоест. Прошое надоело. А будущее... При дворе хочу быть. Хочу! А раз хочу, значит, буду. У самого базилевса¹ на глазах! — И добавила загадочно-задумчиво: — А может, и не только на глазах...

Подружка только рот раскрыла.

— А что? — Хозяйка улыбнулась вызывающе. — Отчего бы и нет, а?

Но тут же, заметив безмолвно склонившегося в дверях раба-евнуха, вмиг окаменела лицом, спросила бесстрастно:

— Чего тебе, Навкратий?

— На дороге всадники, госпожа, — доложил тот, медленно выпрямляясь. — Похоже, к нам направляются.

— Похоже, похоже... — сросшиеся брови Хозяйки изогнулись гневно. — Ни на что не похоже! Почему раньше не заметили? Молчи, теперь нет времени на болтовню! Кто? Сколько? Ну! Что же ты как воды в рот набрал? Кто и сколько, спрашиваю?!

— Всех не более полусотни, госпожа. Впереди какой-то знатный военачальник. И с ним, если только глаза меня не обманули... Но я не уверен...

— Да не тяни ты!

— По-моему, племянник базилевса...

— Кто-о?!

— Племянник базилевса.

— С этого и надо было начинать тебе. Ну что ж...

Отдав распоряжения рабу и отослав его, Хозяйка обратилась к Подружке:

— О детях наших — ни слова! И не говори, что в гостях у меня, назовешься сестрой моей, скажешь, что живем здесь вместе.

И подмигнула озорным черным глазом, как в невозвратимое время их совместных веселых проказ.

Древние язычники называли это фортуной, именем богини судьбы. Их потомки-христиане — волей божьей. Еще говорят: провидение, что означает то же самое — судьбу. И нескончаем извечный спор: человек ли, как ни крутись, зависит от предначертанной ему свыше судьбы, или же судьба каждого человека зависит все-таки от него самого?

Когда полуграмотный македонский крестьянин при-

¹ Б а з и л е в с — византийский император.

шел с котомкой за широким плечом в ошарашивший его Константинополь, где — за рост, силу и сметку — был принят в императорскую гвардию, — предполагал ли он тогда, что спустя годы, уже стариком, будет возведен на престол? Кто знает?..

И тогда, сам бездетный, вызвал он из родных краев своего племянника, создал ему в столице все условия для блестящего образования и — уже будучи на троне — привлек к управлению сложнейшими делами империи, а незадолго до своей кончины юридически усыновил, — предполагал ли старый хитрец, что готовит матушке Истории незаурядный подарок? Как знать, как знать...

А сам тот племянник? Уж он-то, фактически правя необозримым хозяйством при престарелом дядюшке-базилевсе, не мог ведь не догадаться, что вместе с хозяйством унаследует и пурпурную мантию императора? Конечно, не мог...

Но могла ли предполагать одна из дочерей смотрителя дикого зверья, циркачка и куртизанка, что еще во цвете лет станет не просто даже супругой императора, но одной из самобытнейших монархинь и вместе со своим богопомазанным мужем надолго войдет в Историю? Мечтать — могла...

Ну а Подружка ее, думала ли она, что станет персницей самой базилиссы и будет держать под своим каблучком прославленного полководца, который не раз швырял к ногам Империи целые страны и народы? Кто знает, что она думала?..

Так что же в этом грешном мире зависит от божества, от провидения, а что от самого человека? Что в конечном счете определяет судьбу каждого из нас — объективные закономерности, случайные стечения обстоятельств или наша воля, наш разум? Быть может, все вместе взятое? Но что же все-таки главное в этом вместе взятом? Или — когда как? Знать бы...

4. СХОДКА

Шумели чада Стрибожьи в пожелтевших и облетающих кронах вековых дубов и лип по краям свободной от деревьев Лысой горы. Где-то через яр с ручьем, за еще одной горой, невидимые и неслышные отсюда, шумели неизбывные воды Днепра. А здесь, на великом Май-

дане¹, под неусыпным дозором страшных личин вырезанных из дерева богов, шумели поляне. Множество мужей — представителей родов полянских — собралось сюда на сходку.

На краю Майдана, под великим дубом с усохшей вершиной и долгим следом стрелы Перуновой вдоль неохватного ствола, восседали на покрытых иноземными коврами скамьях сивоусые старейшины. Поближе к ним расположились бывалые вожаки дружин, богатые гости², главари наибольших родов. В толпе, окруженной — для порядка — угрюмыми копейщиками, стояли с непокрытыми головами кметы старшей дружины, отцы семейств — ремесленники и смерды³: пахари и пастухи с поля, бортники и дровосеки из леса, рыбаки и звероловы с обоих берегов Днепра, а также кузнецы, гончары и кожемяки с раскинувшегося меж рекой и кручами Подола. В разных местах — под дубом и в толпе — белели бороды волхвов-кудесников, горели неистовым огнем их всевидящие глаза. От каждого рода, от каждой семьи прибыли сюда старшие, а у кого почему-либо семьи своей не было, тот мог явиться на сходку, если побывал хотя бы в одном походе. Поодаль, где позволяло место, толпились любопытные жены и девы, им здесь слова не давали, разве — по особому запросу, но и не прогоняли, пускай себе глядят и слушают.

Здесь, на великом Майдане, собрались на свою сходку лучшие люди полян — одного из антских племенных союзов. И пожалуй, нелишним и уместным будет здесь напоминание, что сами ромей называли антов храбрейшими из храбрых. И еще можно сказать, что среди множества антских племен, занимавших тогда, в шестом веке нашей эры, равнины Восточной Европы, поляне имели землю наименьшую, но силу наибольшую. Ибо владели Горами над Днепром, где земля — щедрейшая, будь то лес на высотах или чернозем в долинах; где ясных дней в году — в самый раз, ни лишнего дождя, ни засухи; где ни один иноземный гость мимо не пройдет и ни один иноземный недруг своего не достигнет. На Подоле под высотами находился погост — торговое место, куда сходились со своими товарами гости со всех

¹ М а й д а н — площадь.

² Г о с т ь — купец.

³ С м е р д — свободный земледелец, в отличие от наймита и раба.

сторон: с полуночи и с полудня, с восхода и заката. Сюда же приходили торговать и поляне. А ежели кто-либо стремился навсегда уйти от суровых лесных зим вниз по Днепру, подальше, к теплу и плодородным землям степей и берегов Понта Евксинского¹, то ему также не миновать было Гор и уплаты мыта² за прохождение мимо. Во множестве пещер на Горах и в начинавшихся как раз отсюда дремучих лесах можно было надежно упрятать собранные впрок сокровища. Нет, что и говорить, лучшего места, чем Горы над Днепром, не найти. Вот почему кто волей, а кто и неволей с силой полянской принужден был считаться. И когда собирались охотничьи дружины антских племен — нередко в сговоре с живущими на закатной стороне братьями своими славянами, чтобы потормозить богатые ромейские земли, на которых в незапамятное время и те и другие обитали, но были вытеснены оттуда древнейшими римлянами, — то в таких походах именно полянские вожаки, все чаще называемые князьями, вели за собой решающую силу, приводили наибольший полон, пригоняли наилучших коней и скот, добывали больше золота, серебра, ценных камней и всяческого оружия.

Так и на сей раз — воротилась дружина полянская из похода не с пустыми руками, но и не сказать, чтобы с великой добычей. А главное — без вожака: оставили его кости на дальних берегах Истра, непогребенными. Да и не его одного...

Остатки дружины с невеликим полоном и малой добычей привели к родным Горам брат павшего вожака Идар и юный Кий — старший из оставшихся сыновей, однако теперь не единственный: одна из жен Рекса (а богатые анты в ту давнюю языческую пору могли иметь по нескольку жен) только на днях родила мальчика — назвали Щеком. Жаль, не довелось отцу полюбоваться своим беззубым крикуном...

Вот и собрали старейшины сходку, чтобы решить судьбу тех, кто, с одной стороны взглянуть, вожака не сберег, а с другой стороны взглянуть, не дал все же пропасть дружине в чужой стороне, привел оставшихся к Горам с каким ни есть полоном, с какой ни есть добычей.

¹ Понт Евксинский — Черное море.

² Мыто — подать, пошлина.

Перед сходкой старейшины долго приносили жертвы богам: тут же при Майдане было капище — выложенный камнем круг, над которым высились деревянные боги. Кололи быков и баранов, резали петухов. Обильно лилась кровь на камни, стекала в землю, пропитывала ее до самых глубоких корней. Поляне терпеливо ждали, когда кончится жертвоприношение и начнется сходка. Каждый в душе молился в этот час многим богам — племенным, родовым, домовым... Первым делом молились дающему жизнь Дажбогу — отцу всех богов. И — грозному Перуну, гнев которого, как гнев всякого истинного вожака, всегда внезапен и неотразим.

День был ясный, но жары не ощущалось, позади остался страдный вересень¹, еще не близко было до Коляды — веселого снежного праздника. Потому многие поверх светлых домотканых сорочек, расшитых черно-красными и желто-синими узорами, накинули одежду потеплее, большею частью из овчины. Все — рослые, плечистые, чубы и кудри, усы и бороды у кого темные, у кого светлые, чаще — русые разных оттенков, а у иных и вовсе побелевшие. Глаза тоже всякие, немало серых и карих, встречаются и лазоревые, но все сурово-усмешливые, однако не злые. Когда племя знает свою силу, в нем хотя случаются гнев и ярость, но злобы не бывает. А гнев и злоба — не одно и то же. Бывает злой гнев, но бывает ведь и гневное добро...

И все же то здесь, то там в толпе проглядывали в иных лицах черты будто и не полянского, не антского облика. Впрочем, что же тут удивительного? Уж такое место на Горах... Старики, к примеру, еще помнили рассказы своих пращуров о том, как шли от самой Балтики вниз по озерам и рекам светлоглазые готы в рогатых железных шеломах на рыжеватых кудрях, шли, увлекая за собой и многих белых угров², а после всех их смыли, как в половодье, и погнали на закат несметные тьмы беспощадных гуннов — широколицых, узкогубых и узкоглазых, с раздутыми, как у коней, ноздрями. По сей день бродят по полуденным степям остатки тех гуннов, только нет уже у них ни прежнего числа, ни прежней силы. А белые угры почти все в лесах зацепились и остались — от них, рассказывают, и появились на

¹ Вересень — сентябрь.

² Белые угры — в данном случае финские племена.

Днепре первые волхвы... Проходили тем же путем — из дремучих полуночных лесов, племя за племенем, дружина за дружиной, и ближайшие сородичи — анты, одни селились рядом, другие шли далее — к Истру, куда уже стекалось немало славянов. А мало ли чернооких ромейских и степных полонянок приводили поляне из походов? И все разнообразные черты многих и различных народов и племен из века в век вливались в полянскую кровь, проявляя себя в широте скул и толщине губ, в цвете глаз и волос. Но так и не вытеснили коренной антской внешности, унаследованной еще от скифов-пахарей, прозванных скелотами, и от многих иных обитавших здесь с незапамятных времен людей, от племен и народов, имена которых по сей день никому не удастся вспомнить...

Сходка длилась долго, ни к чему не пришла и как-то сама собой превратилась в пир — допоздна. Встречали воротившихся живых, поминали павших. Пили горьковатую брагу, многолетние меды. Распевали застольные и походные песни, слушали гусяров, пускались в безудержный пляс, а кое-где, кто помоложе, передрались было, как петухи, да были укрощены, одни — легким уколом копья, другие — мудрым укором стариков.

Несколько старейшин, самых древних и уважаемых, лишь омочили в меду свои белые усы и оставались трезвыми. Посовещавшись меж собой негромко, они добыли откуда-то полоски загодя заготовленной бересты и, когда Дажбог догорел за игластыми верхушками дальних сосен, велели заново ударить в била, чтобы созвать на продолжение сходки изрядно захмелевших мужей полянских. При свете костров кое-как принялись за все те же нерешенные дела. Шуму и крику теперь было пуще прежнего, а более всего — из-за юного княжича Кия.

— Отца не уберег! — кричали те, кто постарше. — Великая вина!

— Отдать его богам!

— Нет его вины! — возражали те, кто помоложе. — Полон кто пригнал? Добычу кто сберег? Не всякий сумеет так, семнадцати лет от роду, в первом же походе...

— Эге ж! — отмахивались другие. — Полон и добычу Идар пригнал. А Кий у него в хвосте скакал.

— В хвосте пускай и скачет! — подхватывали многие голоса. — Рано ему в челе скакать, молоко на губах не обсохло!

— Еще неведомо, кто в хвосте скакал, а кто в челе! — горячились отроки¹, воротившиеся вместе с Кием из первого своего похода, поначалу стоявшие поодаль, а теперь не утерпевшие.

Но старшие дружинники, к тому же распаленные выпитым, только цыкнули на них:

— Откуда здесь взялись, не было вас? Отрокам на сходке не место!

Кий был тут же, стоял около дуба, на виду у всех, рядом с упившимся до невозможности дядей Идаром. Сам он тоже не раз приложился к круговому рогу — за отца и других павших, за Горы и Днепр... Но не хмелел. Глядел сумрачно в озаренные огнями лица, слушал хриплую перебранку. Стиснув крепкие молодые зубы, молчал. «Эх, — думал, — собрать бы сотен пять—семь верных отроков, въехать верхоконно на Майдан... Враз крикуны протрезвели бы да поугомонились. И старики бы заговорили почтительнее. Сила, сила нужна! Не слепая, не шальная. Поглядеть на сходку — чем не сила? Да проку от нее... Нет, сила нужна своя, в один кулак собранная — его кулак, одному ему послушная, его разуму, его воле. А сам он только воле богов послушен будет. Пальцы — по одному — долго ли переломать? А совладай-ка с ними, когда в кулак сожмутся! Своя дружина нужна, верная, единая, к н я ж ь я!»

Еще подумал. Решился. Подошел к трезвым старейшинам, царапавшим на бересте непонятные знаки. Поклонился. Попросил смиренно. Старики кивнули благосклонно. Затем обратились к сходке — запросили, каков будет ответ на просьбу Кия. Но толпа с перепою ревела невразумительно. То здесь, то там взывали, гадая и предрекая, неистовые волхвы, еще больше будоража и без того нетрезвые головы доверчивых полян. Однако старые хитрецы под дубом будто все разбирали и понимали, что отвечала сходка, и царапали, царапали, царапали бересту острыми ножичками. После чего тихо сгнули с глаз, унеся свои берестяные полоски.

Тем, казалось, сходка и завершилась — неясно чем. А пир ночной никак не останавливался, пока последний полянин не споткнулся о вытянутые ноги другого, блаженно храпевшего под звездами, сам не вытянувшись нич-

¹ О т р о к — в данном случае не подросток, а младший дружинник.

ком — а встать было ох неохота! — и не увидел в тотчас наступившем сне то, что видел изо дня в день, из лета в лето: жирно-черную землю... теплую... готовую уродить — только кинь в нее зерна... вспоротую железной мордой наральника¹ и выползающую под ноги — пласт за пластом, пласт за пластом... Другой полянин, едва закрыв глаза, видел рыжие хвосты векшей² и такие же стволы сосен... Третий — серые спины сбившихся в кучу бестолковых овец... А одному приснилось небывалое: будто стал он первым кузнецом на Подоле и так разбогател, что обзавелся сразу четырьмя женами — ч е т ы р ь м я! В то время как у самого Рекса и то их было не более трех, а у него, у кузнеца, все четыре... че-ты-ре! О-го-го-о! как четыре колеса у воза... а пятое колесо запасное... Так, может, и жену пятую завести, запасную?.. Тут не стало ни тех четырех жен, ни сна сладкого — только несметные звезды над хмельной полянской головой.

Хорошо на Горах над Днепром, под ясным небом. Как нигде в другом краю, хорошо здесь.

Дажбог, так и не сгоревший на закате за сосновым бором — а он ведь всегда горит и никогда до конца не догорает, — выбрался из-за левобережного окоема, расталкивая предзаревой туман. Сам ясный круглый, как натертый песком медный щит. Выбрался и заторопился, разгораясь все ярче, вдогонку бледнеющему месяцу, уж который день пошедшему на убыль.

Поляне пробуждались — кто где. Вода в ручье под Лысой горой — чище слезы девичьей — освежила похмельные головы, воротила ясность мысли и верность движения. Подкрепились, кто чем припасся, и опять — на Майдан, откуда уже подали зазывной голос звонкие била. Собирались без вчерашнего шума, без суеты, занимали каждый свое место. Встали по краям и сонные копейщики — для порядка. Впрочем, можно бы и без них, ведь в случае чего супротив своих не пойдут да и не совладают со всеми. Разве что так, для острстки иных баламутов. Есть ли такое племя, в котором ни одного своего баламута не сыщется?..

Вышли старейшины к дубу, а те — самые старые из

¹ На р а л ь н и к — железный наконечник деревянного плуга либо сохи.

² В е к ш а — белка.

них и самые хитрые — притащили свои берестяные полоски с непонятными знаками. Принесли утренние жертвы богам — еще и еще лилась кровь с камней в землю. Пока не человекья еще, на сей раз...

Без шума и протяжки решили все дела, много не спорили. И тогда старики, глядя в давешние берестяные полоски, напомнили сходке, что те же дела обсуждались и решались еще вчера, но — во хмелю.

Вчера с вечера решили отдать юного Кия в жертву богам, поскольку сам ушел, а отца оставил на погибель. Нынче же поутру предложили избрать того же Кия вместо отца его Рекса, ибо не по своей воле ушел с Истра, а не посмел старшего послушаться. Не совпали решения — вечернее и утреннее, хмельное и трезвое. Стало быть, ни тому ни другому на сей раз не давать ходу. Таков древний обычай, сбереженный еще со времен сколов.

И еще напомнили старики, что вчера с вечера решила сходка позволить Кию одно любое желание. И нынешним утром тоже позволили. Совпало. Значит, так тому и быть.

Дали слово Кию — побледневшему, осунувшемуся. Из похода воротясь, не отдохнул толком и эту ночь не спал. Он вышел к дубу, поклонился богам, поклонился старейшинам, поклонился сходке полянской на все стороны. И все услышали в утреннем безветрии, какой крепкий, зычный у княжича голос. Еще громче, чем был у отца его Рекса.

— Поляне! Дозвольте сказать одно мое желание! А после делайте со мной, что сами пожелаете...

— Сказывай!! — дружно рявкнула сходка и притихла в ожидании.

— Сказывай, — разрешили старейшины, благосклонно кивнув.

— Поляне! Среди нынешнего полона была взята рабыня. Взята с дозволения моего отца. В дороге она родила, а сама не выжила. Другие полонянки сберегли младенца. Мое желание одно, поляне! Не отдавать того младенца богам. Подарить его моей матери, старшей жене Рекса.

Сходка помолчала. Небывалое желание! Молчали, задумавшись, и старейшины. Наконец один из них, покачав своей смуглой и сплошь голой, как яйцо, головой с малиновым следом давнего удара, заметил:

— Жена павшего вожака должна быть отдала богам — они воротят ее в услужение мужу. А живой вдове — позор!

— Позор живой вдове! — загремела сходка. — То наш обычай! Позо-ор!!

Кий дернулся было, но все же сдержался, смолчал, ни шагу не ступил с места. Старейшины заметили это, закивали одобрительно, зашептались меж собой. И еще один из них — с долгим сивым чубом, свисавшим до яркой вышивки на вороте белой сорочки, — шагнул вперед и поднял свою старейшинскую булаву, требуя внимания. Его голос был уже слаб, не то что в былые лета, — несколько молодых и горластых повторили сходке его слова:

— Верно, поляне, живой вдове — позор! Таков наш обычай. Но обычай не велит отдавать богам непременно всех жен павшего. Достаточно только одной. У Рекса остались еще две жены, помоложе. Одна темноволосая, боги таких, сами знаете, не любят. У другой дочка есть, Лыбедь, но от груди уже отнята, не пропадет. Верно я говорю? — Тут сходка задвигалась, загомонила. — А старшая пускай сначала сына своего, Щека, выкормит. А то что же это — плыть, плыть, а на берегу потонуть?.. Пускай выкормит сына!

— Двоих сыновей... — прошептал Кий и, повернувшись к вырезанным когда-то из великих дубовых стволов богам, рухнул головой в их сторону, приник разгоряченным лбом к прохладной земле. — Дажбог, пресветлый, жизнь дарующий, отец всех богов и всех антов! Перун, грозный и справедливый! Велес, сберегающий табуны и стада наши!.. Великие боги полянские! Дозвольте, чтобы мать выкормила мне не одного, а двоих братьев! Обороните их от силы черной, нечистой! Пускай вырастут мужами храбрыми, разумными и сильными — мне, роду моему и всем полянам на подмогу в делах славных! Лучших белых коней, лучших быков отдам вам, боги мои! Ничего не пожалею!..

Вся сходка слышала эту громкую мольбу. Судя по всему, боги не возражали. Не возражали и поляне.

Все, что совпало сегодня со вчерашним, со свидетельством берестяных полосок, хмельное вечернее с трезвым утренним, было решено бесповоротно. Все, что не совпало, без колебаний и дальнейших споров отставили. Князя решено было пока не выбирать — до нового

похода либо до неожиданного набега со стороны. Управлять же покамест, как и прежде, старейшинам, а решать дела будут сходки. А просьбу Кия — уважить.

Рожденного рабыней младенца в тот же день отдали старшей вдове Рекса, матери Кия и Щека. Назвали Хоривом. Теперь она кормила двоих — Щека и Хорива, держа на каждой согнутой руке по одному, у каждой груди. И когда они оба, насытившись ее молоком, начинали утомленно задремывать, осторожно клала их в рядом висящие люльки и, покачивая обе разом, тихо напевала ту же колыбельную, под которую засыпал когда-то Кий, под которую засыпали и те братья его, что теперь вместе с отцом их Рексом спят беспробудно и видят сны вечные и сладкие — в т о й, в д р у г о й своей жизни.

Ой, люленьки-люли!
Прилетели гули¹.
Сели на воротах,
В червонных чеботах².
Стали думать и гадать,
Чем сыночка годувать³...
А-а, а-а, а!..

5. ГУЛЬТЯИ

Поначалу думали, что вновь пришли бродячие гунны из степи. Оказалось — гультии с поля. Те, кто когда-либо уходил с антскими дружинами вниз по Днепру, но далеко почему-то не ушел, отщепился от своего племени, остался в поле, но и на землю не сел. Гультии собирались ватагами и таились по ярам да перелескам. Кормились набегами на близживущих антов — росичей, поляи и других. Отнимали зерно, угоняли скот, арканили жен и дев — себе да на продажу. Нередко сговаривались с бродившими по степям племенами недобитых гуннов — набегали вместе, а после грызлились из-за неподделенной добычи, яко псы.

Когда дружины антские уходили из своей земли в дальний поход, гультии наглели. Вот и эти — явились как раз в ту пору, когда хозяин дворища — отец маленького Брячислава — ушел в далекий поход с недавно избранным на сходке молодым князем Кием. Налетели

¹ Г у л и — голуби.

² Ч е б о т ы — сапоги.

³ Г о д у в а т ь — кормить.

нежданно-негаданно, порушили невысокое жилище-мазанку и запалили камышовую кровлю — занялась пламенем тотчас. Пожгли и припасенное к зиме сено. Среди сыплющихся во все стороны жгучих искр перемахивали через поваленный плетень бешеные приземистые кони, крутились по дворищу пестрые всадники с закатанными выше локтя рукавами, топтали очумевшую с перепугу птицу. Вместе с искрами и дымом кружились над разоренным хозяйством пыль и перья. Взывались арканы над метавшимися женами.

Мать Брючислава, когда заарканили ее и поволокли по земле, сумела голову в камень направить — все лучше, чем оказаться в гультайских лапах...

Сам Брючислав — всего двенадцати лет от роду — успел прихватить подаренный отцом лук со стрелами, добежал до заросшей камышами старицы, затаился, переводя занявшийся дух. Отдышавшись, осторожно выглянул, весь не показываясь. Увидел дедушку, бегущего на неразгибающихся ногах в поле, в руке — секира, а за ним — несколько всадников. Сюда бы ему, к камышам, недалеко ведь! Здесь и отсиделись бы... Но старик упрямо бежал в другую сторону, нарочно уводя гультаев от камышей, где затаился внук его Славко, последняя надежда малочисленного рода.

Стрелу за стрелой выпускал теперь Брючислав из своего укрытия, свалил все же одного за другим двух преследовавших деда недругов. Сызмальства приученный бить уток влет, он стрелял без промаха, но не набрали еще тоненькие руки достаточной силы — все стрелы, кроме тех двух, не долетали. И вот не осталось больше стрел, а гультаев было немало, они скакали к деду со всех сторон — тот, окруженный, остановился и поднял секиру, изготоясь к последнему своему бою. Не утерпел Брючислав, бросил бесполезный теперь лук и с громким криком выскочил из камышей, зажав в слабом кулачке маленький ножик. Но поздно: увидел, как упал дедушка, как залило червонным белую его сорочку и белую голову...

А гультаи, повернув коней, уже мчались на безумного мальчика, весело скалясь, взмахивая секирами и мечами. Впереди, на мордастом полудиком жеребце, летел приبلудный гунн, широколицый, без усов и бороды, в железных нагрудных пластинах поверх долгого зеленого кафтана, в высоком войлочном колпаке. Долгий меч оста-



вался в зеленых ножнах с бронзовыми кольцами, всадник держал перед собой лук со стрелой, бросив поводья, правая одними ногами. Следом стлались зеленые кисти, украшавшие конскую сбрую.

Не с ножиком же одним на них бросаться, подумал Брячислав, да и не выручишь уже никого, ни мать, ни деда... Быстрые ноги понесли его обратно к камышам. И не остановились, понесли дальше. Все дальше, дальше, сквозь густые камышовые заросли, все ближе к воде. Метнулись из-под ног вспугнутые кулички. Не останавливаясь, Брячислав срезал на бегу камышину, сунул в рот. Теперь он слышал, как позади и заходя со стороны, продираются, круша камыш, преследователи. Еще немного! — вода уже по колено... Еще, еще! — вода уже по очкур... Еще!..

А всадники мечутся вокруг, рубят в бессильной злобе безответный камыш. Расплескивают воду кони, роняют в нее пену с удил. Куда девался дерзкий малец? Не мог, окруженный, уйти, не мог ведь проскочить! Но нигде не видать его, вот был — вот не стало. Утоп, что ли?

Много камышинок торчит из воды, еще недавно тихой, а теперь взбаламученной конями. Немало среди них поломанных, порубанных. Разве заметишь в этом множестве, различишь еще одну камышину, срезанную перед тем, через которую дышит теперь двенадцатилетний полянин, вжимаясь неширокой спиной в холодное дно старицы?

Гулятия всполошились внезапно, встревожились, заторопились вон из камышей. И помчались вдогонку своим, спешно уходившим в поле. Но так и не догнали. И вот уже осаживают коней, сбиваясь в беспорядочную кучу.

Теперь Брячислав высунул голову, продвинулся туда, откуда видно, и только рот приоткрыл, изумленный. Гулятиям наперерез, наставив длинные копыта, с грозным кличем скакали только что воротившиеся из похода ратники¹. И — далеко обогнав передовых — на высоком нездешнем коне, подняв над собой тускло поблескивающий меч, мчался бородач в невысоком железном шеломе, похожем на опрокинутый горшок. Красавец конь, казалось, вовсе не касался земли своими темными ногами,

¹ Р а т н и к и и в о и — временно взявшиеся за оружие ополченцы, в отличие от дружинников — постоянных бойцов.

всадник летел парящей птицей, и летел вслед за ним выгоревший до белизны походный плащ.

Брячислав узнал отца и выскочил из воды.

6. КНЯЖИЙ СУД

Возвращались левым берегом Днепра.

И этот поход — на сей раз к Танаису¹ — был для Кия удачным, волхвы не обманули, нагадали верно. Множество ратников и воев, пошедших за княжеской дружиной, а также примкнувшие к полянам дружины росичей и северян — никто не прогадал. Древляне же, дреговичи и кривичи, не пожелавшие идти под стягом полянского князя, пускай теперь кусают локотки...

Анты в этом походе отбросили за Танаис бродившее по степи и озорничавшее племя гуннов с примкнувшими прочими кочевниками, отбили немало серебра и золота с камнями, полученного теми за что-то от ромеев. Угнали немало добрый коней, овец и полонянок. Все кметы остались довольны князем, не впервой убедились теперь, что боги любят его.

Обоих молодых братьев Кий брал с собой в этот поход — для них первый. Благодарение Дажбогу, ни одного не оставил на чужой земле, как когда-то оставил отца... Хорив показал себя в сече неудержимо горячим, Щек — поосмотрительнее, но ни один хвоста недругу не показывал. Теперь рядом с князем ехали не просто молодые братья, а два побывавших в походе и не посрамивших себя добрых бойца, которым вскорости можно будет и дружины доверить. Теперь у Кия будут две надежные руки, и в новом своем походе он построит свои дружины по-новому, как давно замыслил: головную дружину поведет сам, а по краям — два крыла во главе с братьями, и еще в запасе ратники с воями, которых можно доверить боярину² Воиславу, опытному боевому советнику князя. Вот едет он рядом, полусогнутый в седле, с висячими усами под похожим на вороний клюв носом. Снял бывалый вояка свой накалившийся островерхий шлем, подставил щедрому Дажбогу смуглую бритую голову с долгим седеющим чубом. Глядя на него,

¹ Т а н а и с — Дон.

² Б о я р и н — в данном случае приближенный, советник князя из старшей дружины, могущий быть и военачальником и дипломатом.

снял свой украшенный синими перьями шлем и Кий, то же сделали Щек с Хоривом.

Но неожиданно, на подходе к Горам, вновь довелось надеть боевые уборы. Повстречалась немалая ватага гультаев, разорявших левобережные полянские поселения. С ходу, развернувшись, навалились на негодных, многих положили на месте, остальных разогнали, разметали по полю.

Кий подивился, что не встретил здесь, на левом берегу, дозорных, которых, уходя, велел высылать ежедневно. Такое нерадение вроде несвойственно было старому дяде Идару, на которого князь оставил Горы, свой двор и всю землю полянскую. Старейшинам и сходке доверял мало, полагая, что где много словоблудия, там мало проку.

Затревожившись, велел ставить шатры и возы, послал Хорива с сотней отроков на свежих конях — разведать, что там впереди деется, какую встречу родные Горы готовят, все ли ладно.

Хорив умчался, сотня — за ним. Воротились к утру.

На лице Хорива, в серых с черной каймой глазах его ничто не упрятано, ни печаль, ни веселье. Увидав лицо возвращающегося брата, Кий нахмурился, послал своего коня навстречу. Подскакав вплотную, спросил негромко, чтобы прочим не услышать:

— Неладно на Горах?

— Неладно. Древляне...

— Ждут нас?

— Не похоже. Бражничают — на весь Днепр слышать.

— Тебя приметили?

— Что же я, дурной? — обиделся Хорив. — Сотню в плавнях упрятал, сам с двумя отроками без коней вплавь перебрался, пониже Почайны, под той горой, где мертвых погребаем. Оттуда — яром — к твоей горе. Темно уже было, нас никто не приметил. Жгут костры, гуляют...

— Кто гуляет? Древляне?

— И древляне и наши, все перемешались, не разбираешь.

— А наш двор?

— А наш двор... — Хорив глянул не мигая, недоспавшими глазами. — Наш двор погорел, княже.

— Что-о?! А дядя Идар где же?

— Не видал, прости. Темновато было, где костров нет. А зари не ждал, к тебе обратно торопился.

Князь поднял свою дружину, прихватил с собой Хорива, а Щека и Воислава оставил на месте с остальными — сторожить полон и добычу да ждать гонца с наказом.

Переплыли, держась за конец, Днепр — пониже Гор, откуда двинулись на рысях по лесным тропам, просыхая на ходу. Подошли к Горам не с реки, а с заката, и вышли к Лысой горе. Здесь, на Майдане у капища, увидели дотлевающие костры, а вокруг — людей вповалку. Были тут и поляне, и древляне. Лежали кто где и как, однако не убитые. И бражным духом, вперемешку с прокисшей нечистью, тянуло так густо, что даже привычные кони забеспокоились — пришлось придержать. Высившиеся у капища деревянные боги глядели поверх людей с безучастной строгостью, как бы не желая замечать творившегося перед ними безобразия.

Несколько упавших валялось у самых камней капища. Кий подъехал, карие глаза потемнели и гневно сузились, как перед боем. Спросил громко:

— В честь чего же такая гульба? Праздника вроде еще нету. И меня не ждали... Не внемлют, хоть конем наступи! Что ж, меня не ждали, так и я дожидаться не стану...

Тут же послал гонца — передать Воиславу и Щеку, чтобы по возможности наибо́рзее выходили к Днепру напротив Почайны, а там тотчас переправлялись на Подол, где их встретит Хорив и скажет, что далее предпринять. Добычу же и полон схоронить пока на левом берегу в плавнях и оставить достаточно кметов — сторожить. Северяне и россичи, ежели хотят, пускай со Щеком вместе идут, а нет — могут со своей долей добычи в свои земли возвращаться.

Затем князь дал Хориву пять сотен — спуститься яром на Подол и там древлян повсюду бить нещадно, а хмельных полян вязать. И держаться, пока Щек и Воислав с подмогой не подоспеют. После чего всех повязанных и всех трезвых, ежели таковые найдутся, гнать сюда, на Майдан. Здесь, у капища, князь будет ждать их. Здесь на сей раз не сходка будет — суд княжий!

Отослав Хорива, Кий оставил две сотни — повязать валяющихся на Майдане, а сам с остальными дружинниками двинулся к своей горе, к пепелищу своего дво-

ра — навести порядок и отыскать дядю Идара, живого или мертвого...

Как вскоре выяснилось, северяне ушли со своей долей мимо Гор вверх по Днепру и Десне, а росичи разделились: одни воротились к себе на Рось, другие пошли со Щеком и Воиславом.

К концу дня порядок на Горах был кое-как восстановлен. Хотя все утомились беспредельно, Кий не пожелал откладывать и принялся вершить свой княжий суд на ночь глядя, приготовив костры и смоляные факелы.

Удалось повязать десятка два древлян, остальные же, протрезвев, рубились отчаянно и живыми не дались. Согнанных на Майдан полян окружили дружинники, ратники и вои были тут же.

И был княжий суд недолгим.

А выяснилось на том суде, что дело было так. Некий расторопный человек с Подола, по имени Желан, промышлявший изготовлением и сбытом браги, вознамерился разбогатеть более всех прочих. Продолжая торговать брагой в своем доме, он принялся развозить ее в бочках на Майдан и на погост, к пристани на Почайне и ко всем дворам, а также — туда, где трудились кузнецы, гончары, кожемяки и другие полянские ремесленники, всюду, где мог быть спрос на похмельное зелье. Помогали ему в том деле все родичи да еще два раба, пригнанные когда-то из похода, когда Желан был еще простым воем. В походы с той поры он больше не ходил, щит, копье и прочие доспехи повесил перед глиняной печью в своем заново срубленном доме, который обмазал и побелил, а пол из обожженной глины устлал купленными на погосте иноземными коврами. Так и жил, богаче князей и бояр, за счет прибыльного дела. Его широкий двор на бойком месте при начале Боричева тока снабжал желающих брагой в любое удобное для них время и в любом удобном им количестве, в то время как впряженные в возы с бочками волы развозили все ту же брагу от зари до зари. Благодаря такой заботе поляне бражничали теперь не только в дни праздников, на тризнах и по другим достойным причинам, а едва ли не каждый день и каждую ночь. Многие хозяйства на Горах и многие промыслы приходили от такого сплошного бражничания в разорение и запустение, однако сам Желан и весь род его не только не терпели убытка, но день ото дня все более обогащались. Князь ничего сего не ведал, ибо находился в

походе, у далеких берегов Танаиса. Оставшийся же старей Идар затревожился, когда увидел, что и немногие его дружинники перестают нести свою дозорную службу, ибо где бы они ни находились, те возы с брагой бывали тут как тут. И все чаще можно было полюбоваться на Горах двумя-тремя добрыми молодцами, которые в полном боевом оснащении, оставив свой пост, бродили в обнимку и, шатаясь, задевали всякого встречного, а особенно — жен и дев. Порядка не стало никакого, уже ограбили несколько дворов иноземных гостей, а там, где Глубочица втекает в Почайку, пожгли два великих амбара с товаром, собранным зимой в полудье и предназначенным на продажу ромеям. Левобережье отныне вовсе никак не охранялось — там хозяйничали гультаи с поля. А на правом берегу набегали из леса древляне, переходили неглубокий Ирпень, поджигали полянские дворы, умыкали жен и дев.

Видя такую беду, Идар уговорил старейшин собрать сходку. Поляне явились на Майдан все почти беспробудно хмельные, слушать никого не стали, старейшин разогнали, едва не побив, самого Идара зарубили секирами, а княжий двор порушили и пожгли. Немногие трезвые дружинники, пытавшиеся унять баламутов, все до единого полегли в неравной сече.

Совершив все эти злодеяния, хмельные поляне объявили своим князем Желана, который в благодарность за такую честь заколол перед богами немало быков, овец и птицы, после чего выкатил на Майдан великое множество бочек с брагой. Тут уже пошел — день за днем, ночь за ночью — такой пир, что не заметили, как явились здесь и там на Горах древляне, не побрезговавшие ни брагой новоиспеченного князя, ни добром его неразумных подданных, ни их женами и девами. Всякий же, кто, опамятавшись, пытался выдворить незваных пришельцев, тот был порублен — и древлянами, и хмельными до беспомощности своими. Во хмелю разве различишь, где свой, а где чужой?

Тут-то и подоспел Кий со своей дружиной...

Удивляло, что от браги — не от меда! — столь захмелели поляне. Знать, готовил Желан свою брагу каким-то одному ему ведомым способом. Тем и угодил, что крепче обычной оказалась его брага. На том и нажился.

— Как будем, други? — обратился князь к дружинникам и прочим своим кметам тем зычным голосом, кото-

рый не раз уже перекрывал, бывало, шум сечи.— В тот час, когда все вы, не щадя крови своей и живота¹ своего, добывали Полянской земле безопасности, добра и славы, в тот самый час эти, которых согнали вы теперь на Майдан, только и знали, что бражничали да разоряли и жгли ваши дворы, бесчестили ваших жен и дочерей. Хуже гуннов и гультаев! Да к тому же впустили древлян на Горы. Как будем?

Дружина угрюмо молчала, неласково поглядывая из-под шоломов. Молчали ратники и вои — среди виновных было немало их родичей. Молчали братья князя и бояре. От их молчания душа у каждого виновного уходила из головы к ногам, а ей навстречу — от брюха до самой глотки — шла дурнота нехорошая, то ли с похмелья тяжкого, то ли от страха великого.

Валялся в ногах у княжьего коня Желан — борода нечесана, щеки обвисли, под глазами набрякло. Бабьим — с перепугу — голосом вопил:

— Выслушай, княже! Не вели казнить! Не по своей воле я... Они сами меня князем объявили, сами! Не я, не я!

— Они сами, говоришь? — Усы князя шевельнулись недоброй усмешкой.— А ты и рад стараться, согласился?

— Так ведь не согласись я,— хныкал Желан,— они бы меня секирами зарубили! Убили бы меня!

— Когда воем был, секиры не страшился,— заметил Воислав.— Что же теперь, бабой, что ли, стал?

— Выходит, поляне бабу князем объявили,— вставил другой боярин — Горазд, спокойно поглаживая свою долгую бороду.— Не разглядели во хмелю, где муж, а где баба.

Дружина засмеялась, и от смеха того еще мутнее стало на душе у Желана и прочих виновных.

— А много ли золота да серебра нагреб ты, бедолага, с хмельного людя? — поинтересовался Щек.

— Вот именно! — поддержал Хорив.

— Не для себя старался, не для себя! — снова завопил Желан, пытаясь поцеловать копыто княжьего коня.— Поверь, княже! Хотел тебе половину отдать. Как только воротишься. Тебе одному... Да что половину! Все отдать готов, хоть сейчас!..

— Благодарствую, что не забыл меня, сирого да убо-

¹ Ж и в о т — в данном случае — жизнь.

гого.— Кий чуть тронул коня, тот едва не наступил на Желана.— Одного не уразумею умишком своим скудным. Разъясни уж, окажи такую милость. Отчего дяде моему Идару той половины не отдал? И для чего убили его? Га?

— Я не убивал его, не убивал! Не я убивал!! Не я-а-а!!!

И был княжий суд суровым.

Взятым древлянам и всем тем оставшимся дружинникам, которые позарились на брагу и не уберегли Горы от разорения, всем рубить лес — под сторожем и при-смотром — да ставить новый княжий двор взамен спаленного. Им же ставить еще два двора: для Щека — рядом с княжьей горой, через яр, и для Хорива — через другой яр, что за Щековой горой, как раз здесь, на Лысой горе, около Майдана.

Всех прочих полян, которых взяли и повязали хмельными, вместе с землей и скотом, домами и домочадцами, всех раздать во владение воротившейся дружине. Ратникам же и воям оставить ту добычу, которую сумели добыть себе в походе, а еще раздать по ромейской серебряной монете из тех, которыми хвалился Желан, будто хотел поделиться с князем.

Воротившейся из похода дружине дать десять дней отдыха, после чего идти походом на древлян, примучить их и наложить вечную дань. Которые из ратников и воев пожелают тоже пойти в тот поход, пускай идут. Также разослать гонцов к росичам и северянам, дулебам и дреговичам, уличам и тиверцам: ежели пожелают их князья, пускай присылают свои дружины для похода на древлян — свою долю получают, в обиде не останутся.

Разыскать во что бы то ни стало тело Идара, погresti с честью и справить тризну. А тех полянских дружинников, кто не поддался хмельному искушению, кто честно и до конца защищал княжий двор, Горы и пал в неравной сече, всех их собрать отовсюду и погresti с честью здесь, у Майдана и капища, насыпав великую могилу. И тоже справить достойную тризну.

Дом и двор Желана на Подоле у Боричева тока — пожечь и с землей сровнять, собрав перед тем все добро и все богатство его. Серебро и золото Желана, кроме упомянутого для воев и ратников, раздать дружине, а прочее добро, скот и рабов — отдать старшим в роду у тех, кто не воротился из похода и кто пал здесь, обороняя Горы.

И нынешней же ночью, после суда, здесь же, не медля

принести щедрые жертвы богам: быков, овец и птицу; хлеба и сосуды с медом. А кроме того, принести богам в жертву Желана и весь род его, пожечь их всех у капища. Самого Желана — живьем, а родичей его — перед тем заколов.

В наступившей ночной темноте высоко в черное небо летели искры от великого жертвенного костра на Лысой горе, где Майдан, где на каменном капище высятся озаренные огнем деревянные антские боги.

— Не бывало еще у нас такого князя,— тихо говорили меж собой протрезвленные поляне.

7. НА КОРСТЕ¹ НАД УЖОМ

Течет лесами речка Уж, извивается, будто и впрямь уж-змея. И где-то на восходе втекает в реку Припять. А та — в Днепр, повыше полянских Гор...

От Гор, обратным путем — вверх по Днепру, через Припять и в Уж, тянутся нескончаемой цепью челны с полянскими кметами. С полянами вместе идут северяне и росичи. Все прочие анты не пошли, не захотели в поход на древлян идти под Киевым стягом. Уличи отговорились тем, что слишком далеко им ходить, а дреговичи сказали, что слишком близко от них древляне — не хотят дразнить. Когда нет желания, отговорка всегда отыщется.

Во глубине темных лесов, за сырыми топями, за неведомо кем и когда насыпанными вдоль всей той земли Долгими Валами, стоят на речке Уже две горы из крепкого корста, светло-червонного, как копченое мясо вепря².

На одной горе — капище, здесь приносят жертвы Дажбогу — величайшему из всех, породившему всех прочих богов, порождающему все живое на земле. Без воли Дажбога нет дерева и травы, без дерева и травы нет скота и зверя. А без скота и зверя, без травы и дерева нет жизни и человеку.

На другой горе — за высоким дубовым частоколом на каменном валу — двор Горислава, князя древлянско-го. Наряден на том дворе терем княжий, с островерхими кровлями, с замысловатыми резными по дереву

¹ Корст — камень, отсюда название нынешнего украинского города Коростень, районного центра в Житомирской области.

² Вепрь — дикий кабан.

узорами, выкрашенными белым вперемежку с багряным. Перед теремом высится старый ясень, его чуть наклоненный ствол, дотянувшись выше кровли, раздваивается, и уже не один, а два ствола, расходясь друг от друга все далее, тянутся под самое небо, будто воткнули здесь в землю великую рогатку, а концы ее обросли многими ветвями да листьями, и каждый лист остр, как наконечник копья, только не жестко-железный, а нежно-зеленый и лишь кое-где золотисто-желтый.

Перед частоколом, у дубовых ворот своего двора, топчя мягкими сапогами жесткий корст, ходит туда-сюда, как сторожевой пес на цепи, сам Горислав — крутолобый, с крепкими скулами и челюстями, заросшими черной бородкой. На широких прямых плечах — долгий, до пят, малиновый плащ с золотой каймой по низу, прихваченный золотой застежкой, украшенной многими камнями, темно-червонными, как загустевшая кровь. Ходит и ходит, туда-сюда. Глядит вокруг себя угольными, как у грека, глазами. С высоты далеко видно.

И куда ни глянь — всюду леса, леса, леса, зелено-синие, до туманного окоема и далее за ним, отсюда невидимые. Необъятна земля древлянская. И не счесть самих древлян на той лесной земле. Давным-давно собрались все здешние и пришлые племена, говорящие единой речью, стали вместе жить и приносить жертвы Дажбогу, валить лес и добывать мед, ловить зверя и рыбу, вместе набегать на соседей-полян и вместе обороняться за Долгими Валами от полянских и любых прочих набегов. И все они, звавшиеся прежде различно, прозвали себя древлянами. Как прозвали себя, скажем, полянами тоже собравшиеся когда-то вместе полуденные соседние племена или дреговичами — полуночные ближайшие соседи. Есть вокруг и другие антские племена, помельче, которые до сей поры никак не решатся, к кому примкнуть, все надеются остаться сами по себе. А зря ведь! Разве удержится малое племя в здешних краях среди великих соседей? Ну не примкнут ни к древлянам, ни к полянам, — рано или поздно придется либо тем, либо другим дань платить.

А сейчас — как Дажбог решит: древляне полянам станут платить дань или же поляне древлянам. И чей стяг поднимется над чьим двором: Киев бело-синий с конской мордой над костром на Уже или Гориславов с золотым Дажбогом на малиновом шелку над Горами

на Днепре. Кто кого одолеет? Не миновать сечи великой!

Только надо ли непременно быть той сече? Горислав перестает ходить туда-сюда, подзывает бояр своих — Житовия, Млада и Стрелюка. Совещается.

Млад предлагает идти челнами по Ужу и Припяти навстречу челнам полянским, а вдоль берегов направить через леса поболее метких стрелков. И побить полян, не дав им даже из челнов высадиться. Кметов у древлян хватит, одолеют.

— И у полян кметов не так мало, — отвечает Стрелюк. — Лучше здесь на корсте дружину собрать, воев и ратников вдоль Долгих Валов посадить да новые валы поборзее насыпать, частоколов поболее наставить и отбиться с Дажбожьей подмогой. Корста на Уже никому не взять!

— И полянских Гор не возьмешь, — вздыхает Житовий.

— Ой ли? — Черные княжьи глаза колют боярина, будто два копья. — Давно ли наши гуляли на полянских Горах? А ты...

Житовий не смущается, не страшится колючих глаз своего князя, возражает:

— Наши гуляли там, когда Кия с дружиной не было. А что после случилось, то тебе ведомо.

— Ведомо, ведомо! — вскипает Горислав, гневается и опять начинает ходить туда-сюда, яко пес цепной, так стиснув свои крепкие челюсти, что черная борода — точком. Думает...

И кажется, придумал.

Нет, сеча в чистом поле никак не годится: поляне и росичи конными дружинами сильны. А в лесу на конях не развернешься. В лесу, за извилистыми линиями Долгих Валов, древляне — хозяева. И если станут их оттуда в поле выманивать — не поддаваться, оставаться в своей земле, где каждый камень и каждый пенёк — подмога.

Кий тоже должен разуместь, что в лесу да на Валах его кони далеко не ускачут. Потому и пошел челнами. Как в осеннее полюдьё. А вверх против течения ходить нелегко. Стало быть, измотается Киева дружина, идучи вверх по Припяти да по Ужу. И древляне помогут ей еще пуще измотаться — меткими стрелами из-за прибрежных деревьев. Пускай займется этим Млад, возмья для такого дела достаточно стрелков.

Стрелюку — здесь, на корсте, оставаться с немногим числом кметов — отобьются в случае чего.

Сам же Горислав совместно с Житовием поведет всех прочих к Ирпеню, перейдет его и привычным путем нагрянет на полянские Горы — как раз, когда Кий со своими дружинами в лесах увязнет. Верно ведь напомнил Житовий: гуляли древляне на Горах полянских, когда Кия с дружиной там не было. Стало быть, теперь — ни дня не терять!

На том и порешили. Принесли жертвы Дажбогу. Разослали гонцов по всей земле во все стороны — собирать кметов древлянских. Житовию поручено было снарядить особых мужей — выведать в три дня, что на Горах полянских делается, кого там Кий за себя оставил, много ли сторожи и где стоит.

Собрали, пригнав, множество смердов, наймитов и рабов — насыпать новые валы и ставить на них частоколы. Смотрел за теми работами боярин Стрелюк.

Млад тем временем собирал метких стрелков — вести потайными тропами вдоль берегов Ужа и Припяти, встречать челны полянские.

Через три дня Горислав изготовил дружину — идти к Ирпеню. Но тут явился к своему князю встревоженный Житовий.

— Что там стряслось? — спросил нетерпеливо Горислав, чуя, как заколотилось сердце.

— Недобрая весть, княже, — ответил сумрачно боярин. — Перехитрил нас проклятуший Кий! Остался в Горах, с дружиною и братьями. А к нам идут по воде в челнах вои да ратники с боярином Воиславом. К ним примкнули северяне с Десны, а по берегам идут верхоконно росичи, чешут лес, как бороду гребнем. Как будем, княже?

Теперь Горислав и сам не знал, как быть. А ведь так складно все придумал! Чтоб этого Кия Водяной уволок! Чтоб ему волчьей ягоды обожраться! Чтоб его нечистая сила прибрала!..

— Не тужи, княже, — промолвил Житовий. — Как бы там ни было, а корста на Уже никому не взять!..

— Корста на Уже никто не брал и не возьмет, — сказали Гориславу волхвы, когда в отчаянии позвал их — погадать. — Не возьмут поляне и иже с ними ни корста на Уже, ни двора твоего. Здесь и примешь их со всей своей дружиной, никуда отсюда не ходи.

— А с землей древлянской что будет? — спросил князь.

— А по земле древлянской они пройдут, — ответили волхвы. — И не раз ходить будут, за данью. Того не миновать, такова воля Дажбожья. Но ты не печалься, княже! То еще не конец земли Древлянской. Придет такая пора, останутся поляне без Кия и без братьев его, а княжить на Горах будут дети да внуки их, и не поладят меж собой. Тогда-то Дажбог сызнова обратит свой светлый лик к древлянам, и поднимется над полянскими Горами твой малиновый стяг с золотым ликом Дажбога. Так будет.

— Будет ли? — усомнился Горислав.

— Будет! Волхвы предрекают, значит — будет.

— Только я ведь не доживу до той поры? Сказывайте, не страшитесь.

— Волхвы никого не страшатся, княже. Никого и ничего. Да, тебе до той поры не дожить. Но доживет земля твоя и доживет род твой.

8. ДВЕ ЖАЖДЫ

Темно-зеленый барвинок рос на дворе у самых кустов лещины, здесь и там глядя в высокое небо раскрытыми синими очами своих цветов. Туда же, в чистую лазурь над собой, глядела Лыбедь, отдохавшая неподалеку на постеленном корзне¹, оставшемся от погибшего родича. Смыкала веки, встречаясь взглядом с ослепляющим Дажбогом, а он не только ослеплял — он согревал ее лицо, руки, всю. Тепло его проникало сквозь одежду, навевало сонливую истому. Лишь изредка набегало легкое облачко, принося недолгую прохладу. Прикрывшись на время тем облачком, Дажбог переставал слепить — тогда Лыбедь, разомкнув веки, видела в вышине над собой невеликого сокола. Птица, надо полагать, тоже видела своим зорким оком отдохавшую на дворе деву, все ходила над нею прихотливыми кругами, а то вдруг замирала на месте, часто-часто трепеща острыми крылами. Затем крылья переставали трепетать, расправлялись недвижимо и снова несли сокола кругами по поднебесью, над неповторимой землей Полянской, над сверкающим Днеп-

¹ К о р з н о — вид боевого плаща.

ром и мирно дымящимися Горами, над темно-зеленым ковром синеокого барвинка, над Лыбедью.

И грезилося Лыбеди, будто не простой сокол кружит над нею. Вот перестанет он кружить, кинется камнем вниз, но не расшибется о землю, а обретет свой истинный облик, человеческий. И предстанет молодым кметом — в ясном островерхом шеломе, с ясными очами — смелыми и незлыми, а брови у кмета — как крылья сокола, которыми виделся он перед тем...

Немало молодых кметов обитало на Горах, рослых и пригожих, с очами смелыми и незлыми. Многие из них не раз заглядывались на красавицу Лыбедь, однако робели перед ней. То ли держалась она суровее прочих дев, то ли остерегались они позариться на сестру грозного князя. Знать, не забыли, как один из них, захмелев перед тем изрядно, погнался было за нею и что из того получилось. Лыбедь добежала тогда до ворот княжьего двора — ее тотчас впустили, а следом вломился и хмельной недотепа. Княжьи гридни¹ не стали убивать либо калечить того дурня, ибо не было у полян такого обычая — калечить и убивать человека, ежели не в бою. Могли бы, конечно, принести в жертву богам — сжечь на капище либо в реке утопить, но то была высшая кара, а тут... А тут еще и Лыбедь, когда миновал первый испуг, сама пожалела обидчика, замолвила слово перед старшим братом. И Кий, для вида гневаясь, а в душе потешаясь, велел своим гридням искупать пойманного в бочке с холодной водой, искупать в чем есть, пока не протрезвеет, а после продержат полный месяц на черных работах при своем дворе. С той поры добрые молодцы полянские еще пуше остерегались приближаться к Лыбеди, лишь издали любовались. А иные, может, и вздыхали, кто ведает?

Лыбедь вздохнула, усмехнувшись тем думам. И еще раз вздохнула, потому что сокол над нею улетел куда-то, так и не спустившись, так и не обернувшись небывалым кметом. Уж который раз мечтала она о том невиданном суженом своем, ни на кого иного глядеть не желала, верила отчего-то, что рано или поздно повстречается ей тот чудесный кмет, сокол ясный...

— Так во-от она где! — раздался над самой головой знакомый тонко-скрипучий голос. — Вот она где прохлаж-

¹ Г р и д н и — дружинники из личной охраны князя.

дается, голубка наша ненаглядная! А я все ишу, ишу, обыскалась. Зову не дозовусь. Отдыхает! И мне бы отдохнуть не повредило. Да грядки не прополоты, вода не принесена, коров скоро пастухи пригонят... А она лежит себе, горя-заботы не ведает, будто царевна заморская. Вставай, царевна, вставай! А то к земле прирастешь, не оторвешься, до самой ночи пролежишь, покуда не явится сила нечистая и не отдерет тебя от земли да не уволочет в свои подземелья темные. Вставай, вставай!

— Ох, это ты, тетя... А я тут задремала было и вроде сон привиделся...

— А какой сон? — тотчас заинтересовалась тетка и присела рядом, примяв барвинок с синими цветами. — Расскажи мне про свой сон, я люблю про сны слушать. А после я тебе про свой сон поведаю, такого сна страшно-го ни у кого не бывало еще. Так что же тебе во сне привиделось? Может, леший или кикимора?

«Сама ты кикимора!» — подумала досадливо Лыбедь, но досады своей не высказала и, воспитанная в уважении к старшим, каковы бы те старшие ни были, ответила с должным почтением:

— После расскажу, тетя, погода.

— Нет, нет, расскажи сейчас. Я сейчас послушать желаю.

— После, тетечка, после. А сейчас... вы же сами сказали, что грядки не прополоты, вода не принесена...

— А, подождут те грядки, никуда не денутся! — Тетя явно настроилась на разговор, любимейшее из всех ее занятий. — И вода никуда от нас вся не утечет. Ну а коли не желаешь единственной своей старой тетке сон рассказывать, так ладно уж... А только скажи мне, будь так ласкова, отчего не желаешь про сон свой поведать? Может, суженый во сне привиделся? Ведь угадала я, так ведь? Так о том непременно надобно тотчас поведать. И поведать самому близкому родичу. А самый близкий родич твой я и есть. Так ты все же поведай мне, каков он был из себя. Немедля поведай, а то сон не сбудется, суженый так во сне и останется, а въяве не появится...

Да, пожалуй, ближе этой разговорчивой старой тетки никого у Лыбеди в роду не осталось. Кий, Щек и Хорив числились ее братьями — по отцу, но матери у них были разные. Кий был старше намного, а Щек и Хорив — моложе Лыбеди всего на два лета. Братья же от единой

с нею матери давно уже покинули Горы, кости их лежат в разных землях, а души встретились высоко-высоко, меж звездочек, и там пируют непрестанно вместе с отцом своим и ее, с Рексом. У которого не одна жена была. И когда остался Рекс на берегу далекого Истра, мать Лыбеди недолго жила после мужа своего. А ставший князем молодой еще тогда Кий выделил маленькой сестричке и ее тетке невеликий двор на Горах да подарил захваченного в походе старого раба, чтобы была при них хоть какая-то сила мужская. Раб тот остался на Горах, вскоре сам женился на полянке, обзавелся детьми, скотиной и поставил свой дом — неподалеку от двора Лыбеди. И уже не как раб, а как вольный полянин по-прежнему помогал двум одиноким соседкам, бывшим хозяйкам своим, молодой и старой. Изредка, год от года все реже, навевались братья. После походов делились добычей — дарили украшения, ткани, а то и монетки серебряные. На те монетки обзавелись какой ни есть скотиной. Так и жили, не богато, не бедно.

Старший брат не раз, бывало, вопрошал:

— Скажи, чего желаешь, сестрица? Только слово молви! Один ведь отец у нас был с тобой...

Лыбедь благодарила, потупя очи, но слова просительного вымолвить так и не могла, мешало что-то, а что — сама не разумела.

— Молчишь? — Кий вздыхал, озабоченно сдвигал брови-крылья. — Ну как сама знаешь... Одно только помни: ежели обидит кто или нужда какая будет, то приходи ко мне. Князь в беде и в нужде не оставит.

Лыбедь благодарила, все так же не поднимая очей и не прося ничего.

Лето за летом жили они с теткой — сестрой матери, доброй и несчастной старухой, потерявшей и мужа и двоих сыновей в давних походах, а теперь души не чаявшей в Лыбеди, хотя и донимала племянницу своею болтливостью. Всегда была разговорчива, а с летами стала вовсе несносной. Такое — бывает...

— Ну коли не желаешь мне про свой сон поведать, так я тебе про свой поведаю. Внимай же. Сплю я, сплю и будто разумею, что сплю. Ну, думаю, ежели я сплю, то надобно глядеть в оба. Потому что во сне такое можно узреть, чего наяву отродясь не узрешь. А у тебя бывало такое, когда спишь и во сне разумеешь, что спишь? Бывало?

Лыбедь даже ответить не успела, а тетка затараторила далее:

— Ну сплю я, значит, и гляжу в оба. И вижу... Как полагаешь, кого вижу? Не угадаешь. Вижу отца твоего Рекса. Но в тот же час будто и не Рекс это, а муж мой. То одного вижу, то другого, и будто все один и тот же. К чему бы такое, как мыслишь?

Лыбедь молчала. Но старуха не требовала непременно ответа. Болтунье неважно было, что ей ответят, важно было — выговорить свое. И она говорила, говорила, говорила без умолку.

— Да ты погоди, куда вскакиваешь, успеешь... Внимай, что далее было. Значит, вижу его, то есть не то мужа своего, не то отца твоего Рекса. И тут же сестра моя, молодая еще, вроде тебя теперешней. Но в то же время будто не она, а сама ты. То мать, то дочь, одна в другую превращается и обратно. А он, то есть муж мой, и он же отец твой Рекс, подходит к ней, то есть к сестре моей, и вроде как бы к тебе. Подходит и говорит. А голос у него громче Перунова, как у брата твоего старшего Кия, у князя нашего. Такой громкий голос, что мне во сне даже страшно стало. Ну, думаю, это все во сне, а коли во сне, то и страшиться нечего. Сама себя, значит, успокаиваю...

«А у того кмета-сокола,— думала себе Лыбедь, слушая и не слушая старую тетку,— у него какой голос? Наверно, когда какой. В сече лютой — грозный, громче грома Перунова, а со мной — тихий-тихий. Но такой, что услышать можно. Одна я услышу, никто иной. Тихий и ласковый. Как будто листья на деревьях шепчут. Для одной меня такой голос у него, ни для кого иного...»

— А он, говорю,— продолжала самозабвенно старуха,— гремит страшным своим голосом. И не разобрать, что именно сказать желает, только чую, что гневается. А на кого гневается, не пойму. Кто и чем перед ним провинился? За собой вроде вины перед ним не ведаю. А сестра моя чем провинилась? Может, тем, что не удержала при одной себе, не отвадила от другой жены? Не мне тут судить, на то воля богов. Но только, так мыслю, это ведь отец твой Рекс гневается. А мой муж, выходит, тоже гневается, да только на кого же ему гневаться, ежели нет перед ним моей вины? Это я, значит, во сне так мыслю. Может, мыслю я во сне, он и не на меня вовсе гневается, а на недругов своих, которые меня, горемычную, вдовой оставили, и сыночков моих ненаглядных...

Тут старуха всплакнула, и Лыбедь, сжалившись, уже готова была приголубить ее, утешить, но та тотчас утерла рукавом вышитой сорочки выцветшие очи свои, глотнула воздуха всей впалой грудью и снова заговорила, словно спасаясь разговором от накативших было рыданий. И Лыбедь, опять слушая и не слушая ее, подумала, что тот ее заветный кмет-сокол никакой иной жены никогда себе не заведет...

— Так ты не внимаешь, что ли? Ты внимай, что далее было. Во сне моем, значит. И все ведь я одну и ту же ночь! Ох и натерпелась же я страху! Вот чудится мне, будто не сплю уже, пробудилась. А на самом деле все еще сплю. Сплю еще и сон вижу, только не разумею теперь, что сплю. Заблуждаюсь, значит. Будто не сплю, а так только, не встала еще, лежу на лежанке. И гляжу на стену перед собой. Темень вокруг, а зрю. И на стене передо мной будто светится что-то. Два огонька светятся. Похоже, как волк во мраке глядит. И не волк это оказался, а пес наш. Не нынешний, а тот, который еще при муже моем был, все в лес с ним ходил, на зверя... Ну, мыслю, коли это не волк, а пес наш, то ни к чему мне его страшиться. Хочу окликнуть его, позвать, чтобы признал он меня и не тронул. А голоса нет. Хочу позвать, а никак не получается. Нет голоса, пропал, хоть плачь! А пес уже и не пес вовсе — волк лютый. И не на стене передо мной, а за спиной у меня, перед лежанкой, к очагу поближе. Великий такой, как туренок годовалый. Морду воздел и лает. Не воет, а лает. Хотя не пес уже, а волк. Тоскливо так лает. Тут я приподняться хочу, для чего — сама не ведаю. И никак, представь себе, ну никак головы мне не поднять. Крикнуть — голоса нет. Голову поднять — сил нет. А вместо волка зрю теперь перед собой множество шеломов, копий, мечей, все стены ими увешаны. Темень, а зрю, все зрю. Тут каким-то способом подняла я все же голову, а из-под головы моей... Ведаешь что? Не ведаешь. И не догадаешься. Вспомнить страшно! Из-под головы моей великий-превеликий медведь выскакивает. Я ни жива ни мертва. А он, медведь, будто и не зрит меня, а пошел себе к двери, зашагал прочь. Зашагал на лапах негнучих, высоких, не медвежьих вовсе. И будто не медведь он уже, а человек. Великан! И на карачках от меня уходит, все далее, далее... Будто уже не в доме, а в пещере, и тянется та пещера в нескончаемую черную глубь. И в ту черную глубь уходит от меня то ли медведь,

великий, то ли человек-великан на карачках. Тут, сама не ведаю отчего, направляюсь и я туда, за ним вослед. Тоже на карачках. И нет его уже передо мной, не зрю его более, зрю только ход в глубь пещеры, все далее, далее, черно все впереди, и нет тому предела, нет конца. И я уже не шагаю туда, в глубину, а лечу. Будто птаха ночная или кожан, лечу и лечу, во мрак крошечный, и нет мраку тому в глубине' предела...

Лыбедь давно поднялась с корзны, скатала его, то и дело порывалась уйти, но тетка все сидела, подняв к подбородку костлявые под юбкой колени, все не отпускала племянницу, раза два даже придержала ее цепкой высохшей рукой. И все говорила, говорила, и не было тому потоку конца, как нет конца и предела воде днепровской.

А Лыбеди так хотелось побыть одной, в тишине, еще хоть немного помечтать о соколе, который однажды обернется яснооком кметом... и встанет рядом... возьмет за руку... поведет за собой... Далеко ли поведет? Не все ли одно! За т а к и м — хоть в какую даль пошла бы Лыбедь... Так хотелось побыть одной, в тишине... А старуха, видать, страшилась оставаться в одиночестве, страшилась тишины и все не отпускала племянницу, все говорила, говорила, говорила...

Есть у разных душ человеческих две великие жажды: жажда общения и жажда уединения. Они — несовместимы меж собой. И когда не совпадут они у двоих повстречавшихся на дорогах жизни — тогда беда!

9. КЛЯТВА УСАНА, СЫНА ЖИВУНА

Тесно и шумно в наибольшей палате княжьего терема, отстроенного заново на месте прежнего, спаленного во хмелю. Теперь — иной пир.

Отроки взмокли, таская на головах великие блюда со снедью, едва успевая уносить прочь опорожненные корчаги и приносить новые, полные меду.

Горели, чадя, масляные светильники, немного света пробивалось снаружи через тесные окна, затянутые мутно-прозрачной пеленой из бараньих кишок, — в этом смешанном полусвете блестело железо на замерших у дверей да по углам гриднях. Блестели бронза, серебро, а где и золото посуды. Блестели лбы и скулы пирующих, сверкали распаленные глаза.

Пировали в тот же час и на дворе — у возов и шатров, крутили над кострами цельные туши быков, вепрей, баранов. Ходили по хватким рукам круговые ковши и туры рога с медом да брагой.

Гремели над Горами дружные антские песни — застольные, боевые, походные. Бренчали и звенели струны, споря с голосами дудок, рожков и сопилок. Затем вдруг становилось тихо на какое-то время, и в той тишине слышался перебор многоголосых струн и одинокое пение гусляра. А после снова поднимался гомон зычных голосов, и поднимались над деревьями спугнутые птицы, взлаивали с подвываньем всполошенные псы на дворах да подавали жалобный голос встревоженные кони.

Великий пир давал Кий на своем дворе и в своем тереме. Рядом с князем полянским восседали молодшие братья Щек и Хорив, две надежные руки его. Здесь же были ближние бояре, в их числе сивоусый забияка Воислав и долгобородый умница Горазд. На каждого из них мог положиться Кий, знал: не подведут.

Съехались сюда, к Горам, на великую межплеменную сходку, многие прославленные антские князья и вожаки со своими боярами и тысяцкими, с охранными сотнями своих гридней. Были здесь ближайшие соседи полян — северяне с Десны и добрые вояки росичи. Прибыли с дальних берегов Тиры¹ уличи и тиверцы, а с ними и дулебы. Даже дреговичи пришли по Припяти из полуденных лесов, минуя древлянские земли, где два лета назад прошел вдоль и поперек грозный Воислав, побив немало кметов древлянских и добравшись до самого корста на Уже, которого, правда, не взял, но двор и терем Горислава все же пожег и на всю ту землю великую дань наложил. Горислава на сходку не позвали: много чести...

На другой день после пира была великая охота — в лесу и в поле. Один только дулебский князь Мусокый свалил стрелами трех косуль и матерого сохатого. Сам Кий, спешась, пошел с одним мечом на задержанного псами медведя и заколол: разъяренный зверь, едва отозвали псов, поднялся на дыбы, а князь, прикрыв голову малым круглым щитом, всадил лезвие в доступное косматое брюхо, под ребра, до самого сердца... В левобережных плавнях немало было побито меткими стрелами

¹ Т и р а — Днестр.

белых лебедей и серых гусей, множество всяческих уток — на воде и влет. Богатая добыча досталась тем, кто пошел с Хоривом вдоль правобережного леса на полдень: нежные косули и упитанные вепри, тяжелые глухари и хвостатые тетерева, пестрые рябчики и шустрые куропатки. Лису и куницу, горностаю и соболя, зайцев и векш не трогали: на них охота зимой, когда шкура красу обретает.

Кто желал — набрал немало рыбы, на перемет в Днепре и бреднями в старицах.

Далее всех усаkali в поле Воислав, тиверский князь и два росича-тысяцких. Долго не возвращались. Кий, затревожившись, снарядил сотню — искать и выручить. К вечеру сотня воротилась вместе с охотниками. Приволокли нелегкую добычу: двух серо-бурых туров — молодую корову и великана-быка с отменными рогами. Быка оттащили на Лысую гору к капищу — в жертву богам. Корову же отдали одному из росичей, самолично взявшему ее с коня на копье; однако тот передал свою добычу хозяину сходки — полянскому князю; Кий же, ничтоже сумяшеся, повелел отдать тушу и шкуру с рогами той сотне, которую посылали на поиски.

— То им на один зуб,— заметил неодобрительно Щек.

— Зато никому не обидно,— возразил Кий.— Га? На третий день затеяли игры.

В затоне на Почайне пустились вперегонки на челнах-однодеревках. Первыми пришли северяне, полянский челн — впритык за ними.

На Майдане боролись силачи — всех уложил, одного за другим, улич Птах, молодой увалень с доброй улыбкой и таким вздернутым кверху носом, на который хотелось что-либо повесить, как на крюк. Каждому побежденному он тут же подавал руку, помогая подняться.

По окончании игр раздавали подарки победителям, в соответствии с явленной доблестью. Уличу Птаху вручили пару добрых сапог, но бедняга так и не сумел натянуть их — малы оказались. Тогда Кий, насмеявшись от души, расцеловал улича и подарил ему свой пояс из бычьей кожи, украшенный золочеными бронзовыми бляхами. Однако сей драгоценный дар не сошелся на животе у молодца.

— Проси, чего сам желаешь! — предложил Кий.

— Меду бы,— смущенно пробасил победитель

под общий хохот.— Да сала кусок. А то ослаб я бо-
рючись.

Князь велел поить и кормить Птаха, сколько душа
примет. Потешились вволю.

Еще через день все собрались на Майдане, где —
послушав гадания волхов и воздав щедрые приношения
богам — начали совещаться.

В отличие от прежних сходок, когда правили ста-
рейшины, когда собиралось великое множество народу
и каждый болтал, что и сколько заблагорассудится,
после чего начинались пьянство и несуразица, а порой
и потасовка,— на сей раз говорили немного и не все
разом. Попировали, поохотились, поиграли, богов тоже
не забыли,— теперь головы были ясные, трезвые, никто
глотку попусту не драл. Говорили больше одни князья.
Бояре же и тысяцкие, где требовалось, слово дельное
вставляли, а гридни знали свое дело — оцепили Майдан
и никого не пускали, дабы ничье чужое ухо не проведа-
ло и ничей долгий язык не раззвонил прежде часу, что
было на той сходке сказано, что задумано и что ре-
шено.

А сказано, задумано и решено было вот что.

Тиверцы проводали и поведали: собралась на левом
берегу Истра великая сила славинов и хочет идти на ро-
меев. Да так, чтобы пройти подальше в глубь земли
Второго Рима, нежели прежде проходить удавалось. До-
быть поболее золота и угнать поболее скота да полона,
ненжели прежде добывали и угоняли. И просили славины
тиверцев передать братьям своим антам, что ждут их
подмоги в затеянном походе, как это бывало и прежде.
Что добычу и полон, как и в былых набегах, разделят
честно. Так передали славинны, о чем и сообщил сходке
тиверский князь, тот самый, что охотился на тура. И
сказал, что надо бы отозваться на просьбу славинов,
пойти к ним на подмогу в совместный поход.

Все согласились, что надо отозваться и пойти на
подмогу к славинам.

Уличи же, пришедшие на Горы вместе с тиверцами,
предложили собрать все антские дружины воедино под
стягом единого великого князя — тогда анты будут силь-
нее всех прочих.

У Кия даже дух перехватило: заветнейшую его мечту
выразили уличи. Всех — воедино! И тогда не будет под
небом другой такой великой силы. Тогда никто не стра-



шен полянам и всем антам. А ежели еще и со славинами вместе, под единым стягом... Великий Дажбог! Возможно ли такое?!

— То есть как это? — не понял князь дреговичский. — Единый князь над всеми нами? А остальным князьям что делать? В гридни к нему пойти? А стяги наши на возах, что ли, сложить?

— Сейчас поясню, — терпеливо ответил уличский боярин Колобуд, наистарейший из всех на сходке. — Не надо князьям идти гриднями. И не надо складывать стяги на возы. А каждый князь ведет свою дружину под своим стягом, как это бывало всегда. Но один из князей, кого здесь сами выберем, поведет всех прочих, и стяг его будет над всеми прочими стягами для всех единый, и слово его для всех — первое и последнее. Как в Царегороде — один базилевс над прочими царями и князьями. Потому и непобедима сила ромейская. А мы чем хуже? Вот мы и...

— Нам эти заморские премудрости ни к чему! — зашумели все дреговичи, неуважительно прервав речь старого Колобуда. — Как наши пращуры жили, так и мы проживем. Так и правнуки наши жить будут. А хваленых ваших ромеев прежде бивали анты и славины, побьют и на сей раз. Без иноземных премудростей!

— Без иноземных премудростей? — переспросил тогда Кий, встречая в возникшую внезапно суперечку. — Для чего же нам отказываться от чужих премудростей? Чтобы свою дурь сберечь?

Тут иные засмеялись.

— Нечего зубы скалить! — огрызнулись распалившиеся дреговичи.

— Коли смешно, отчего не смеяться? — Горазд пожал плечами.

— Ну ежели твой князь — скоморох, ежели потешил тебя, то и смейся себе на здоровье!

Услыхав такие слова, поляне подхватились было, но Кий прикрикнул:

— Угомонитесь! В том не много славы — меч с долгим языком скрестить. На слово словом отвечать надобно, а не мечом! Ну а премудрости иноземные... Ежели ромейский царь на двух ногах ходит, то что же мне — на карачки встать? Или на руках ходить? Этак и впрямь скоморохом князю быть. Зато — на свой манер, без иноземных премудростей. Га?

Тут уже засмеялись все. Одни только дреговичи угрюмо промолчали.

— А ежели ромей,— продолжал Кий,— на конях своих ликом вперед сидят, то побьем ли мы их, усевшись ликом назад, к хвосту? Зато — по-своему, без иноземных премудростей! И не хвалитесь, идучи на рать... Не бывало разве, что антские кони показывали ромеям хвосты?

— Может, с кем и бывало такое,— сказали упрямые дреговичи.— То, надо полагать, полянские кони показывали хвосты ромеям, а с нами подобного не случалось.

— Не потому ли,— спросил невозмутимо Горазд,— что ваших коней на Истре вовсе не видать было?

Тут все поляне снова засмеялись, а вслед за ними — росичи и дулебы, уличи и тиверцы. Последним захохотал во весь голос, трясаясь, раскачиваясь и крутя тяжелой чубатой головой, северянский князь Вовкобий, великан среди великанов, славный тем, что мог одной рукой свалить коня вместе с всадником.

Тогда дреговичи обиделись, встали и не простоя покинули сходку, тотчас же отправившись восвояси.

— Баба с воза — кобыле легче,— бесстрастно бросил им вслед Горазд.

И опять все оставшиеся дружно засмеялись, а громче всех — великотелесный Вовкобий.

После ухода дреговичей толковали недолго. И столковались. Вовкобий, вытирая с обширного лица проступившие от смеха пот и слезы, предложил поставить во главе антских дружин полянского князя Кия, не раз доказывавшего, что Перун его любит.

— То же самое и мы хотели сказать,— заявил дулебский князь Мусокый.

— Лучшего нам не сыскать,— поддержали уличи.— И дружины его теперь сильнейшие среди всех антов.

— Полянский князь и со славинами лучше прочих столкуется,— заметили тиверцы.

— А вы что скажете? — спросили, затревожившись, у молчавших почему-то росичей, дружины которых по силе едва ли уступали полянским.

Те тихо перешепнулись меж собой, после чего приведший их Усан, сын уже немощного князя Живуна, в кольчуге, снял со светло-русых кудрей высокий шлем с серебряными наглазниками и передал его близстоящему своему тысяцкому, тому самому, который добыл копьем

турью корову. Затем княжич выдернул из украшенных нездешней многоцветной эмалью ножен свой меч — прямое лезвие сверкнуло мимолетным огнем — и направился к Кию. Поляне напряглись, насторожились. Хорив и Воислав даже схватились за рукояти своих мечей, но Кий остановил их повелительным жестом, смело и спокойно глядя на приближавшегося Усана.

А тот, подойдя, откинул за широкое плечо багряный плащ, встал на одно колено, взялся двумя руками за обнаженный свой меч, приложился губами, быстро опустил запылавшее лицо, но тут же поднял его и сказал так, что все услышали:

— Шатры росичей в походах всегда стояли рядом с шатрами полян. Наши боевые кони всегда скакали рядом в лютой сече. И единые у нас с полянами боги...

Он умолк, перевел дух, еще раз приложился губами к мечу и воскликнул:

— Клянусь Дажбогом! Клянусь Днепром и Росью! Клянусь своим мечом и своей честью! Клянусь честью и славой пращуров моих, отца моего и князя Живуна, клянусь багряным стягом его! От него и от себя, от бояр и тысяцких, от сотских и десятских, от гридней, ратников и воев, от всех кметов наших, от всех дружин наших — клянусь, что отныне я сам и каждый росич будет верен князю полянскому и его стягу! Отныне и вовек! Дружины росичей — твои дружины, великий княже! Прими нас под стяг свой и веди нас под стягом своим!

— Встань, Усан, сын славного Живуна! — Кий шагнул к росичу, рывком поднял его, обнял, прижал.

Никто не слышал, что еще сказал полянский князь, ибо всеобщий восторженный клич — боевой клич антов — загремел над Майданом. Только стоявшие поближе к Кию узрели то, чего никогда прежде не видели: лицо его дрожало, а карие глаза залило слезой.

10. АНТЫ И СЛАВИНЫ

Их было двое. Птах из антов-уличей, могучий гридень с добродушным курносым лицом, и Данелко — юный славинский княжич, верткий и тонкий, как медяница¹. Последний, хотя еще не успел набрать всей

¹ Медяница, или веретеница, — змеевидная безногая ящерица; не путать с медянкой — неядовитой змеей.

своей телесной силы, умел, однако, так вжаться в травянистую землю, чтобы неприметно подобраться к стану недруга и, разумея по-ромейски, услышать нужный разговор. Птах подобного не мог, ибо зело велик был телом и по-ромейски разумел не более нежели по-птичьи, хотя и носил птичье прозвище. Зато способен был сколько потребуется просидеть под водой со срезанным камышом в зубах, а главное — мог отбиться и за себя и за других. Потому и посланы были оба, ант и славин, разведать, что замышляют ромеи, как мыслят встретить подошедшие к их земле дружины извечных недругов.

Оба переплыли на правый берег Истра, где переждали конец дня, после чего Данелко, затемно уже, подполз в сторону великого ромейского лагеря, в котором разместилось множество пехоты, конницы и боевых колесниц. Птах же остался ждать княжича, погрузясь в реку у самого берега.

Не раз мимо затаившегося в неласково холодной воде Птаха проходили ромейские дозоры с факелами, совсем рядом проходили — хоть руку протяни, схвати последнего за ногу да поскорее утащи в воду, чтобы и крикнуть не успел. Нет, не позволял себе Птах такого озорства: не за себя страшился — за Данелку, которого обязан был сберечь.

Тихо сидел Птах, терпеливо. Ждал Данелку. В проголодавшемся чреве ощущалось нарастающее недовольство. Водой-то не насытишься — как быть? Утка проплыла у самой головы, не приметив анта. За нею — четверо утят, а пятый, наименьший, отстал, пустился догонять, лапками — тят-тят-тят! — часто-часто забил по воде. Забавный! Изловить бы да зажарить на огне... Эх!..

А Данелки все нет и нет. Уж не попался ли? Не допусти, Дажбог, такого! Одному, без дюжего Птаха, юному княжичу не отбиться. Как тут быть Птаху, что делать, а чего не делать? Ждать и ждать. Ничего иного ант придумать не сумел. И терпеливо ждал. Тревожился и ждал...

Еще один дозор по берегу топает. Похоже, на конях. Так и есть! Принесла нечистая сила! На сей раз — федераты¹. Уж лучше бы ромеи... Подъехали, остановились. Спешились. Говорят меж собой. Голоса слышны,

¹ Федераты — в Византии наемные войска из «варваров»: готов, гуннов, вандалов и др.

а слов через воду не разобрать, чья речь — не узнаешь. Совсем близко подходят. Неужто заприметили? Не должны...

Боль нестерпимая во рту пронзила Птаха! И нечем стало дышать. Кто-то закрыл отверстие камышины и давил вниз — другой ее конец врезался под язык. Птах весь затрясся в воде от напряжения, стараясь терпеть, не пошевеливаться, не выпустить камыш и не пропустить его глубже, к горлу. Сколько успел прежде вдохнуть, столько и удерживал теперь воздух в своей широкой груди. Помоги, Дажбог! Долго ли так терпеть?..

А те, на берегу, знали свое дело. Еще надавив, дернули затем камышину к себе, выдрали из Птаховых зубов. Невозможно было тому терпеть далее, пришлось вдохнуть всей грудью — вода тотчас влилась в него, память вышла вон... Будто великая играющая рыба, выскочил из реки ант, тут же подхваченный федератами. Он уже не слышал их злорадного смеха и не ощущал, как повязали всего ремнями и поволокли за конем по прибрежной траве...

А в ромейском лагере к тому полуночному времени заканчивался допрос юного славина, схваченного вблизи центрального шатра, где как раз совещались допоздна военачальники. Заканчивался тот допрос, можно сказать, ничем. Потому что схваченный, так ничего и не сказав, испустил дух.

Как проник он в лагерь, миновав бдительную охрану? Как добрался до самого центра и приблизился к шатру? Ведь тем же способом мог бы уйти обратно к своим, передать немало увиденного и услышанного. Эти проклятые варвары всюду пролезут! Одного только не предусмотрел славинский лазутчик: чутья находившихся при лагере собак. Если бы не эти черные с желтыми подпалинами свирепые звери, еще не известно, удалось ли бы заметить его и схватить. Не предусмотрел славин наличия собак в лагере, хотя это так обычно. Слишком молод был, неопытен. А пославшие не подсказали... А держался юнец, надо отдать ему должное, стойко и достойно. Даже когда — перевернув вниз головой — прибавали гвоздями к доске его ладони! Только вздрагивал при каждом ударе, но — ни звука не проронил...

Кий с каждым часом тревожился все более, и тревогу

его разделяли все остальные. Прошла ночь, миновал день, а Птах и Данелко не воротились. Стало быть, схвачены. И если дались живыми — пытаны.

— Птах будет молчать, — заверили уличи.

Но сможет ли выдержать изощренный ромейский допрос юный княжич, еще не окрепший плотью?

Где главные силы антов и славинов, где стоит сам Кий — все это ромеям, разумеется, ведомо. Ибо шила в мешке не утаишь. Не обманула врага и славинская хитрость — будто стремятся во что бы то ни стало взять штурмом ближайшую крепость. Третий день штурмуют ее тысячи славинов, сотнями навсегда оставаясь вповалку под стенами, в то время как главные силы встали именно здесь, огорожаясь возами на невысоких горбах за прибрежными рощами. Раскусили недруги эту затею — не зря ведь великое ромейское войско, посланное поначалу на подмогу крепости, не пошло к ее стенам, а свернуло внезапно и встало лагерем как раз напротив головных сил антов и славинов. Много ли их там в лагере, ромеев? Что замышляют? Будут ли переправляться здесь через Истр или предпочтут ждать на правобережье, на своей земле, предоставив нелегкую переправу противнику? Все это должны были выведать Птах и Данелко.

И не вывели, не сумели... И никто пока не ведал, удалось ли ромеям попытаться у схваченных чего-либо о Киевской задумке — притаить в ярах меж горбами и в рощах запасную конную силу. Вот еще одна ночь настала, и только утро покажет, сумели Птах и Данелко не выдать ромеям Киеву задумку или не выдержали допроса...

Кий все же полагал, что ромеи не станут торопиться с переправой, выждут. Однако, в отличие от всех прежних случаев, на сей раз они перешли Истр первыми, едва рассвело. И не там, где стояли лагерем, а еще дальше от своей крепости, еще ниже по течению, в самом неудобном для переправы месте. Такого Кий не ожидал, никак не ожидал. Решил самому с места не уходить, не отрываться от яров и рощ, где припрятал запасную силу.

Ромеи же творили непонятное. Ушли мимо антов и славинов в глубь левого берега и сгнули за окомом. Стало быть, решил Кий, там повернут на закат и выйдут ему в спину, внезапно, чтобы не успел развернуть свои тысячи. И Дажбог тогда не ромеев будет ослеплять, а — напротив того — антов и славинов.

— У нас научились! — с досадой воскликнул великий

князь, когда дозорные донесли, что предположения его оправдались.

— У нас есть чему поучиться, — заметил находившийся тут же, на горбе у Киева шатра, Власт, отец Данелки, сильнейший из славинских князей. И горделиво пригладил темно-русые усы — такого же цвета, как мех его куньей шапки с ярким парчовым верхом и тремя орлиными перьями. А в серых с синевой глазах не гордость — тоска безысходная: разумел, что потерял сына, сам на погибель и муки послал. Не чужого — своего. Кто укорит теперь, когда чужого на смерть пошлет Власт?

— Это верно, — отозвался не тотчас Кий. — У нас есть чему поучиться. И нам у ромеев кое-чему поучиться не во вред.

— А вот мы уж, — возразил славин, — обойдемся как-нибудь без ромейских премудростей!

Кию тут же припомнились столь похожие слова дреговичей на последней великой сходке. Но спорить не стал: понимая состояние отца Данелкиного, к тому же — эдесь не сходка, а всякий спор перед сечей — не к добру. Позвал братьев...

Власт, немолодой уже, легко вскочил на каракового коня в нарядном убранстве и в сопровождении своих бояр ускакал в сторону крепости, где сосредоточились славянские тысячи.

Кий оставался пока у своего шатра с бело-синим стягом при входе и глядел с горба, как Щек и Хорив выполняют его наказ — поборзее разворачивают правое и левое крылья навстречу встающему Дажбогу и чуток в сторону, чтобы не впрямую слепило. Справа и слева затрепыхались на утреннем ветру разноцветные стяги, тысячные и сотенные значки. Одновременно разворачивалась, осаживая храпящих коней, головная дружина.

Знают ромеи про запасную силу или не знают? Допытались у Птаха и Данелки или не допытались? Что-то не верилось в доброе. Оставалось одно — ждать. Уже недолго...

Ромеи возникли внезапно, в несметном множестве, вдоль всего окоема. Шла конница. Дажбог все же слепил глаза, да и за поднятой пылью нелегко было разглядеть отдельных всадников — они стали видны, когда вынырнули из пыльной тучи так близко, что Кий поскорее надел свой шелом с синими перьями, велел подавать коня и выносить к дружине великокняжеский стяг. Те-

перь он ясно видел приземистых разномастных коней с подвязанными хвостами и стриженными гривами, рослых темноликих всадников. Федераты!..

Кию подвели снаряженного коня, доложили о готовности головной дружины. Но князь выжидал, хотя удержаться было нелегко: федераты накатывались, как весенняя река. Но надо было еще выждать — разглядеть, на кого готовят они наибольший свой удар, на какое крыло, или в самую середину.

Князь вознесся в седло, но все еще ждал. Окружившие его гридни деловито и расторопно готовили стрелы. Сначала — луки в ход, затем — копья к бою, а поломав и побросав копья — мечи вон! Не впервой...

— Гляди, княже! — крикнул один из гридней, указывая в сторону реки.

Там, вдоль берега, неведомо когда и откуда появясь, скакала новая ромейская сила, нацеливаясь в бок правого антского крыла. Только это были не федераты. Все кони — как на подбор, высокие, золотисто-рыжие, в золоченых налобниках и нагрудниках. На гребнях сияющих золотом шоломов червонели перья, с широких плеч всадников на широкие крупы коней ниспадали, вздуваясь на ветру, червонные плащи. Имперская гвардия! Краса и гроза ромейская! Впереди — на белом черноглазом жеребце, в белом плаще на золоченых латах, с белыми перьями на закрывающем лицо золотом шеломе — мчался неведомый, но явно знатный всадник. Неужто сам Первый Полководец Империи? Кий немало был наслышан о нем, говорили даже, будто родом то ли ант, то ли славин. Он ли это? Тогда понятны все хитрые ромейские уловки, все их неожиданные дерзости — именно Первый Полководец способен на такое. Стало быть, он самый? Не допусти, Дажбог!..

Медлить более невысказанно! Кий выхватил меч, поднял над шоломом. Тут же запели невидимые трубы, князь стронул коня и повел головную дружину не вперед на федератов, а направо, к берегу, навстречу ромейской гвардии. Щеку и Хориву успел передать условными знаками, чтобы пропускали федератов и били их с боков.

Тысячи всадников сошлись молча — справа, слева, со всех сторон. Сошлись и тотчас перемешались. И тогда только поднялся крик великого множества убивающих и погибающих, поднялся в запыленное небо, и ничего

уже за пылью невозможно было разобрать со стороны. Да и кто был в стороне?

И в этом крике, перекрывая его, послышался антам знакомый зычный голос.

— За мно-ой!

Этот голос не раз слышали поляне и росичи и многие прочие анты, слышали, бывало, даже сквозь рев ломающего вешние льды Днепра, даже сквозь ночной гром разгневанного Перуна. И сейчас его услышали все — и анты и славины, и федераты и ромей-гвардейцы — голос полянского князя Кия.

И это было знаком для запасной силы, припрятанной в ярах и рощах, неведомой недругу, ибо не выданной под немыслимым допросом двумя бессмертными героями — антом Птахом и славинном Данелкой...

Свежие тысячи антских дружин вымахали из яров и рощ. Здесь были только поляне и росичи.

Полян вел Воислав. Голова боярина не была покрыта, встречный ветер относил назад сивый хвост коня, сивые усы и чуб бывалого вояки. Казалось, будто прямо из бритой его головы степной ковыль вырос и веет на ветру. Воислав размахивал тяжелой боевой секирой на долгой рукояти, готовый сокрушить любую ромейскую броню. За ним, уставя копья и подняв мечи, скакали железные полянские дружинники.

Впереди росичей летел на соловом коне Усан, сын Живуна, в кольчуге, в высоком шеломе с серебряными наглазниками. За ним летел багряный плащ, и следом — ряд за рядом — багряные щиты росичей, а над ними — прямые молнии мечей.

Внезапное появление свежих антских дружин решило исход сечи.

Первыми начали поворачивать своих стриженных разномастных коней федераты, они сталкивались то со своими же товарищами, то с гвардейцами, то с антами, топтали павших и стремились вырваться отсюда прочь, подалее в поле...

Тем временем славины подожгли наконец крепость и, обойдя ее, полыхающую, разлились по всему правобережью, громя и разоряя ромейские селенья.

...К концу дня, после сечи, у самой воды нашли порубленного ромея в белом плаще. Стянули золотой шелом — лицо под ним оказалось нестарое, никому не ведомое. То был не Первый Полководец...

Несколько дней и ночей анты и славины справляли тризны по убитым, а раненых — вместе с полоном и немалой добычей — отправляли под сторожей в свои земли.

Ромейский боевой лагерь целиком пожгли и затоптали конями. Перед тем нашли там два перевернутых креста, на каждом из которых прибит был гвоздями человек — вниз головой. Один был великан, другой — поменьше да потоньше. Только по величине и опознали...

Птаха улича сожгли и погребли вместе с прочими своими гриднями и иными кметами. Кий с братьями был на их тризне и принес там свои жертвы богам.

А по Данелке славины справили свою особую тризну, и ее также почтил полянский князь, пожертвовав сотню быков и три сотни баранов. Были на той тризне и другие жертвы...

На высоком горбе установили каменного славинского бога: в полтора человеческих роста, четыре лица под одной шапкой на все четыре стороны — на восход и закат, на полдень и полночь; с каждой стороны, под каждым лицом, вырезаны на камне по две ручки, тонкие с расставленными пальцами, одна на пояс положена, другая за сердце держится; под поясом — конь хвостатый и меч кривой, еще ниже — человек стоит, а под ним — еще лики, но почему-то только с трех сторон — на четвертой, закатной, пусто.

Сложили перед тем каменным богом великий костер из ошкуренных стволов древесных, взятых в окрестных рощах. На костер положили крест с прибитым княжичем Данелкой. Привели четыре десятка полоненных ромеев, побили всех секирами по головам и сложили на тот же костер...

После удачной для себя великой сечи с ромеями далеко за Истр прошли анты и славины, разоряя и сжигая все на своем пути, угоняя тьмы¹ коней, скота и полону. Иные дошли до дальних морских берегов, прежде неведомых. Немало родов так и осталось после сидеть на ими же разоренной земле. Остальные же — с полоном и добычей — воротились к своим лесам и полям, к своим горам и рекам. И не был тот набег последним.

¹ Тьма — десять тысяч.

11. ВСЕ БУДЕТ ЛАДНО

Небывалое успокоение в непрестанно взбаламученной душе своей ощутил Кий, когда взглянули на него лазоревые очи девицы, не дерзкие и не робкие, взглянули просто и прямо, будто молвили: «Вот она я, княже. Какую зришь, такова и есть. Таковой останусь при тебе, никуда не денусь. Все будет ладно».

В с е б у д е т л а д н о .

Поверил, без оглядки поверил Кий этим целительным словам, сказанным безмолвно очами девицкими. Все изучали и изучали они в нем, принося душевное равновесие, такое непривычное и такое желанное. Светлым и ясным казалось отныне все окрест, как светлы и ясны были очи Белославы, княжны славинской, как светла и ясна была череда колец серебряных на золотой косе ее.

Не в отца своего Власта уродилась Белослава. У князя славинов и волос темнее, и взор жестче, и норы круче. Княжна — иная.

— Лучшей жены тебе не сыскать, — так Власт заявил Кию, когда пировали вместе после еще одной победы над ромеями. — Не сыскать ни в своей земле, ни в чужих землях.

И ведь правду сказал, никуда не денешься. Мало ли на Горах красных дев полянских, к чему искать других за тридевять земель? Мало ли их заглядывалось — украдкой и не таясь, всяко — на князя своего? Только бровью поведи — любая с ним будет... Но не бывало еще такого с Кием, не вздрагивала так душа и не замирала в несказанном успокоении, как от взора Белославы.

— Не в одном походе стояли рядом наши возы и шатры, — говорил Кию князь славинский. — Не единожды одолевали мы с тобой совместно хваленых гвардейцев и федератов ромейских. Еще до самого Царягорода дойдем с тобой. Неужто не совладаем? Когда твои анты и мои славны единым походом идут — какая сила остановит нас? Нету такой силы и быть не может! Сходная речь у нас с тобой, сходные боги и обычаи. Не чужие мы один другому, сам ведаешь. Так породнимся же того более. Возьми в жены любимое чадо мое Белославу, не сыскать тебе жены лучшей. И хотя самой ей цены нет, но не сироткой убогой придет к тебе дочь князя Власта. Нет! Пятеро дев и жен славинских из рода нашего отпущу

с ней в твою землю. Лучших рабов и рабынь, лучших коней и быков отдам тебе с дочерью. Парчу и шелка, камня всех цветов, золото да серебро, не один воз пойдет к тебе за нею следом...

— Ну и я в долгу не останусь, — усмехался Кий в ответ. — Не к гулятью беспутному отпустишь дочь свою. Тьму золотых монет ромейских, меха собольи да куньи, мечи неломкие да кольчуги надежные получишь от меня...

Верно заметил Власт, немало сходных обычаев было в ту пору у различных племен антских и славинских. Но при всем том сходстве кое в чем наблюдалась и разница. В одних племенах, как у полян, скажем, за невесту платили выкуп — вено. А в других племенах — наоборот — за невестой давалось приданое. О древлянах же и прочих им подобных, где невест предпочитали умышлять безо всякого сговору, — о тех не пробудившихся еще от давней дикости соседях речь особая...

Долго еще, шутя и не шутя, пререкались Власт и Кий, стараясь не уронить чести и хвалясь один перед другим своими богатствами, хотя каждый разумел при том, что величайшее богатство — сама Белослава. И сие великое богатство славинский князь Власт по своей воле отдавал боевому другу, антскому князю Кию, чтобы тем самым пуще прежнего скрепить выкованный в совместных походах братский союз. Кий рад был такому дару бесценному и рад был тому союзу братскому, ибо, как и Власт, разумел: нету такой великой силы, которая одолела бы антов и славинов, коль скоро они вместе. И — то ли от дум таких, то ли от выпитого меду, то ли от взора невесты своей — проникся добрым душевным расположением к Власту, будто еще одного брата обрел. Спросил участливо:

— А не жалко тебе, друже-княже, такое диво бесценное в чужой род отдавать, отпускать в земли далекие?

— А то! — вскинулся Власт и ответил не таясь: — Еще как жалко! Но знаю тебя, Кий, ведаю силу и славу твою, люб ты мне такой, и для тебя... ни для кого иного, для одного тебя только!.. готов отдать чадое свое ненаглядное. Отныне станет она полянской женой, уйдет с тобою на Днепр, к Горам...

— Так ты приходи ко мне на Горы, — от души предложил Кий. — Всегда буду рад тебе. Встретим с честью

великой. И с дочерью поводишься. Как сам пожелаешь, так и приходи.

— Благодарствую. Только не приду я к тебе. Не приду. И не почему-либо, а потому как раз, что там Белослава будет, не моя уже дочь — твоя жена. Отрезанный ломоть! Рука отрубленная! А отрубленную руку не приставишь и кровь из раны ею не уймешь.

— Тогда не руби своей руки, — помрачнел Кий.

— Уже отрубил, — возразил Власт со вздохом. — Иначе и разговору бы не было с тобой. А мое слово всегда одно: что сказал — то бесповоротно! Я не умею, как ромей, с утра одно вещать, а к вечеру другое. И ты такой же, знаю, потому и люб ты мне... Эх, друже-княже, одному тебе скажу. Никому еще не говорил такого, а тебе — скажу. Внимай!

Кий внимал, а Власт заговорил тихо и задумчиво, будто прислушиваясь к собственным словам и проверяя, верно ли сказал. Так прислушивается гуслиар к звучанию струн, когда настраивает их.

— Не знаю, хорошо то или дурно, — говорил Власт, — только я таков. Я ведаю, каков я есть. Никто не ведает, а я ведаю. Теперь и ты ведать будешь... Я ведь не таков, каким кажусь, каким ты меня зришь. Мнишь, артельный я и щедрый? Все так мнят. Но я не таков, нет. Может, оно и негоже, да не мне судить, здесь одни только боги судить могут. Великий бог наш Световид пускай судит...

Немало каменных изваяний четырехликого славянско-го бога Световида встречал Кий на берегах Истра. Попадались ему такие же изваяния и кое-где в антских землях, к примеру — у росичей. Были когда-то такие и у полян, на Горах... Вспомнил, кто каменный Световид воздвигнут был недавно над могилой славинского княжича Данелки. Немало серебристых ручейков заструилось в темно-русой бороде Власта после того, как погиб славной кончиной его шустрый сын Данелка. Вот когда рука отсеклась и кровь в душе не унялась, поди, до сей поры. А теперь еще руку отрубает сам себе Власт — отдает на сторону любимую дочь Белославу. Так что же, отказаться Кию? Негоже, отказом лишь обидит Власта. Да и сумеет ли отказаться, после того как глянул ему в самую душу, неробко и не дерзко, тихий свет ее очей и заверил безмолвно: в с е б у д е т л а д н о...

— Нет, друже-княже, — продолжал Власт, — не ар-

тельный я. И не щедрый. Да, мне не жалко для другого ни шатра моего, ни коня. Но ежели в шатре моем хоть сколько-нибудь прожил другой, — это уже не мой шатер, и не останусь я в нем. И ежели на моем коне ездил другой, — то уже не мой конь, и не воссяду я на него перед сечей. Более того скажу. Не ведаю, как ты, но я... Не бывало со мной подобного, но ведаю твердо: ежели к моей жене хоть раз дотронется кто-либо, — не смогу я с той поры подойти к ней, не моя это будет жена. Не допусти Световид подобного ни мне, ни тебе!.. Да ты не сомневайся, Белослава такого не допустит... А к чему я такую речь веду? А к тому, что была для меня Белослава дочерью — то одно, а станет она женой при тебе — то иное. Тогда уж — не моя. Тогда уж — с глаз долой, из сердца вон! Ладно то или неладно, а таков я есть.

— И все же ты щедрый, — не соглашался Кий.

— Щедрый? Нет, не щедрый я, несколько не щедрый. Может, не жадный, то верно. Я на чужое не зарюсь. Что в бою взял — легко раздам, себе мало оставляю, мне не много нужно, не то что иным... Но то немногое, что оставляю себе... Оно — мое! Мое и ничье более. Мое безраздельно! И уступить его...

Кий молчал, сдвинув брови. Что-то не по душе ему было в речах Власта, но решил молчать. А тот, будто угадав, усмехнулся невесело:

— Что мыслишь, не так надобно? Сам ведаю. И хвалю, что молчишь, не укоряешь. Только вот что скажу я тебе. Ведь я не говорю, надо так или не надо. Я говорю, что я таков есть. И другим стать не сумею. А прикидываться, будто стал иным... нет, не желаю прикидываться! Пускай ромей прикидываются, в этом деле они — мастера-а...

«А я умею прикидываться? — подумал Кий. — А надобно ли мне?» И еще отметил, не впервой, что славинский князь явно терпеть не может ромеев, ненавидит их люто. Наверно, из-за того, что сына его Данелку распяли. Еще бы! Разве такое вытравишь из души? Но и до гибели княжича, еще прежде замечал Кий, что Власт ромеев не жалует. Может, оттого, что славинские земли ближе к ромейским? Но разве от близости земель сие зависит — дружба либо вражда? Древляне, правда, близко от полян — то дружат, то враждуют, чаще враждуют. Но и росичи рядом, а — как братья. Ромей же... Такой лютой ненависти ко всем без разбору ромеям Кий в себе не

ощущал, хотя бивал их не раз, а потребуется — еще и еще побьет.

И кроме прочего, подумал Кий, что будущий тесть его — при всей видимой прямоте своей — зело не прост. Будто сидят в нем две несхожие души и никак не уживутся меж собой, то одна сторона верх возьмет, то другая. Как поляне с древлянами. Оттого и сам Власт то таким представляется, а то этаким. Может, были у него дальние предки разные и теперь заявляют о себе — то один, то другой? С волхвами бы потолковать о том, волхвы в подобных заботах — все ведают. А какова у такого отца дочь окажется? Нет, не чуял в ней Кий какой бы то ни было двойственности. Отчего-то верил ей.

Все будет ладно.

С этой верой, с небывало просветленной и успокоенной душой уходил он из славинских земель к себе на Днепр, к Горам. Не первый раз уходил тем знакомым путем, возвращаясь из похода с добычей и полоном. Только что там добыча и полон, когда на сей раз уходила с ним жена его Белослава!

Уходила навсегда в землю полянскую, вчера еще чужую, а отныне — навсегда свою. Уходила из дома отчего, вчера еще своего, а отныне... отныне своим станет пока еще неведомый дом князя Кия, на высокой горе, над далеким отсюда Днепром. Отныне нет у нее ни отца, ни прежних родичей. Те пять родственников, которых придал ей Власт, не в счет. Могла бы и без них обойтись, да не посмела отцовской воле перечить... Отныне Кий — и муж ей, и отец, и родня, и только у него может искать Белослава ласки и защиты, только от него стерпит укор и обиду, только для него будет жить на этом свете. И не может быть отныне у нее без Кия никакой иной жизни.

И знал отныне Кий, что где бы он ни был теперь — за частоколом двора своего или в полюдьи, в гостях у верного росича Усана или в дальнем походе, — всюду будут ему светить лазоревые очи Белославы, и что бы ни стряслось, как бы ни печалился и ни гневался, какие бы тяжкие думы ни одолевали, в очах ее всегда найдет его душа прибежище и спасение. Только взглянет она — кротко и с достоинством, без робости и без дерзости, с тихой лаской и безмолвным пониманием — тотчас уляжется любая буря, любая смута в душе и разуме его.

Однако не ведал еще в ту пору Кий, что минует не

так уж много времени — и многое сегодня ясное представится неясным.

Как часто мы того не ведаем! Видим лишь утреннее небо, подобное очам Белославы, чистое, сияющее с высоты своего извечного спокойствия и успокаивающее мятежную душу, мятежные думы. И мнится, весь день будет таким. Но поближе к полудню появятся здесь и там невесомые белые облачка, пригнанные неведомо отколь непоседливыми ветрами. Мы заметим эти облачка и лишь улыбнемся им, приветливо и доверчиво, не усматривая в их появлении чего-либо тревожного. А не успеем опомниться, глядишь — их стало больше, невесомых облаков, и сами они будто выросли, потяжелели, пока еще поврозь, но закрыли своими белыми горбами едва не половину всей синевы небесной, то и дело набегают на лик солнечный, набрасывая на землю скользящие тени. Мы слегка досадуем на те мимолетные тени, но не верим, что солнце может вовсе скрыться из виду еще прежде, нежели ему положено скрываться в час зари вечерней. Не настал еще час зари вечерней, а над головой не видать более приятной глазу синевы, там все затянуло — не белым уже, а серым, затянуло сплошь, и будто ниже стало небо, и солнце нигде уж не проглядывает. А из-за дальнего леса наплывает, вырастая и клубясь, ширясь и снижаясь, зловеще-темное, оттуда слышится угрожающее ворчание Перуна-громовержца, вон уж блеснули раз за разом его коварные карающие стрелы, и пыльные вихри закрутились у наших ног, зацарапало в глазах, захрустело на зубах, шлепнулась одна капля, другая... и тут же ка-ак ливанет, ка-ак обрушится на нашу непокрытую голову потоп всемирный, да — с градом безжалостным, да — с ветром осатанелым! Куда деваться?

Но не на веки вечные какая бы то ни было гроза, какое бы то ни было ненастье. Снова, ярче прежнего — после мрака, — засияет бессмертное солнце, прозванное в незапамятные времена Дажбогом, то есть дающим свет и тепло, дающим всю жизнь земную, жизнь каждого из нас. И чище прежнего — после ненастья — глянут на нас с высоты своей небеса, отражаясь в морях, озерах, реках и в очах девичьих. Легче — после грозы — дышать будем.

...Не ведал Кий, уходя со своими антами к Горам и увозя Белославу, что со временем появится у него еще одна жена — Всемила — поляночка шустрая и веселая.

В ту далекую пору не в диковинку бывало подобное. Нет, не отвернется Кий от Белославы, но и Всемила при нем будет, и обе подарят ему детей — залог бессмертия плоти нашей. Всяко еще будет, но ни Кий, ни Белослава всего того грядущего еще не ведали, идя впервые вместе, одним путем, с каждым переходом все приближаясь и приближаясь к Горам.

О грядущем ведали волхвы. Они же ведали и то, что прежде бывало. Оттого, от той памяти и происходила, надо полагать, прозорливость их во времени. Но волхвы были еще далеко от Кия и Белославы, ожидая их в своих лесах и пещерах приднепровских.

Туда, к Днепру, к полям и лесам, к домам и дворам своим торопились анты, возвращаясь из похода, следуя за своим князем Кием и за княгиней его Белославой.

Возвращались и верили все до единого, от князя и княгини до бывшего гридня и простого воя, что будет им в родной земле лучше, нежели где бы то ни было. И что завтра непременно будет им лучше, нежели вчера.

Кий поглядывал в лазоревые очи юной жены своей, будто к воде ключевой припадал. И каждый раз одно только говорили ему безмолвно очи ее:

В с е б у д е т л а д н о .

12. СТО КОНЕЙ И ДВА ВОЗА

Князь Власт со своими тысячами, отойдя после еще одного удачного набега на левый берег Истра, поставил шатры и возы неподалеку от полуземлянок славинских поселенцев — и кметам веселее вблизи своих, и тем спокойнее под близкой защитой.

Анты же, после дележа и прощального пира, уходили к себе, кто на скользкие глинистые берега Тиры, многие — на Днепр, а иные еще далее — к полуночным лесам.

Нередко, с годами все чаще, вспоминал Власт сына своего, Данелку. Тосковал. О Белославе старался не помнить, дочь — отрезанный ломоть... И еще припоминал он свои беседы с полянским князем Кием и не мог никак уразуметь, по нраву ли ему пришелся зять. В сече — не боягуз, в речи — не дурень, в дележе — честен, во пиру — весел. Чем плох? Ничего вроде. Ничем? Так ли? А тем, пожалуй, плох полянский князь, что... всем хорош! Не любил Власт таких, которые всем хороши. Каждый

живой человек, по его разумению, хоть чем-нибудь ущербен должен быть. Не одним, так другим. Одни только боги без ущерба. Разумом, отнюдь не слабым, славинский князь ни в чем не мог бы попрекнуть зятя своего Кия. А гордая душа — не принимала, да и только...

Однажды под вечер приволокли дозорные ромей, схваченного на берегу, когда высаживался из челна. Ромей оказался старым и плешивым, однако одет был не бедно. Дозорные сняли с него три перстня с камнями, два браслета, все это — из серебра, а главное — золотую цепочку нашейную с непонятной подвеской, тоже золотой либо золоченой. Все это пришлось отдать князю (утаишь — проведает, свелит на кол живьем посадить!), а о серебряных монетах, которые ромей поспешил раздать дозорным, все же решились умолчать.

Плешивый старик бойко лопотал по-славински и на вопросы Власта твердил одно: дескать, прислан неким ромейским вельможей, которого обидел базилевс, послал передать великому славинскому князю в подарок золотую цепь с медальоном, где упрятано потайное письмо.

— Не вижу никакого письма, — строго промолвил Власт, вертя в руках цепь и разглядывая подвеску. — Все ты брешешь, старик! Свою плешивую голову спасти желаешь. А я не люблю, когда мне в глаза брешут. Не люблю! Уразумел?

Ромей повалился к расшитым княжеским сапогам на кованом каблуке. Молча ждал, только видно было, что дрожит мелко.

— Как же мне быть с тобой, брехуном? — продолжал Власт, явно наслаждаясь и трусливой покорностью схваченного, и собственным гневным голосом. — Продать тебя разве? Так никто ведь не купит такого... Или отпустить на волю — за снятое с тебя серебро да золото? А оно и так уже мое теперь. И не лазутчик ли ты ромейский? Только я ведь не дурень — отпускать лазутчика. Так повелю-ка я своим боярам допросить тебя прилежно, чтобы правду сказал. А уж после принесем тебя в жертву Световиду, четырехликому богу нашему. Что скажешь мне на это?

Старый ромей, продолжая мелко дрожать у княжеских сапог, теперь к тому же побледнел, как выстиранная сорочка, и попросил позволения только дотронуться перстами к золотой подвеске.

— Ну так и быть, дотронься, — смиростивился гроз-

ный славинский князь, одной рукой покручивая свой темно-русый ус, а другой протягивая старику цепь с подвеской. — Перед казнью одно желание положено позволять.

Ромей едва дотронулся — подвеска тихо щелкнула и раскрылась, будто клюв птенца неоперенного, когда он с писком просит и требует червяка у прилетевших на гнездо родителей своих, ничего иного не желая пока в жизни. И выпал из раскрывшейся подвески многократно сложенный листок пергамента.

Изумленный Власт взял поданный гриднем пергамент, развернул, увидел мелкие тесные письма с обеих сторон и передал одному из бояр, знавшему ромейскую грамоту.

— Читай! И пересказывай по-нашему.

Боярин начал — с превеликим тщанием, с запинками и остановками поначалу, но все более осваиваясь и пересказывая бойчее:

— «Власту, великому князю бесстрашных славинов... От свободного римлянина, который... которого незаслуженно обидел базилевс. Прости, великий и могучий князь, что имени своего до времени не называю. Ибо опасаюсь... опасаюсь, что слугу моего схватят... схватит ромейский дозор. И найдет это послание... тогда базилевс меня и близких моих не пощадит. Хотя и без того нанес нам обиды немалые. И потому отныне базилевс — мой смертельный враг до конца жизни. И потому тот, кто досаждал базилевсу, — мне первый друг. А ты, великий и могучий Власт, со своими бесстрашными славинами досаждаешь базилевсу чаще и лучше кого бы то ни было иного. И потому ты мне будешь самым первым другом, и я буду твоим верным другом. Во мне не сомневайся...»

— То все одни слова, — заметил Власт. — Нет у меня веры ромейским словам. Знаю я ихнюю породу: что ни слово — то брехня!

— Внимай далее, княже, — сказал боярин и продолжал читать, теперь — освоясь — без запинки: — «...А чтобы ты не сомневался во мне, сильнейший и мудрейший из князей, я послал тебе в подарок сотню персидских коней и два воза с золотыми монетами, украшениями да посудой, там же множество ценных камней, а также шелковых и парчовых тканей, и сосуды с винами из моих погребов...»

— Где же все эти подарки? Только на пергаменте?

— Внимай, княже. Тут далее сказано... «Сказали мне, великий Власт, что ты не получил моих подарков. Потому что тех коней и те возы отбили себе анты зятя твоего, князя Кия, который, хотя и называл себя другом твоим, но давно уже тебе никакой не друг. Он возомнил себя первым и сильнейшим среди всех антов и славин-нов. Догони же его и отними мои подарки. Они пред-назначались Власту, а не Кию. Докажи, что не он, а ты первый и сильнейший. А сомневаешься ежели в моих словах, то ты ведь умный человек и сумеешь сам рассу-дить. Ежели бы Кий был тебе другом, то, услышав от моих людей, что кони и возы посланы тебе, его тестю, не стал бы их себе оставлять и от тебя утаивать, а передал бы по назначению. Не так разве? Ты сам сумеешь рассу-дить и сделать как тебе лучше. Желаю тебе новых слав-ных побед над моим обидчиком и недругом базилевсом, а также над твоим обидчиком и отныне недругом Кием».

На том послание кончалось.

Власт пришел в ярость. И все же понимал: не хватит у славин-нов конницы догнать и побить антские дружины. Но тут же подумал, что можно бы сговориться с кочую-щими у Понтийских берегов гуннскими племенами.

Что ж, получается, не зря душа его в последнее время никак не желала принять этого хваленного Кия! Будто чуяла неладное. Поздновато учуяла! Раньше бы... Сам ведь отдал ему Белославу, сделал зятем своим. Те-перь самому и расхлебывать. Ну погоди, зятек лука-вый!..

Князь повелел не отпускать пока ромейского послан-ника, но и не обижать, кормить его и поить, а там видно будет. Тут же, не мешкая, созвал бояр и тысяцких, чтобы решить, кого и с чем отправить слами¹ к гуннам за подмо-гой. И к прочим славинским князьям. Да заодно, не теряя часу, готовить в поход свою конную дружину...

Славины и гунны догнали замыкающих антов, когда головная дружина Кия приближалась уже к Днепровским порогам. Догнав, для начала потребовали воротить отби-тый ромейский подарок — сто персидских коней да два воза с золотом, камнями и прочим добром. Щек, кото-рый вел замыкающую дружину, ответил, что ничего подобного не ведает, и пускай славины спросят у самих гуннов: не они ли отбили тот подарок? Услышав такой

¹ С л ы — послы.

ответ, гунны осерчали и первыми начали сечу. За ними ввязались и славины.

Поначалу потеснили было антов, отбили у них сколько-то возов с добычей и полоном, тут же начали делить, но при дележе меж собой не ладили. А тем временем подоспели, воротясь, конные дружины полян и росичей с самим Кием во главе. Тогда славины и гунны кое-как помирились и снова налетели — толпой несметной, как привыкли.

Кий же выстроил своих антов по-новому, как перед тем на Истре против ромеев выстраивал: по краям от головной дружины два крыла, а за ними еще и запасная сила. Не ведал князь полянский и не мог ведать, что пройдут века, а новый строй его утвердится и не раз принесет победу далеким потомкам антов — на льду Чудского озера, на травах Куликова поля и во многих славных сечах...

Об этот новый антский строй и расшиблись налетевшие тьмы славин и гуннов, как расшибаются порой взбешенные валы соленых вод Понтийских о невозмутимые береговые камни.

13. ИМПЕРАТОР НЕ СПИТ

Отщелкали, отсвистели свои вечерние песни соловьи и прочие мелкие пичуги. Только хоры невидимых цикад все еще не умолкали, да порой снова и снова подавали голос полуночники-соловьи. Ночь была привычно теплой, но едва ощутимая прохлада, прилетевшая от вод Боспора Фракийского, проникла сквозь затрепетавшую листву зарослей в сад. Император плотнее запахнул в тонкий шерстяной плащ, накинутый поверх легкой туники, и продолжал шагать по плитам садовых дорожек, чуть задевая плечами ветки кустов — пора их подстригать, садовники избаловались — придется наказывать...

Его не смущали ни черные силуэты деревьев, ни неясные шорохи в их неподвижных кронах, сквозь которые кое-где проглядывали яркие бриллианты звезд — голубоватых, желтоватых, солнечно-белых. Единственное, чего император в последние годы опасался, — это внезапного покушения многочисленных недругов. У какого достойного мужа нет их, недругов? Но сейчас он знал, что всюду, за кустами и деревьями, за каждым углом и каждой колонной, не видимые во мраке, несут

свою верную службу его надежные гвардейцы-спитарии, привыкшие к ночным прогулкам «неусыпного» императора, который денно и нощно трудился на благо своей державы и своего народа. Спитарии ничем не выдадут своего присутствия, никак не помешают его раздумьям и никому не позволяют помешать, никому не позволяют приблизиться к его священной особе.

На спитариев можно положиться, это не схолярии — расфуфыренные баловни именитых родителей, достаточно богатых, чтобы купить своим сынкам придворную должность. Схолярии пригодны лишь к одному: стоять вокруг трона на торжественных приемах, дабы ошеломить своим блеском наивных и впечатлительных варварских гостей. Если каждый спитарий побывал в боях, сумел многих сразить и самому остаться невредимым, то схолярии пуще суда божьего боялись отправки в походы и на рубежи, благодаря чему только и удавалось держать этих разряженных оболтусов в рамках воинской дисциплины и получать доход от их родителей.

Император никогда не забывал, что воспитавший и усыновивший его покойный дядя, прежде чем занять престол, был полуграмотным крестьянином, а императрица — самый любимый им человек в этом мире — дочь смотрителя цирковых медведей. Он, как и она, терпеть не мог чванливых и никчемных патрициев, славных лишь заслугами предков. Он никогда не полагался на происхождение того либо иного вельможи, если речь шла о серьезных государственных делах. Как, впрочем, ни на кого вообще, кроме самого себя, предпочитал по возможности не полагаться. Но понимал, что и ссориться с аристократией никакому монарху нельзя. Оттого и терпел многих бесполезных при дворе, и держал при себе пять тысяч их трусливых сынков-схоляриев.

И все же... И все же он не мог допустить, чтобы земли и богатства аристократов росли быстрее, чем его собственные. Приходилось подрезать крылышки иным сенаторам. Десять лет назад был издан закон против коррупции¹, но этого оказалось недостаточно... Ведь до чего дошло! Иные зарвавшиеся магнаты попались на попытке присвоить угоidia и табуны самого Императора! Нет, он не позволит этим высокомерным ничтожествам, отупев-

¹ К о р р у п ц и я — продажность государственных и общественных должностных лиц.

шим от пьянства и обжорства, обленившимся и зазнавшимся от незаслуженной роскоши (ибо государству от них никакого проку)... он не позволит им противопоставлять свое богатство силе императорской власти!..

Но как не хочется думать о государственных делах в такую изумительную ночь! Тончайшие и неповторимые ароматы едва угадывавшихся во мраке разнообразнейших сортов роз отвлекали от забот, доставляли изысканное наслаждение...

Нет, он обязан думать! Если не он, то кто же? На кого ему опереться? Аристократы — опора ненадежная, коварная. Нужна иная опора — более зависимая от императорской воли. Нельзя бороться с врагами и править государством, если не найдешь в нем тех сил, которые поддержат каждое твое решение.

Многочисленные средние землевладельцы, городские торговцы и ремесленники — вот кого надо поддерживать и на чью поддержку можно рассчитывать. Именно для них велел Император построить столько гостиниц и лечебниц. Ради них отменил он прибавку к анноне — повинности поставлять федератам топливо и оливковое масло...

Что-то хрустнуло под башмаком. Несчастливая улитка — слишком медленно пересекала садовую дорожку, слишком хрупким оказался ее панцирь.

Но Второй Рим не раздавить, как улитку. Панцири гвардейцев — покрепче! Вот она, еще одна надежная, реальная опора! В распоряжении Императора имелась армия, выросшая при нем от трехсот тысяч воинов до шестисот сорока пяти тысяч, включая десять тысяч расквартированных в столице отборных гвардейцев. Эта сила недешево обходилась империи, но в то же время обеспечивала охрану накопленных и завоевание новых богатств. Он знал силу и возможности своей армии...

Едва не задев, прожужжал мимо лица большой ночной жук. Император вздрогнул. Вот так же, должно быть, жужжит стрела, и если хоть чуточку поближе, то... Он никогда не слышал звука опасно близкой стрелы. Не участвуя лично ни в одном сражении, Император умел подобрать и возвысить таких полководцев и военачальников, которые не нуждались в его присутствии, но и не смели шага ступить без его позволения, которые умели побеждать в равной мере как трусость и неповиновение собственных солдат, так и любое сопротивление

внешнего врага. Пусть он, Император, сам не нанес ни одного удара мечом. Но разве без его послушной одному лишь вдохновению свыше мысли и энергии осуществлялась бы благородная миссия освобождения соседних народов от варварского ярма? В результате успешного осуществления этой исторической миссии территория империи расширилась вдвое.

А разве не сумел он, лично не метнув ни одного копья, заставить служить в своих войсках множество воинственных варварских племен, побеждая их не только на поле боя, но и за столом переговоров? Разве не он превратил многих вчерашних недругов империи в нынешних ее союзников?

Не только карающим мечом, но и ублажающим золотом, а более всего — мудрым вдохновенным словом достигается порой послушание подданных и покорность соседей.

Тут Император подумал о еще одной своей опоре, быть может, более значительной, нежели все его гвардейцы и федераты, вместе взятые. Он подумал о церкви, о своей православной христианской церкви. О ста тысячах монахов, находившихся в бесчисленных обителях империи и за ее пределами, где сочетали миссионерство с разведкой. Эти монахи в своем деле порой достигали большего, чем прославленные имперские армии, а монастыри значили, право, не меньше, чем пограничные крепости. Понимая это, император не жалел казны на нужды церкви, как не жалел ее на нужды армии. Разве, кроме сотен крепостей на правом берегу Истра, не построил он в одной только столице двадцать пять храмов? В том числе и — уместную лишь во Втором Риме цитадель православного христианства — величественный и неповторимый храм Премудрости Божией. На один лишь его алтарь ушло сорок тысяч фунтов серебра — годовой доход имперской казны во всей Египетской провинции...

А разве не борется Император против язычества и ереси с не меньшим рвением, нежели против внешних врагов? Не при нем ли были обращены — золотом и мечом — в христианскую веру таврические готы и еще десятки тысяч прочих варваров? Только в четырех малоазиатских провинциях до восьмидесяти тысяч вчерашних язычников ныне чтут учение Христа. Не так уж мало... Не он ли, Император, ведет неустанную борьбу

с еретиками-монофизитами¹, невзирая даже на расположение к ним самой Императрицы? А кто держит в жесткой узде строптивых палестинских самаритян и всяческих прочих иудеев? В едином государстве должно господствовать единое вероучение — от этой своей доктрины Император никогда не отступится.

Единое вероучение в сфере духовной и единое законодательство в сфере светской. Потому что чем сложнее общество, тем важнее роль государства, тем совершеннее должны быть его законы, тем неукоснительнее должны они соблюдаться. В этом Император был глубоко убежден. Причем не ограничился одной лишь собственной убежденностью. Грош цена самому прекрасному убеждению, если оно не претворяется в действие! Он совершил, казалось бы, невозможное. Благодарение всевышнему, поддерживавшему своего смертного слугу в небывалом дерзании! В течение всего лишь одного года созданная Императором правительственная комиссия устранила все недоработки и противоречия в прежних законах, придала им ясность изложения и свела воедино, присвоив новому кодексу имя Императора. А год спустя создается новая комиссия и в течение каких-нибудь трех лет собирает, изучает и сводит воедино все древнее законодательство за минувшее полуторатысячелетие, вводя таким образом мутные воды древнейших источников в прозрачное озеро современных знаний. Из двух тысяч древнейших книг были выписаны три миллиона строк, переведены на латынь и доведены до ста пятидесяти строк нового свода законов. Разумеется, не всякому по плечу такое обилие мудрости, а государству требуются все новые и новые юристы. Поэтому на основе пятидесятикнижия — результата титанической работы комиссий — создается краткий учебник права для более широкого пользования. А новые указы и постановления также надо будет свести воедино...

Да, в едином государстве — в его империи, Втором Риме — должна быть единая духовная и светская власть, должны быть единая вера и единый закон!

Размышляя о свершенном и содеянном, Император невольно содрогался от ощущения всей меры возложенной на него богом исторической миссии. Возможно ли уснуть при таком ощущении? Кто из предшественников

¹ Монофизиты — христианская секта.

императора был удостоен свершить подобное и в такой мере?

Когда льстецы-придворные или экзальтированные глупцы и наемные крикуны в толпе вопили свои приветствия и превозносили его заслуги, — это было, разумеется, приятно. Чего уж там скрывать от самого себя! Даже коню приятнее, когда его оглаживают по шерсти, а не против. Тем более — Императору, которого уместнее сравнить не с конем, а со всадником... Он не был склонен преуменьшать собственные способности и заслуги, сам знал себе цену, но не был настолько наивен, чтобы неразборчиво верить в абсолютную искренность всех слышимых славословий.

Бесспорно, многие цифровые свидетельства его силы, его достижений и заслуг выглядели более чем внушительно. Однако существовали и другие свидетельства. К тому же император понимал, что не все измеряется цифрами.

Референдарии докладывали, а те, кого Император желал и успевал принять лично, рассказывали, что творится в провинциях, как обнаглели чиновники и как растут недоимки. Сборщики податей в Египте вообще умудрились все заграбастать себе и ничего не сдать государству. Одни разоренные земледельцы становились зависимыми от господ колоннами, почти теми же рабами. Другие — массами бежали в города. Села приходили в запустение, а в городах безудержно росли преступность и эпидемии. И если от преступников в первую очередь страдали беззащитные бедняки, то от эпидемий не был защищен никто. Даже сам Император испытал на себе, что такое чума... Роскошь одних и нищета всех прочих росли из года в год, неразлучные меж собой, как рождение и смерть. Куда и к чему придет Второй Рим, если так будет продолжаться?

Император знал, что — вопреки всем его неустанным стараниям и всевозможным принятым мерам — в государстве с каждым годом все ощутимее дают себя знать безудержно растущие алчность и продажность должностных лиц на всех уровнях, столь пагубные для любого государства. И пускай бы уж златолюбие одолевало только таких, как Первый Полководец — земляк и товарищ юных лет Императора. Или таких, как комит священных щедрот — разжиревший чревоугодник и развратник. Эти баловни хоть знали свое дело, от них был прок. Большин-

ство же проявляло тем бóльшую алчность, чем меньше проявлялись их способности. Вместе с тем Император опасался и другой альтернативы, вполне реальной в условиях Второго Рима: либо толковые корыстолюбцы, либо бескорыстная бестолочь. Где же выход из порочного круга?

Опереться на народ, на какую-либо политическую партию? Но что такое народ? Кто это? Лучшие представители страны, вырождающиеся патриции или скотоподобный плебс?

Политические партии... Каждая из них, будь то прасины или венеты, при всем своем провозглашаемом единстве весьма неоднородна: как и всюду, в каждой из партий имеется своя группа козлов-предводителей и бездумная масса овец-ведомых. Эти партии вечно грызутся между собой, и — что уж греха таить! — Император всячески способствовал этой грызне. Золотом, интригами, как угодно. Иначе, объединившись меж собой, вчерашние политические конкуренты завтра вцепятся в глотку священной императорской особы. Как это едва не произошло во время того восстания на Ипподроме...

Император поежился и еще плотнее запахнулся в плащ. Остановился, чтобы совладать со сбившимся дыханием.

О, никогда не забыть ему того восстания! Тогда он, собрав все свое самообладание и невероятным усилием воли подавив свою гордость, вышел на трибуну с Библией в руке. Обратившись через горластого глашатая к безумствующей толпе, он принял на одного себя всю ответственность за все причины ее недовольства и торжественно обещал наказать всех виновных, простить всех взбунтовавшихся, впредь прислушиваться к голосу народа... А ведь мог бы найти козла отпущения и бросить его толпе, как бросают кость сорвавшемуся с цепи псу! Императору никогда не забыть эти тысячи разъяренных глаз под низкими лбами, не забыть этих оскаленных ртов на заросших физиономиях, остервенело орущих грубые оскорбления. Вот оно, лицо так называемого народа! Дикие звери!.. Они рвались во дворец, обуреваемые примитивной жадной крови и разрушений. Еще бы: разрушать — не строить! Их подстрекали и распаляли политические вожаки — безответственные авантюристы и бесстыжие демагоги. Они вопили о поправленной справедливости, в которой ничего не смыслили. Звери, звери!..

Положение было невообразимо критическим, даже спитории готовы были вот-вот дрогнуть. Императору предложили спастись бегством, и он чуть было не согласился на это позорное предложение. И тогда-то вмешалась Императрица. Она — дочь надзирателя цирковых медведей и сама в прошлом циркачка — проявила в тот роковой час больше благородного мужества и достоинства, чем все окружавшие их представители лучших родов империи. Она заявила, что считает императорскую мантию лучшим саваном и не намерена покидать дворца, предпочитая достойную смерть недостойному спасению. Никогда еще не казалась она ему такой прекрасной, как в те решающие мгновения. Никогда еще он не обожал ее столь безудержно и страстно, никогда не гордился ею столь беспредельно. Кто знает, чем бы все кончилось тогда, если бы не самообладание Императрицы, если бы не удалось затем с помощью золота подкупить и расколоть вожakov восстания и если бы не Первый Полководец со своими гвардейцами и федератами...

Вот она, истинная — не на словах! — «признательность народа», того самого народа, ради блага которого Император не позволяет себе даже ночью отдохнуть от непрестанных забот и трудов!

Так что же? Неужели тысячелетиями существовавшая и развивавшаяся система — рабовладельческое государство — изживает себя? И назрела необходимость иной, новой системы? Но — какой? Без труда рабов не возникло бы ни одно чудо света — от египетских пирамид до воздвигнутого в Константинополе храма Премудрости Божией. Не росли бы города, не процветали искусства. Империя и ее столица не опоясались бы небывалыми по масштабам оборонительными сооружениями. Кто бы изготовлял в государственных мастерских необходимое количество оружия и одежды для армий и двора, кто бы ворочал длинными веслами на гребных судах — катаргах? И все же система явно переживала самое себя. Как же поступать ему, главе крупнейшего рабовладельческого государства современности?

Он пытался что-то сделать. Ввел постоянные рыночные цены на рабов — в зависимости от их обученности. Ввел пошлину за ввоз раба в пределы империи — одну десятую себестоимости. Что дали все эти продуманные меры? Ничего! Кроме роста контрабандной работорговли...

Он издал постановление о предоставлении свободы рабу, вступившему в ряды армии — разумеется, с согласия своего господина. Решило это хоть одну сотую всей проблемы? Нисколько! Укрепило это армию? Если бы!..

Что же получается? От Императора ничего уже не зависит? Так не бросить ли поводья, доверившись коню божьей воли? Но нет! Император не привык бросать поводья. Он привык ощущать пальцами степень их натяжения и через их посредство передавать коню свою волю. Пока в глазах его есть способность видеть, а разум не устал осмысливать увиденное, пока в руке его есть сила править — он будет править! Будет упорно нести возложенный на него богом тяжкий крест великой миссии — радеть о величии и процветании, о силе и безопасности Второго Рима, оплота православного христианства.

Второй Рим — в отличие от Рима Первого — будет стоять и развиваться вечно! Невзирая ни на что! Император убеждал в этом всех своих подданных, но прежде всего — самого себя.

Проходя мимо увитой плющом мраморной ротонды, он заметил замершего у колонны спитария. Ласково кивнул ему и проследовал дальше.

Пока его окружают верные спитарии, личная безопасность обеспечена. Но безопасность всей империи год от года тревожила его все больше. На всю империю, на все ее границы спитариев не хватит.

С персами — самым грозным восточным соседом — то и дело, после заключения очередного «вечного мира», приходится снова и снова воевать. Непокойно в Палестине, в Северной Африке и других провинциях. Вдоль северных берегов Понта Евксинского кочуют, то и дело нападая на прибрежные имперские города-порты и колонии, два сильнейших племени, оставшихся со времени гуннского нашествия, — утургуры и кутургуры. С помощью казенного золота и таврических готов-христиан Императору, похоже, удастся сравнить меж собой и тех и других, как боевых петухов на рыночной площади. Но где гарантия, что — в отличие от глупых птиц — все эти не столь уж глупые, хотя и дикие, кочевники не найдут в один прекрасный день общего языка (впрочем, язык у них и так общий!), не объединятся и не ударят сообща по северо-восточным границам империи? Где, кстати, судя по последним донесениям купцов и

монахов-миссионеров, собирается новая грозовая туча: неисчислимая абарская¹ орда, способная превзойти силой и сарматов, и гуннов, и всех прочих своих предшественников.

На западе даже Первому Полководцу никак не удастся одолеть вытесненных на Апеннины и закрепившихся там остготов; от древнего Первого Рима, бесконечно переходящего из рук в руки, осталась груда безлюдных развалин. А еще западнее — в далекой Галлии — могучее государство франков, которое он предпочитал не задевать. Лишь бы оно не вмешивалось в его дела. В данном случае недостаточно надежный союзник предпочтительнее слишком опасного противника.

И наконец, не давали покоя год от года учащающиеся и нарастающие вторжения через Истр необратимо набирающих силу склавинов² и их восточных сородичей антов. Сколько раз, иногда даже в союзе с гуннами, переходили они Истр и разоряли балканские провинции! Временами казалось, что его полководцы раз и навсегда отбили у этих варваров охоту посягать на границы империи. Счастливым был период, когда Господь послал ему небывалого слугу — антского вождя, принявшего христианство и перешедшего вместе со своим войском на сторону империи. Лучше кого бы то ни было зная нрав и повадки своих соплеменников, он сумел решительно отбросить их за Истр, после чего Император присвоил себе к разным прочим титулам еще и титул «Антский». Однако в одном из сражений тот незаменимый союзник был ранен, пленен и погиб. Где бы найти теперь такого же?..

До слуха Императора все чаще доходило имя некоего Кия — одного из антских князей, угнездившегося в Самбатасе³ на Борисфене⁴ и оттуда во главе своих дружин не раз нападавшего на империю — в союзе с другими антами и склавиными. Пока о нем было известно лишь то, что племя его в культурном и военном отношении доминирует над соседями, что войско его отличается

¹ А б а р ы — авары, или обры, тюркоязычная группа кочевых племен.

² С к л а в и н ы — в византийских источниках — славины, западные славяне.

³ С а м б а т а с — одно из названий Киева в византийских источниках.

⁴ Б о р и с ф е н — Днепр.



редкой дисциплиной и неплохо вооружено, а сам князь — не только опытный полководец, но и дальновидный политик. Правда, он нередко воюет с соседями-сородичами, видно стремясь подчинить их себе. И вот — благодарение господу! — повздорил со склавинами. Это было тогда неплохо придумано с письмом склавинскому князю от безымянного обиженного римлянина о якобы отбитых антами подарках. Главное в таких делах — учитывать характер и психологию варварских князей. Быть может, именно из-за неурядицы между антами и склавинами на Истре наступило относительное затишье. Надолго ли? Давно ли там покоя не было от ежегодных набегов...

Император устал шагать и присел на мраморную скамью. Стало еще прохладнее, даже сквозь плащ ощущался холод мрамора. Тогда он снова встал, зевнул сдержанно и подумал, что пора прекратить явно затянувшуюся прогулку и вернуться в покои. Не торопясь особо, он направился к дворцу. И вдруг остановился. А что, если?..

А что, если сделать еще одного антского вождя своим союзником? У Императора уже есть опыт подобных предприятий. Сам уроженец Македонии, он неплохо владеет склавинским языком, который столь сходен с антским. Он сам поведет переговоры и, с божьей помощью, сумеет приручить этого Кия. Подробности выяснятся и определятся при более близком знакомстве.

Так или иначе, пусть анты сами защищают империю от склавинов, как защищают ее гунны-утургуры от гуннов-кутургуров. А заодно те же анты пригодятся и против абар, которые могут ведь дойти и до Борисфена...

Надо будет незамедлительно отправить к Кию послов-торговцев — пусть отвезут князю подарки и приглашение посетить Константинополь. Они же и добудут там, в Самбатасе, недостающие более подробные сведения об этом антском племени и его вожде. *Alea jacta est!*¹ Принято конкретное решение — завтра же Император начнет претворять его в жизнь. *Ergo*², ночная прогулка оказалась бесплодной. Как благодарен он Всевышнему за эту бессонную ночь и эту осенившую его идею!

Подумав о Всевышнем, Император — прежде чем снова двинуться к своим покоям — поднял голову. Там,

¹ Жребий брошен (лат.).

² Следовательно (лат.).

над ним, невесомо нависал ажурный свод: вдвоенные ряды мелких листочков акации прихотливо пересекались под разными углами, образуя полупрозрачные темные узоры на светлеющем фоне предутреннего неба.

14. БЕЛЫЙ ВОЛХВ

Хорив любил порой охотиться один, без товарищей и даже без собак. Когда ты один — в лесу ли, в поле ли — никто не мешает тебе любоваться облаками в небе, цветами в травах и метеликами¹ на цветах, слушать нежный посвист иволги и непонятный шепот листьев высоко в деревьях, усердное постукивание дятла по сухой вершине сосны и жалобный писк невидимых птенцов в дупле. Никто не отвлекает тебя от дум, от молчаливой и столь необходимой человеку беседы с самим собой.

Разве что, как сейчас вот, прервется бег твоей мысли двумя увиденными косулями, которые сами прервали свой бег и остановились на дне яра у лесного ручья — напиться. Одна пьет — другая осторожно озирается.

Заприметив косуль, Хорив тотчас становится другим — теперь он не любит цветы, не слушает птиц, не размышляет о том да о сем. Теперь он — как в бою: не останавливая коня, только чуть придержав, срывает с плеча через голову рогатый антский лук, вмиг выдергивает из колчана и накладывает стрелу, натягивает до упора тетиву и тут же, не медля, отпускает. Лети, стрела, куда глаз да рука послали! А косули уже почуяли беду, обе перестали пить, подняли темноносые глазастые мордочки, тревожно наставив уши. Одна метнулась в кусты, другая не успела. Лишь подпрыгнула на месте и тут же свалилась, обломив вонзившуюся в шею стрелу, забила быстро-быстро тонкими ногами... И утихла, уже не видя остановленными открытыми глазами, как подошел спешившийся охотник и вытащил блеснувший нож — добить...

Взвалив косулю на холку крепкого конька, Хорив неторопливо двинулся далее по тропе — в глубь бора. Дубы и липы, клены и ясени здесь более не встречались, не видно было даже берез. Вокруг рыжели стволы одних только сосен, окруженные молодым подростком, высоко в ветвях скакали рыжие векши, роняя недоу-

¹ М е т е л и к — мотылек, бабочка.

щенные шишки, да носились с места на место, попискивая тоненько, стайки синиц.

Хорив пересек еще два яра — привычный конь осторожно спускался по их заросшим склонам, переходил вброд мелкие речки и в несколько сильных рывков выносил всадника с добычей снова наверх. Тропа поднималась все круче, круче и внезапно уперлась в густой кустарник, за которым виднелся горб, весь в проступивших камнях.

Он никогда еще не бывал здесь. И не тотчас заметил, что тропа, до предела сузившись, продолжается в кустах. Приметив, спешился, поправил сползающую косяку и пошел в кусты по едва видимой тропе, ведя за собой коня в поводу. На всякий случай изготовил меч.

Пройдя кустарником, очутился у самого горба и прямо перед собой узрел пещеру. И огонек в ее глубине. Над входом — белый череп тура с невиданно размашистыми рогами. У входа — два гладких камня, черный и желтый. Тут что-то заслонило огонек и, светлея, появилось вблизи, выбираясь из пещеры.

Теперь перед Хоривом стоял выпрямившись высокий худой старик, весь в белом до пят, белые поредевшие кудри — до прямых костлявых плеч, белая борода — едва не до колен. Скорбные брови — как заснеженная двускатная кровля, а из-под них — светлые до белизны глаза с черными точками зрачков, спокойно-приветливые, все видящие в тебе и все в тебе разумеющие.

— Белый Волхв?! — воскликнул, не удержавшись, Хорив, изумленный внезапной встречей с самим прославленным на Горах вещуном.

Тот лишь опустил на миг веки, как бы подтверждая молча: да, он самый.

— Здоров будь, Белый Волхв! — и Хорив поклонился.

— Здоров будь и ты, Хорив, — ответил тот не кланяясь.

Охотник снял с коня косяку и положил к ногам старика. Но тот лишь повел белокудрой головой из стороны в сторону:

— Благодарствую, оставь себе. Мы, волхвы, свое едим. А ты привяжи коня да прикрой свою добычу хворостом, вон куча лежит, бери оттуда. И входи ко мне.

Привязав коня к ближайшему дереву и забросав косяку хворостом, Хорив, нагнувшись, проследовал

за волхвом в пещеру, которая внутри оказалась обширнее, нежели можно было предположить по размерам входа.

Воткнутые в глазницы конского черепа горели две восковые свечи, скупо освещая все вокруг и чуть чадая, однако дым тут же вытягивало куда-то к невидимому отверстию в своде. Виднелись несколько широких колод, будто вросшие ошкуренные пни; на стенах висели связки сушеных трав, у стен стояли разновеликие горшки, без узоров, с деревянными крышками; в глубине угадывалось ложе — долгое возвышение, устланное сеном и прикрытое белым плащом, на котором лежали гусли. В самой глубине то вспыхивали, то гасли два круглых глаза — неведомо чьи. А где предел той пещере — невозможно было угадать.

И еще — светлел в полумраке чей-то великий череп, с полбыка, каждая глазница — с голову человеческую, а прямо из челюстей — два круто загнутых рога непомерной длины.

— Что за великан был? — любопытствовал гость.

— То зверь, не человек, — охотно пояснил хозяин. — Жили здесь когда-то мохнатые звери-великаны, с рукой вместо носа и с рогами вместо зубов. Давным-давно они жили. И племена здешние на них охотились... А ты садись, вон любую колоду выбирай. И отведай наших яств, не побрезгуй.

Он угостил Хорива лесной ягодой и свежим сладким медом, без хмеля.

— Что, Хорив, ждешь, когда погадаю тебе? — спросил затем старик. — Дивишься, откуда ведаю, чего ждешь? Вижу ведь... Мы, волхвы, много ведаем. Ведаем, что было и что есть, а потому и разумеем, чего ждать должно... Отпей-ка вот сего зелья. Пей, не страшись!.. Теперь сиди, молчи и гляди на огонь. О чем захочешь помыслить, о том и мысли себе без опаски. Только молчи и внимай. И не отводи очей от огня.

Тут он протянул руку к ложу — за гуслями, приладил их, тронул струны...

Хорив глядел на огонь, как было велено. Струны под сводами пели гулко, будто гуслей было множество. И вот уже казалось, что огня стало больше и что огонь пляшет под музыку. Нет, сие не огонь уже — пляшет множество кметов в пламенных доспехах, сплелись сильными руками и все пляшут вокруг великого костра... А над ними

мчатся огненные кони с огненными хвостами и гривами, несметное множество коней, и улетают в неведомую даль, где все горит — и степь, и лес, и само небо...

— Огонь, много огня,— слышался непонятно чей гулкий голос, то ли волхв заговорил, то ли еще кто-то из глубины пещеры.— Много, много огня! Не раз придется испытать тебе много огня, не раз! Обгорит твоя душа в том огне, но сам ты не сгоришь в нем. Не сгоришь... И долго будешь ходить по белу свету с обгоревшей душой. Долго, долго! Так долго, как будет угодно богам. А после... А после много крови будет вокруг тебя, не твоей крови — чужой... А твоя кровь... А твоя кровь, она не такая, как у братьев твоих. Не такая... И потому доля твоя, и доля детей твоих, и доля внуков и правнуков твоих — она никогда не будет простой и легкой. Никогда не будет... Никогда!..

Внезапно умолк голос, оборвалась музыка. Уменьшилось пламя. Только свечи догорали, чадая уходящим в невидимую отдушину дымком. И другой голос, спокойный и тихий, знакомый голос Белого Волхва, совсем рядом сказал просто:

— Вот и все, Хорив. Ты слышал. Ведаю, не все ты уразумел. А не торопись. Всякому разумению — свой час. Пока только ведай да помни, что слышал, а придет час — уразумеешь то, что сбережешь в памяти. Чего сам не сумеешь или не успеешь уразуметь, то уразумеют твои дети и внуки. Чего они не осият — уразумеют правнуки... Теперь испей сего.

Хорив испил — воротилась ясность разума.

Раздалось беспокойное жужжание — это в пещеру влетела с воли заблудившаяся пчелка. И все никак не могла найти обратный выход, хотя он был прямо перед ней. Экая бестолковая!

— Иди, иди, милая,— ласково обратился к ней волхв.— Иди к своим, торопись, заждались тебя там.

Но пчелка все с тем же беспокойным жужжанием все толкалась и толкалась в стену, совсем рядом с выходом. Тогда волхв невидимо скорым взмахом поймал ее в недожатый кулак и выпустил.

— Лети, милая!

Хорив изумленно покачал головой, спросил:

— Не ужалила?

— Для чего ей жалить меня? Она ведь ежели кого ужалит, тотчас погибнет. Оса, та не погибнет. Пчела —

другое дело: вонзит свое жало, а вытащить не может. И оставляет вместе с потрохами своими. Тут ей и погибель. Только один раз единственный ужалить может, на том и жизнь ее кончается. Потому жалить без нужды ей ни к чему. Жалит только с перепугу или когда деваться некуда.

Старик положил гусли обратно на ложе и, снова угадав невысказанные мысли гостя, сказал:

— Нет, Хорив, на гусях не одни волхвы играют. Только другие гусяры гадать не умеют, как мы умеем. А так... Среди полян гусяров немало. И среди прочих антов. Вот у ваших соседей заболотных князь ихний Ус очень даже любви на гусях играть.

— А я слышал, будто сей Ус, яко дикий зверь, только рычит да ест нечистое. И все они там такие. Верно ли сие?

— Не все тут верно, Хорив. Не все верно и не все неверно. У разных людей разные души. И у каждой души не все черное и не все белое. Только чего-то одного больше, черного либо белого. Потому у одних людей душа светлее, а у других — темнее. И в каждом роду, в каждом племени разные люди есть — со светлой душой и с темной. Как в стаде — не вся скотина одинаковая, так и у людей.

— Ну ежели так, то верно ли, что у нас, у полян, больше людей со светлой душой, а у соседей заболотных, у древлян и прочих — больше с темными душами?

— То, Хорив, сами поляне решать не могут. Каждой матери ее дитя краше всех прочих видится. Так и каждому роду, каждому племени свои родичи и свои соплеменники лучше всех прочих кажутся. Поживешь, побываешь в других землях, поглядишь на всяких людей, тогда сам для себя решишь, кто каков есть. Только не торопись решать, ошибиться в таком деле — недолго...

Беседа их продолжалась. И доставляла Хориву какую-то не испытанную прежде тревожную радость.

— Ну, вижу, еще спросить желаешь. Спрашивай.

Хорив начал уже привыкать к необычной проницательности Белого Волхва, перестал изумляться. И спросил то, что желал спросить: не страшится ли старик вот так, один-одинешенек, жить в далекой пещере, бродить в одиночку по лесу, без оружия? Долго ли обидеть такого?

— А кто меня обидит, Хорив? Сам посуди. Зверь меня не тронет...

— Отчего же не тронет?

— А оттого что я в нем добычи не вижу, и он во мне не чувствует добытчика. Я к зверю — как к своему брату. И он ко мне — как к брату.

— Ну ладно, — согласился Хорив. — Зверь не тронет. А человек?

— Что мне человек навредить может? Я и человеку не враг. И ежели кто, от невеликого разума, дерзнет обидеть, то никакого прибытку от меня не получит, а себе только беду накличет.

— Если разум невелик, то и обидит, сам своей выгоды не разумея. Мало ли какие люди в лесу встречаются. Не все ведь души светлые. Так ты сам сказывал...

Волхв улыбнулся едва заметно, довольный, что молодой гость так скоро усвоил его поучения и уже пользуется ими в споре с самим учителем. А Хорив продолжал:

— ...Вот и повстречается тебе, светлому, человек с темной душой и невеликим разумом. Из какого бы то ни было роду-племени. Он молодой, ты старый. Он с копьем, а ты... с палкой?

Волхв поглядел, все улыбаясь. Помолчал. Наконец промолвил:

— Ну коли так уж... В случае чего... так у меня на такой редкий случай своя дружина имеется, свои гридни верные. Не хуже, чем у Кия, брата твоего.

Хорив вздернул брови.

— Шутишь, что ли?

— Шучу? Нет, милый, не шучу! Посиди-ка здесь, не выходи, пока не ворочусь я. Что бы ни было, что бы ни увидел и ни услышал — ни с места!

С этими словами старик вышел из пещеры, оставив гостя в полном недоумении.

Вдруг Хорив вздрогнул и насторожился: где-то рядом, неподалеку от входа, только снаружи, раздался протяжно-тоскливый вой, будто саму смерть призывающий. Затем все стихло, и вскоре издали донесся в ответ хор знакомых каждому анту зловещих волчьих голосов. На всякий случай Хорив изготовил меч, но помнил наказ волхва и не двигался с места. Неужто, подумалось ему, хозяин пещеры — оборотень? Он не раз слышал, что волхвы все могут — и серым волком обернуться, и бес-

шумной змеей проползти, и быстrokрылой птицей пролететь.

— Ну как?

Услыхав волхва у себя за спиной, Хорив крутанулся на месте и узрел его. Старик явно прошел другим ходом! Теперь стоял, белея в полумраке, посмеиваясь.

— Ну как? Слышал ли, как я со своей дружинushкой словом перемолвился? Славные гридни, и поют душевно так. А в случае чего — выручат.

— Успеешь ли позвать?

— Можно и не звать. Они всегда ведают, где и что в лесу дeется. Где я, когда и с кем, что со мной — все ведают. Оборонят, ежели что.

— А доводилось?

— Всякое бывало на моем веку, — ответил уклончиво волхв, вздохнул и задумался, припоминая былое. Затем спохватился: — Ладно, Хорив, будет с тебя на сегодня. Иди, милый, а то не успеешь засветло. Пойдем, провожу тебя. Добычу свою не забудь...

Они шагали рядом по тропе, теперь — под уклон. Волхв постукивал длинным посохом нездешнего пятнистого дерева, Хорив вел в поводу груженного косулей коня. И все допытывался:

— А волки тебя самого не обидают?

— Для чего? Волк никогда не тронет меня. Разве только, когда бесы завладеют которым из них. Но такого волки сами от себя прогонят, а один у них в поле не воин...

Вдруг — кр-рак! — сбоку, совсем близко что-то затрещало и — кр-ракх-х! — с шумом повалилось. Конь натянул повод, попятился.

— Стой и замри! — едва слышно приказал волхв. — Не шевельнись!

Замерев и скосив глаз, Хорив узрел меж древесных стволов сперва выгоревшую шкуру — она двигалась, а затем всего медведя, горбатого и головастого. Немалого. Зверь только что свалил, переломив у комля, сушину и теперь деловито шуровал там лапой, что-то добывая, то ли мед, то ли муравьев. Положив ладонь на рукоять ножа, Хорив не шевелился, как было приказано. Конь ослабил повод, подошел вплотную и боязливо жался к хозяину. А Белый Волхв — надо же! — неторопливо и глядя куда-то вбок, приблизился к медведю и вроде пробормотал что-то. В ответ послышалось недолгое урчание.

— Пойдем потихоньку, — шепнул старик, воротясь на тропу. — И не озирайся, не гляди на него. Сейчас он добрый, сытый, даже на косылу твою не позарился. А после зимы, когда пробудится, беспокойный. Ежели повстречается — первым делом замри. И в глаза не гляди, не смущай его. И не суетись, руками не маши, не бегай. Это с любым зверем так. А от медведя не убежишь, он в лесу и коня настигнет. На дерево от него тоже не лезь, он прежде тебя там окажется.

— А убью его?

— Для чего? Без нужды — для чего жизни лишать? Зверь, как и ты, тоже жить хочет... Ну дальше один, без меня пойдешь. Тропу ко мне запомнил? Приходи, когда сам пожелаешь.

15. НА ПЕРЕВОЗЕ

Здесь, на низком берегу, подойти к воде было просто. И — войти в нее, прогретую высоким Дажбогом. И — брести, раздвигая податливую воду коленями, вдавливая утомленные ступни в нежесткий песок.

Перевозчик Кий, тезка князя полянского, закатав как возможно выше намокшие шаровары, брел по ровному в этом месте днепровскому дну, толкая перед собой плот, груженный товаром — подарками князю от самого царя ромейского. К плоту был тесно приторочен просмоленный челн, выдолбленный из цельного древесного ствола. Перевозчик шел по дну, пока вода не подступила к самому очкуру, — тогда он вскочил в челн, стараясь не забрызгать сидевших в нем на пожитках утомленных ромейских гостей. Как-никак из самого Царягорода прибыли. И не просто на Подол, на погосте торговать, как прочие, а — ко княжескому двору, с подарками!

Кий взялся дюжими руками за кормило и приналег, правя в сторону Межигорья, чтобы упредить течение, которое тем настырнее пыталось снести, чем ближе к высокому правому берегу.

Стоял перевозчик Кий во весь свой немалый рост, закатав шаровары, безбоязненно доверяя могучие плечи и обширную обнаженную грудь ослепительному Дажбогу и веселым чадам Стрибожьим.

Ромейские гости щедро оплатили перевоз серебряной монетой, но Кий и без того отнесся бы к ним с почтением, как принято было у полян относиться к гостям-инозем-

цам, чтобы тем самым собственной чести не ронять, ибо тот пес на вошедшего и проходящего громче лает, который сам в себе не уверен. Было, Кий помнит, даже такое, что один хозяин с Подола принял к себе гостя и не уберег от обиды, так поляне после забрали иноземца на другой двор, а растяпу-хозяина побили, чтобы не ронял чести своего племени. В походе и в сече — дело другое, там чужаку, если недруг, можно и голову с плеч долой. Но если гость пришел в твой дом без дурного умысла... К тому же странники-гости, благополучно добравшиеся до Гор из далеких земель, не устранившиеся многих для себя напастей на долгом пути и счастливо избегнувшие их, наверняка были любимцами богов. Как же не почитать таких гостей? Еще чем хороши те гости, так это тем, что могут поведать немало занятного про далекие земли. И, как знать, быть может, странствуя со своими товарами по белу свету, расскажут они дальним, всевозможным людям про полянского перевозчика Кия...

Тем временем со стороны поросших невысоким ивняком левобережных плавней приближались к перевозу двое — оба в легких белых сорочках из домотканины, через такие сорочки суровый Дажбог не обжигает плечи. Сорочки были расписаны по вороту узорами из цветной нити и перехвачены сыромятными ремнями с бронзовыми бляхами. И ремни и бронза потемнели от времени. У каждого на ремне висел нож, через плечо — по великому луку и колчану со стрелами, да еще свисали изрядные связки битой птицы. Висели вниз головами подвешенные за ноги нарядные селезни, кряквы и свиязи, шилохвости и широконоски, маленькие чирки-свистунки, а еще у каждого — по тяжелому серому гусю, и у старшего — белый лебедь с распахнутыми крыльями. Оба охотника были росту немалого, как и большинство полян, — притороченная к поясным ремням птица по земле не билась, не доставала.

На макушке у старшего был оставлен кружок немало побелевших волос, усы были потемнее, а борода в середине темная, но по краям белая сплошь. У второго же усы едва только начали проступать над губой, кудри цвета выгоревшей травы закрывали затылок и уши, а спереди были подрезаны покороче, до светлых бровей, из-под которых с безмятежной приветливостью глядели глаза, лазоревые, как небо над Горами. Старший нес еще на плече прямую

крепкую палку с привязанной к ней торбой, наполненной, надо полагать, всяческим необходимым скарбом и провиантом. Он указал свободной рукой на плывущий через Днепр плот с челном:

— Вот и Киев перевоз.

— Отец, а отец! — отозвался младший. — А верно говорят, что он только богатых перевозит?

— Говорят, что гусей доят, а я того гусяного молока не пил... Задаром Кий не перевезет, то верно. Теперь такие люди стали — задаром и доброго здравия не пожелают. Прежде по-иному было... Ну мы с тобой за перевоз парочку чирочков подарим, не откажется, примет. А обратно пойдем — монетку дадим ромейскую.

— Где возьмешь ее?

— Зело прост ты, Славко! На Подол переправимся, на погосте птицу сбудем, за лебедя ромейской монетой возьмем. А остальное так сменяем, надо наконечников к стрелам набрать поболее.

— А для чего князя нашего тоже Кием звать? И перевозчик — Кий. А, отец?

— Так прозвали, — невозмутимо ответил тот. — Кий — молот, сам своей доле кузнец, если Дажбог поможет. Отчего не назвать? Хорошее имя, не одному князю носить... Тебя вот назвал я Брячиславом, а на Горах, я знаю, еще двоих так зовут. А может, не только тех двоих. Народу теперь на Горах как окуней в старице.

Они подошли к перевозу. Отсюда хорошо видны были Горы по ту сторону Днепра, покрытые кустами и деревьями. Далее вниз по течению вдоль высокого берега тянулся лес, а в глубине, за Горами — тоже. Там охота была славная, на зверя да на дичь боровую.

За кустами да деревьями на Горах не видать было дворов и домов деревянных, глиной обмазанных и мелом побеленных, только дымок здесь и там в небо тянулся — от костров и печей. Видна была и гора, где княжий двор и терем тоже в деревьях прятались. Справа от нее, через яр, другая гора зеленела, где сидел молодой брат князя Щека, а за той горой — отсюда, с перевоза, не видать было — тоже через яр, Лысая гора, с Майданом и богами над капищем, с недавней могилой — после Желановой смуты, там князь посадил другого своего младшего брата — Хорива. А левее княжьей горы высилась еще одна, пустая, где с незапамятных времен поляне погребали своих покойников, сожженных и так

положенных. Внизу, под Горами, дымились срубы Подола, там деревьев было меньше, и виднелся погост с великою толпой торгующихся и меняющихся. Еще левее, где затон у Почайны, там была пристань, и чернело множество челнов-однодеревок да высилось несколько великих лодий, среди них — две иноземные с долгими мачтами для парусов...

Кий перевозил желающих чуть левее от втекающей в Днепр Почайны, поближе к погосту на Подоле, откуда поднимался Боричев увоз, где шел великий торг, а вокруг стучали молотами и молоточками кузнецы да серебряных дел мастера, а в ближайших ярах трудились гончары и кожемяки. Туда, к погосту, и направлялись Брячислав с отцом.

У перевоза Брячислав приметил складную деву, стоявшую к ним спиной, видна была только коса до пояса, цвета осеннего листа. Прикрыв ладонью глаза, она тоже глядела в сторону Гор. Будто почуяв устремленный на нее взор молодого охотника, рывком обернулась — Брячислав увидел смуглое скуластенькое личико, брови — как крылья ласточки, а под ними — насмешливо прищуренные глаза, серо-синие, будто волна днепровская. Оторопел и не знал что молвить. Она же пожала недоуменно плечиком и опять отвернулась, тоже рывком — коса метнулась по спине и обвисла.

— Это Боянка, дочка перевозчика, — пояснил отец. — Добрая дева, кроткая... Сейчас Кий воротится с челном, пока там плот разгружают, прихватит и нас с тобой и ее.

— Отец, а отец! А когда-нибудь может такое случиться, что запутаются люди в прозвищах, не разберутся, что был князь Кий и перевозчик Кий? И посчитают перевозчика князем, а князя — перевозчиком?

— Только недруги князя нашего такое напутать смогут, — ответил сурово отец.

16. НОЧЬ КУПАЛЫ

Липы пахучие отцвели, досыта накормив пчел, и теперь под листочками круглели на тонких стебельках зеленые шарики плодов, каждый — не более горошины. Плоды на каштанах тоже были зеленые, но с конский глаз и колючие, а когда созреют — попадают, расколются, и выкатятся из них блестящие гнедые ядрышки...

Дажбог набрал наибольшую силу и щедро дарил ее

травам. А травы расцветали, каждая по-своему, и отдавали полученную даждбожьёю силу всему прочему живому. Пасущимся коням и скоту. Волхвам, лучше всех ведающим чудодейственные возможности разных трав. Девам, собиравшим красивые цветики.

Собирая цветики, девы пели песни. Поляне любили петь, а девы полянские — тем паче. И озорные хорошие, и протяжные, с томлением душевным.

Ой, во поле жито-о, жи-ито
Конями поби-ито-о!..

Собирала цветики и Миланка. Пела вместе со всеми и звончее всех. Хороши были собранные ею цветики — лазоревые и желтые, нежно-малиновые и темно-багряные. Но разве мог хоть один из тех цветиков сравниться красой своей с серыми в черных обручах очами Хорива, одного из младших братьев княжьих? Ни у кого иного не видала Миланка таких очей. Хотела бы навсегда забрать их себе, как забирала цветы. Но цветы вскорости увянут, усохнут. А — очи?..

Над Горами смеркалось. Началась ночь Купалы. Уже утопили в Днепре чучело злой Мары — с чучелом утопили все недоброе, холодное, противное жизни. После жгли костры на берегу, скакали через огонь. Хорив не страшился огня, наскочил вволю. Теперь, отойдя в сторонку от веселящихся ровесников, присел под склонившейся над водой старой вербой. Отдыхал. Глядел через вербины ветки с узкими серебристыми листьями в почерневшее небо.

Там, в вышине недосыгаемой, живут боги. Оттуда грозный Перун посылает на землю стрелы своего гнева. Там, среди звезд, обитают души предков — несть им числа. Там, наверное, и душа отца его, Рекса, которого так и не довелось видеть... Отец! Видишь ли ты сейчас с вышины сына своего Хорива? Погляди же, каким стал сын твой!..

Там, среди звезд, ждут своего часа и души тех, кому еще суждено народиться. Сколько же их! Как звезд на небе? А сколько тех звезд? Кто сочтет?..

Вон Млечный Путь виден. Тем путем идут на землю души нарождающихся, а им навстречу уходят с земли души умерших.

Но не только люди рождаются и умирают. Звери,



деревья, злаки — все рождается и все умирает. А — боги? Дажбог каждый вечер, похоже, умирает, а утром вновь рождается, перед ночью Купалы набирает наибольшую силу, а к празднику Коляды ослабеет и будет слабым до самой Масленицы. Сегодня утопили злую Мару, а она после обратно вынырнет, через год опять топить ее придется. Выходит, ничему нет ни начала, ни конца? Ни жизни, ни смерти. Ни добру, ни злу. А были бы начало и конец — тогда что же перед началом и что после конца?..

И стоит где-то великое Дерево Жизни. Оно никогда не умирает и не умрет. Его корни уходят глубоко под землю, туда, где обитает и откуда приходит к людям всякая нечистая сила. Ствол его дотягивается до самого неба, и по бесчисленным ветвям души предков и души потомков, пройдя Млечный Путь, приходят на землю либо уходят к звездам. Про то дерево поведал Хориву мудрый Белый Волхв.

В дупле вербы заворочался кто-то, беспокойно зашуршало в листе. И снова утихло, угомонилось.

Хорив задремал, прислонясь спиной к широкому вербиному стволу и вытянув ноги, опустив чернокудрую голову. Ему привиделось, будто верба, под которой он отдыхал, и была тем вечным Деревом Жизни...

Пробудили его голоса ровесников:

— Эгей, Хорив! Ты где?

— Мы на Днепр пошли, купаться. Айда с нами!

Река под звездами — будто серебро плавленное. Зовет к себе — окунуться. Разве утерпишь?

Хорив разделся, разбежался и — головой в воду! Здесь, у правого берега, глубоко — ныряй себе без опаски.

— Бр-р-р! О-оух-х!

Благодать!

Хорив поплыл к середине Днепра, забирая влево, чтобы упредить течение. Со всех сторон слышались шепки сильных рук по воде, мощное фыркание — будто кони. То плыли наперегонки его ровесники.

Хорив одним из первых добрался до отмели, за ним — сюда же — и другие. Здесь, на мелком месте, отдышались — и обратно, к высокому правобережью.

Все слышнее веселые голоса и озорное повизгивание купающихся дев близ берега и чуть в сторонке. Девы далеко не заплывали. Там — Миланка. Не ее ли это го-

лос засмеялся? Самый звонкий голос на Горах у Миланки, слышнее всех, когда поют или смеются девы полянские. Хорив представил себе ее — нагую, только что из воды, серебряную всю, отжимающую потемневшие намокшие волосы. Ни у кого нету таких долгих и пышных волос, как у Миланки. Ни у кого нету таких оченят с поволокой под будто изумленными бровями-дугами, как у Миланки. Подобраться бы к ней сейчас, ухватить за волосы, схватить ее всю, влажно-прохладную, изгибающуюся, унести в темноту, в кусты прибрежные! Неодолимо это желание — и Хорив, отделясь от шумных ровесников, поплыл туда, где слышался ему ее голос.

Вот совсем уже близко смех девичий, вон и тела их светлеют на берегу, отражаясь трепетно в темной воде. Среди них — Миланка... Хорив вдохнул побольше воздуха ночного, нырнул и неслышно заскользил, невидимый, туда — к запретному и влекущему...

— Чуешь, как деревья шумят? — заговорила первой Миланка. Едва слышно, в самое его ухо, чуть касаясь губами.

— Эге ж, чую, — ответил он. — И сердечко твое колотится, тоже чую. Ту-тук, ту-тук... Чудно...

— Не щекочи ресницами... Ой, Хорив! Щекотно же... Любый ты мой...

— Ты моя ладо... А деревья тоже свою любовь ведают?

— Ведают. У всех своя любовь — у людей, у зверей, у деревьев. И у нас с тобой...

— И все разговаривают про свою любовь, как мы с тобой?

— Как мы с тобой... Только для других непонятно. Ты думаешь, деревья шумят себе так просто? А они не так просто шумят — они разговаривают. Сегодня, в ночь Купалы, они переходят с места на место, сходятся и разговаривают.

— Что же они говорят?

— Разное, любый, всякое... Старые дубы вспоминают свои походы давние, они когда-то тоже ходили походами. А молодые деревца про любовь говорят. Как мы с тобой...

— Как мы с тобой... Миланко, ладо моя!.. Рыбонька моя серебристая... Сердечко мое...

— Ты мой сокол сероокий... Любый... Ой, Хорив! Что же это такое со мной?..

Больше они не в силах были говорить, только умирали вместе и вновь возрождались. Умирали и возрождались. И спустя время — неведомо, долгое ли — снова первой заговорила Миланка:

— Ой, дурная я! До чего же я дурная, Хорив, знал бы ты...

— Что ты! Какая же ты дурная? Ты — лучше всех...

— Не, любый, дурная я, дурная. Отчего не пошла в лес, не сорвала папоротник? Как стемнело, надо было в лес пойти, сорвать папоротник...

— Для чего же тебе папоротник, голубонька моя?

— А ты не знаешь разве? Был бы у меня сейчас папоротник, мы бы с тобой услышали, о чем деревья меж собой разговаривают. Надо было мне пойти в лес...

— Не ходи в лес одна,— сурово предупредил Хорив.— Умыкнут.

— А ты выручишь. Ведь выручишь меня, любый?

— Выручу, ладо моя единственная! Кого же мне еще выручать, как не тебя, голубку сизокрылую? — Тут он вздохнул тяжко: — Только старший брат в поход меня скоро поκληчет.

Сказал и почуял, как при этих его словах Миланка будто замерла, как-то сжалась вся, задрожала, приникла еще теснее, едва слышно крикнула:

— Не ходи! Не ходи в поход!

— Как же мне не ходить? — Хорив снова вздохнул и крепко сжал ее, дрожащую, глядя в затопленные слезами чудесные оченята.— Да ты не плачь! То не теперь, после зимы пойдем, не скоро еще. Не плачь... Ворочусь из похода, к себе возьму тебя, на свой двор. А ты побожись мне, поклянись Дажбогом, что без меня одна в лес ходить не будешь!

Ничего не ответила Миланка, только не сдерживалась более, рыдала, сотрясаясь вся, и слезы ее текли по горячему плечу Хорива.

17. ПОХОД НЕБЫВАЛЫЙ

Всю зиму стучали молоты кузнецов на Подоле, изготавливая княжий заказ: тьму шеломов и кольчуг, щитов и мечей, копий — великих и малых, несметное множество

наконечников для стрел. День и ночь плавилась в печах добытая на болотах железная руда, едва хватало той руды. С небывалой щедростью платил князь за работу серебряной ромейской монетой — кузнецы и рудоплавы взмокали от усердия, не чуя мороза.

Всю зиму стучали секиры на лесистых берегах верхнего Днепра, Десны, Припяти и прочих рек, так или иначе бегущих к Горам из полуночных краев. Древляне, дреговичи, кривичи — все, кого Кий принудил платить ежегодную дань, валили строевой лес под суровым присмотром полянских дружинников, которых на сей раз понаехало по всем становищам еще более прежнего. И никогда еще не требовали поляне столько лесу.

Поваленные стволы вековых деревьев тут же на месте, на снегу, лишали ветвей, ошкуривали, кое-как отесывали, стаскивали к замерзшей воде и там вязали в плоты. И едва только реки вскрылись, поплыл вослед за льдом поваленный лес — плот за плотом, бревно к бревну. Вместе с лесом — кто на плотях, а кто вдоль берега — двинулись к родным Горам дружинники — сотня за сотней.

Плоты и бревна прибывало к затону у Подола, где втекает в Днепр Почайна. Здесь их подцепляли и вытаскивали баграми — на берегу ждали пригнанные отовсюду мастера, снова вздымался до небес стук секир и молотов. Небывалое прежде множество великих лодей и челнов-однодеревок изготовлялось здесь. Тесали, стругали, смолили, обшивали бортами, оснащали мачтами и уключинами. Неслыханное прежде множество полотна для парусов готовили. Кожемяки в ярах от зари до зари обрабатывали бессчетное число бычьих, кабаньих и прочих шкур — на сапоги, ремни да конское снаряжение, а самые крепкие — для щитов. Немало скота для того было заколото. Коптили и вялили мясо и сало впрок. Без передыху, пряли, ткали и шили девы да жены, ибо отродясь не требовалось столько одежды для кметов. Запасались не только мясом, салом и рыбой, но также житными лепешками и фуражом, однако такими припасами особо не отягощались, зная, что кони найдут себе прокорм под копытами, а кметы — окрест.

Снаряжался небывало великий поход.

Кий принял переданное через ромейских гостей-слов приглашение императора посетить Царьгород. Брал с собой немало подарков, чтобы не уронить чести: меха и кожи, мед и воск. Но, кроме того, вел за собой не одну

тысячу кметов, чтобы чутя за плечами силу свою, чтобы и ромен ее почуяли — то всегда не без пользы... Шли поляне и росичи, дулебы и многие прочие анты, уже бывавшие в славных походах под бело-синим Киевским стягом. Кроме дружин снаряжалось в поход великое множество ратников и воев. Кий брал с собою всех своих гридней, грозного Воислава и мудрого Горазда, из братьев — горячего Хорива, а из жен — Белославу (другая — Всемила — не могла: ждала младенца). Горы оставлялись на попечение Щека хотя и молодого, но рассудительного и, главное, надежного.

Волхвы в один голос сулили добрый путь.

В конце травня¹ принесли жертвы богам на Майдане у капища. Пропировав затем до звезд, с рассветом двинулись. Вниз по Днепру пошли лодии и челны с поклажей. Конные дружины, ратники и вой шли берегом. Весь день до заката провожали их Горы, пока всех не проводили — никогда еще не видали поляне такого множества уходящих кметов. Души наполнялись радостной гордостью от сознания великой силы своей. Но, как это нередко бывает, вслед за радостью прокрадывалась в душу тревожная грусть. Смущало полян, что столь великая сила покидает Горы. Надолго ли?..

Дойдя до ближайшего становища росичей, приняли их дружину немалую и встали на ночлег — подождать отстающих, подправить где что не доправлено, дать отдых гребцам и коням. Две ночи ночевали так, пока все не подтянулось и не собрались. После чего пошли далее на полдень, останавливаясь только по ночам, — с рассветом поднимались и снова двигались, без какого-либо лишнего промедления, но и не тратя сил прежде времени.

На пятый день пути узрели, что берега с обеих сторон стали равно высокими, песок да глина на обрывах сменились багряно-серым камнем, скалы подступали к самой воде — стесненный ими Днепр ярился, управлять судами становилось все тяжелее. А вскоре показались камни в самой воде — будто великие быки купались. Старики сказывали, будто камни эти когда-то побросали в реку жившие здесь великаны. А Днепр гневно шипел и пенился, перекатываясь через те камни, которые поменьше, и обходя те, что покрупнее.

¹ Травень — май.

Здесь судам пришлось по возможности приблизиться к берегу. В конце концов люди с них высадились, оставив на борту одну только поклажу, и побрели по пояс в воде, каждым шагом своим пробуя неверное дно, придерживая, подталкивая и направляя суда баграми да копьями.

Воислав посоветовал усилить дозоры на берегу и подтянуть дружины потеснее. Здесь, у порогов, чаще всего налетали гунны. На сей раз, однако, обошлось. Знать, не решились потревожить столь великую силу.

Три ряда камней миновали благополучно. Четвертый же, по прозванию Айфар, был более других — здесь рев взбешенной воды, смешиваясь с пронзительными криками множества гнездившихся на береговых скалах птиц, заглушал человеческую речь. Все суда пришлось теперь вытаскивать на берег вместе с поклажей и волочить их волоком вдоль реки. Впрягали коней и быков, тащивших по берегу возы за конными дружинами. Впрягались сами. Подсовывали деревянные чурки-катки — чтобы не ободрать о камни просмоленные днища. За весь день — от зари до зари — прошли не более, чем вся длина Боричева тока на Подоле и Боричева подъема от него...

Наконец все семеро порогов — позади, все суда — снова на воде, а Днепр, успокоенный, разлился во всю свою ширь, еще шире, чем у Гор. И берега пошли невысокие, ровные, открытые — коням тоже идти стало легче, и дружины виделись от окоема до окоема.

На сырых прибрежных лугах, распушив вокруг шеи перья, дрались, как петухи, нарядные самцы куличков-турухтанов — рыжие и черные с белым, черные с рыжим, пестрые, всякие, каждый на всех прочих окраской не похожий. Сойдясь по двое, то пригибали к земле тонкие клювики, то взметались и насакивали друг на дружку. Петухи, да и только! Потеха!.. Неприметные серые самочки терпеливо выжидали, затаясь неподалеку, который из драчунов одолеет и станет достойным отцом и защитником будущему выводку.

Теперь на реке то и дело встречались поросшие кустами и деревьями острова, великие и помельче. К одному такому острову причалила лодия с Кием и его ближними, туда же высадились полянские гридни, а все прочие не уместились и поставили шатры на берегах.

Кий знал эти места по прежним походам. Теперь он уверенно вел за собой остальных по знакомой заросшей

тропе, вспугивая множество мелких пичуг, живущих здесь в кустах и на деревьях. Вышли к обширной поляне, посреди которой, будто густо-зеленый горб, возвышался великий многовековой дуб вроде того, который на Майдане.

Гридни-птицеловы тем временем не мешкали, свое дело знали и вскоре приволокли к дубу сети с различной водяной птицей, среди которой более всего было всяких уток. А с берега переправили подстреленных в камышах вепрей. Развели на поляне костер и приготовились пировать.

На каждую вынутую из сетей живую птицу подкидывали гадальную дощечку. Ежели дощечка падала светлой стороной кверху, то счастливицу отпускали тут же на волю. А в тех случаях, когда упавшая дощечка чернела другой своей стороной, обожженной, — птицу закалывали, жарили на костре и, отведав свою долю, остальное клали в великое дупло дуба — в дар богам, а что не поместилось в дупле, то разложили прямо у ствола.

После гадания на птицу самые меткие гридни, отойдя на края поляны и окружив таким способом дуб, подняли луки и по знаку князя отпустили тетивы — сотни стрел вонзились в землю у самого дуба, не дальше — не ближе, не задев ствола. К этим стрелам сложили недоеденную птицу, куски дикой свинины и припасенные житные лепешки — тоже в жертву богам. После чего продолжали пировать.

То же самое делали и те, кто оставался на берегах, отыскав и там несколько одиноких дуплистых дубов.

Попиравов не слишком долго и дав отдых коням, двинулись далее еще до сумерек. И никто не мог увидеть после, как в наступившей темноте подобрались к дубам неслышные тени с горящими глазами и принялись пожирать оставленную богам снедь...

Другой остров, самый великий из всех прочих, повстречался посреди Днепровского лимана при выходе к Понту. Здесь соединились с уличами и тиверцами. Отдыхали два дня и две ночи, крепя мачты и ставя паруса, готовя челны и лодии к морской дороге.

И пошли снаряженные антские суда под яркими парусами да на веслах по зеленому, синему и лазоревому волнам великого Понта Евксинского, кишащего резвящимися воронными дельфинами и непонятными прозрачными медузами. Держались поближе к берегу, чтобы в случае непогоды успеть пристать и укрыться. Шедшие берегом

всадники и те, кто сидел в челнах и лодиях, не теряли друг друга из виду, подавали друг другу знаки. Так было веселее и надежнее.

Миновали Тирское устье и подошли к устью Истринскому, многие рукава которого терялись в заболоченных берегах. Далее начинались ромейские земли. Здесь кое-как нашли подходящее место — повыше да посуше, пристали и высадились. Переночевали. А наутро суда и верхоконные собрались двигаться вверх по Истру и левобережью — искать доброго места для становища. Лишь одна великая лодия под бело-синим парусом, на котором намалеван был несмываемой краской княжий герб — звезда над головой конской и меч со стрелой накрест, отправлялась далее по морю — к Царьгороду, унося туда Кия с его ближними и кладь с подарками.

Оставшийся с прочими Воислав, прощаясь, заявил князю:

— Ежели до конца лета не будет от тебя вестей, либо придет, упаси Дажбог, весть недобрая... Знай, всех приведу за тобой и разорю Царьгород!

18. САМОЕ ТЯЖКОЕ

День был ясный и знойный. Вдоль Месе — центральной магистрали Константинополя, украшенной сегодня алыми и пурпурными полотнищами, яркими коврами и гирляндами свежесорванных цветов, — в тени колоннад и деревьев толпились зеваки. Богатые торговцы, которым посчастливилось основать свои лавки на этой улице, приостановили свою бойкую деятельность и — вместе с домочадцами, приказчиками и слугами — ожидали предстоящего зрелища. Все равно никто сейчас не станет покупать их товары, будь то дорогие ткани, модные одежды или ювелирные изделия. Все поглощены другим, все взоры обращены на каменные плиты, которыми вымощена Месе. Вот-вот по этим плитам застучат звонкие копыта множества коней — и падкие до всяческих развлечений граждане Второго Рима получат еще одно удовольствие от предстоящего красочного зрелища.

По обеим сторонам Месе на всем ее протяжении выстроились сотни пеших и конных гвардейцев. Ослепительное солнце многие сотни раз повторялось, уменьшившись, в их шеломах, латах и наконечниках копий.

Множество улиц, справа и слева вливающихся в центральную магистраль, оцеплены отрядами угрюмых федератов-наемников, сдерживавших несметные толпы простолюдинов, стекающих сюда с окраинных кварталов, чтобы тоже поглазеть на ожидающееся шествие. Если их не сдержать, если всех пустить — они собьют с ног почтенных граждан столицы, затопят всю Месе и не дадут пройти процессии. Вот отчего стоят на перекрестках вооруженные до зубов бородачи-наемники, сдерживая толпы мелких торговцев и ремесленников, моряков и строителей, поденщиков и неприкаянных бродяг, которые теснятся, давят друг друга, шумят и ропшут, но не посмеют прорвать оцепление. Знают, не раз убеждались: с федератами шутки плохи. И ведь все равно ничего не увидят отсюда, но не уходят — такова уж непосредственная человеческая натура...

Константинопольцы помнили, как более десяти лет назад они вот так же толпились вдоль Месе, такой же нарядной, по которой возвращался из похода Первый Полководец, победивший вандалов и подчинивший Второму Риму земли Северной Африки. Долго длилось тогда триумфальное шествие. В строгом порядке двигались бессчетные ряды всепокрывающей бронированной конницы. Бодро шагала легкая пехота — лучники и копейщики. Мерно топали рослые солдаты тяжелой пехоты — в металлических панцирях поверх плотных кольчуг, в непробиваемых шлемах, с полутораметровыми щитами, вооруженные мечами и секирами. Возглавляемые своими вождами, проходили на полудиких конях прославленные боевые сотни федератов — готов и герулов, гуннов и гепидов. А впереди всех, на рослом коне, пятнистом как пантера, ехал в золоченых доспехах сам Первый Полководец, вдвое расширивший территорию империи, не раз спасавший жизнь и честь Императора, который при всем при том относился к своему верному слуге, земляку и другу юности с подозрительностью и ревностью. Любимец народа и армии, Полководец ехал в сопровождении телохранителей-готов, хладнокровно взирая на ликующие и приветствующие его толпы своими прищуренными глазами, светлеющими на потемневшем под африканским солнцем лице. За триумфатором, с угнетенно опущенной головой, в небрежно свисающей с напряженных плеч красной мантии, в окружении своих несчастных приближенных, брел вождь по-



бежденных вандалов. Проезжали роскошные вандальские колесницы, захваченные в боях. Сотни измученных пленных тащили на себе богатую добычу, которую не сумели отстоять: золотые вазы и кубки, наполненные драгоценными камнями и грудами золотых украшений. Все это богатство и всех этих пленных Первый Полководец швырял к обутом в пурпурные сапожки ногам своего императора, добавив таким образом к многочисленным титулам его священной особы еще один — Африканский. Да, константинопольцы никогда не забудут того триумфа...

Но сегодня ожидалось другое шествие. Император пригласил в свою столицу еще одного вождя варваров — таинственных антов, которые не раз, заодно с родственными им склавинами, разоряли пограничные провинции государства. Теперь, благодаря мудрой политике Императора, анты поссорились со склавинами и, кажется, готовы оказать Второму Риму военные услуги, взять на себя защиту тех самых границ, на которые сами же прежде нападали. Константинопольцы не забыли нескольких принявших христианство антских вождей, один из которых в свое время возглавлял пограничные войска на правом берегу Истра, а другой командовал боевым флотом на просторах Понта Евксинского. А на сей раз речь шла об антском вожде-язычнике, который со своим войском должен был помочь империи охранять ее рубежи вдоль Истра. Говорили, будто он уже дал предварительное согласие послам. И конечно же Император, величайший из дипломатов, сумеет здесь, в своей столице, окончательно уломать этого дикого варвара, как не раз уже уламывал ему подобных.

И еще шли разговоры о том, что ожидавшийся гость — вождь далекого антского племени, обитающего на Горах у среднего течения Борисфена, где степи сменяются лесами, и что племя это за последнее время стало сильнейшим среди антов, а вождь его стремится объединить под своим началом все прочие антские племена. Ходили также слухи, будто у вождя этого несколько жен, как и у многих прочих варваров-язычников, но с собой он взял почему-то только одну.

Но вот послышались звуки многих труб, звонкий стук множества подков по камню, и толпа увидела показавшихся всадников на одинаковых золотисто-рыжих конях, в золотых шлемах с красными перьями —

почетный эскорт гвардейцев, возглавлявших и замыкавших шествие...

Когда миновали, пройдя под сводами ворот, окруженные глубокими рвами новые и старые стены Царьгорода, каменные, мощные, многорядные, с частыми и высокими башнями — четыре сотни круглых и угловатых башен! — Кий усмехнулся невесело и тихо сказал ехавшему рядом Горазду:

— Таких стен не одолеть, их и подкопом не возьмешь. Зря хвалился Воислав.

— Нам бы такие... — задумчиво отозвался боярин и придержал коня, чтобы дать князю возможность выдвинуться вперед. Они въехали на главную дорогу Царьгорода — княжью честь следовало блюсти.

«Нам бы такие! — повторил мысленно Кий. — Да где столько камня добыть? А ежели не из камня — из дерева? Га? Что ж, лесу хватило бы. И рвы копать ни к чему — яров и обрывов на Горах хоть отбавляй. А кто и когда станет строить? Да и надо ли? Ладно, там видно будет. Сейчас — не о том забота...»

Он приосанился, стараясь никому и никак не показать, как потрясла его обширность этого города на семи холмах, в который они въехали, — с прямыми мощеными улицами и площадями, в зелени широколистных платанов и мохнатых кедров, с высокими, как родные тополя, кипарисами, с великим множеством мраморных и бронзовых статуй, с бесчисленными рядами светлых колонн и темных древесных стволов. Возможно ли на Горах создать подобное? Нет, пожалуй. А отчего?..

Кий не оглядывался, но знал, что позади, в окружении многих сопровождающих ромеев, едут сероокий Хорив, долгобородый Горазд и десяток лично им отобранных гридней; а в ромейской колеснице — Белослава с пятью родственницами; и еще — в трех других колесницах — обильные дары ромеям: различнейшие меха редких мастей, куски воска и сосуды с медом, а также с десяток украшенных золотом и камнями отменных железных мечей, изготовленных лучшими мастерами Подола и взятых с собой не без умысла...

А перед ним мотались рыжие конские хвосты и покачивались на золотых шеломах всадников червонные перья: впереди гарцевала полусотня ромейских гвардейцев. Он знал, что другая такая же полусотня идет

в замке. Как, однако, стучат по камням их подкованные кони! А что, ежели свою дружину так же подковать? Невелика наука, а коням — сбережение, особливо зимой, чтобы по льду не скользили ни в полюдь, ни на Боричевом увозе. Или подольские кузнецы не сумеют?..

Кий глядел прямо перед собой, не поворачивая лица, но замечал, что по краям дороги, за рядами ромейских гвардейцев, толпилось множество нарядно одетых горожан, и вдоль всего пути — в червонных полотнах, коврах и цвѣтах — светлокаменные колонны различных строев, среди кустов и деревьев — фонтаны и всевозможные статуи, пешие и конные.

Особенно поразила его одна статуя, выше всех прочих, уже в конце дороги, когда въехали на обширную головную площадь, именуемую Августеон, что означало «Священный». Площадь вся была устлана мрамором и окружена галереей аркад и портиков с двойными рядами колонн, вся уставлена бронзовыми и мраморными фигурами. В стороне высился невиданного великолепия многоглавый храм, а впереди теснились под куполами и двускатными кровлями колоннады и портики императорского дворца. Здесь же, на площади, стоял золотой столб, от которого во все стороны расходились дороги, ведущие ко всем провинциям империи. А рядом со столбом — на семи беломраморных уступах с какими-то надписями — уходила в небо колонна из потемневшей бронзы, и на ней — устрашающе великий бронзовый конь, несущий всадника в золоченых доспехах. Хвост у коня был подвязан, а грива подстрижена, как у коней федератов. А одна только бронзовая нога всадника была, пожалуй, поболее самого Кия. В левой руке тот всадник держал увенчанный золотым крестом шар, а правую простира ладонью перед собой, будто повелительно останавливал кого-то, видимого им с высоты. С плеч спускался на широкий круп коня плащ, усеянный золотыми звездами. Кию подумалось, что звезды эти собрались здесь со всего неба и только ждут наступления темноты, чтобы покинуть дневное пристанище и вновь подняться обратно, поближе к ясному месяцу... На голове у всадника красовался золотой обруч с расходящимся кверху пучком золотых перьев. Золото, золото, золото... повсюду — золото... сколько же его в Царьгороде! Тут по темно-лазоревоу небу прошли полупрозрачные белые облака, как раз над бронзовым в золоте всадником,

и Кию почудилось, что и конь, и сидящий на коне поплыли, непомерно великие и притом невесомые, там, в высоком поднебесье...

Предупредительный ромей-пересказчик подъехал к Кию и прошептал по-антски:

— Сие — изображение нашего великого императора. В костюме Ахиллеса, славнейшего греческого героя. Надпись же на мраморе — из нашего Священного писания: «Он воссядет на коней Господних и езда его будет спасением. Царь возлагает надежду свою на Бога и враг его не сможет его одолеть. Злодей уничтожен перед ним, а он прославляет боящихся Господа».

Прошептал и отъехал. Чтобы не заслонять колоритную фигуру знаменитого вождя варваров-антов от gazeющих со всех сторон граждан Второго Рима.

«Выходит, — подумал Кий, — ромейские цари сами себе еще при жизни памятники ставят. У полян так не принято. Поляне, как и все анты, как и славины, ставят только фигуры богов. А ежели рассудить, то на могиле умершего князя еще можно бы воздвигнуть — чтобы не забыли славных дел его. Но — при жизни, самому себе? Будто сам свою тризну зовешь и торопишь...»

Они миновали увенчанную великим крестом четырехугольную триумфальную арку с двумя фигурами по краям — мужской и женской: самого первого ромейского царя, основавшего этот город, и его матери. «А отец его кто был и отчего не помянут?» — удивился Кий, но не стал расспрашивать. Теперь подъехали к Халке — парадному входу в императорский дворец. Здесь все остановились, всадники спешили, Белослава и ее спутницы вышли из колесницы. Нарядные безмолвные слуги приняли и увели коней, другие разгрузили колесницы с подарками. Кий особо не следил за всеми этими делами, понимая, что ромеи все равно распорядятся по-своему. Его заботило иное — предстоящее...

Раскрылись тяжелые железные ворота узорчатойковки, гостей провели в огороженный золочеными бронзовыми решетками и устланный мрамором двор. Отсюда прошли в невиданной высоты восьмиугольный зал с куполом. Под ногами был опять же мрамор, посреди зала червонела великая круглая плита непонятного назначения. Кий поднял глаза и увидел ясные лучи, пробивавшиеся через шестнадцать окон под куполом. Озаренные

этими лучами и огнем множества свечей и светильников, видны были по верхам стен выложенные разноцветными камешками яркие картины, изображающие Императора, Императрицу и сенаторов в различных торжественных случаях, будь то победный триумф или радостный праздник — лики у всех веселые, улыбающиеся.

Гостей вели из зала в зал, через двустворчатые бронзовые двери, и всюду под ногами был редкостный мрамор — ступить жалко, а по верхам стен красовались картины, одни из мелких цветных камешков, другие же наклеенные несмываемыми яркими красками. И на всем пути стояли недвижимо, будто бронзовые, ряды гвардейцев-спитариев, рослых и крепких, с долгими мечами у левого бедра и овальными щитами на левой руке, а на каждом щите один и тот же знак из перекрещенных полос — обозначение начала имени ромейского бога. На правом плече каждый спитарий держал копье с золоченым наконечником либо обоюдоострую секиру с долгой рукоятью. И на всех сияли золотом шлемы с пышными червонными перьями. В каждом зале гвардейцев возглавляли знаменщики со знаменами перед собой, и каждое знамя было наполовину червонным, а наполовину какого-либо иного цвета.

Перед входом в тронный зал — консисторион, закрытый червонным занавесом, остановились. И долго-долго стояли, непонятно и утомительно долго. Поляне изрядно проголодались, но, судя по всему, кормить их здесь не торопились. И поить — также, а пить после долгой дороги под солнцем еще как хотелось! Но не беда, анты терпеливы и выносливы — не привыкать...

В ожидании и без дела Кий вспомнил Всемилу, жену свою молодшую, смугляночку острооую. Шалунья, хохотушка. Когда бы ни пригнула утомленную княжью голову злая грусть-тоска, Всемила тотчас затормошит, расшевелит, тяжкие думы отгонит. Сейчас бы ее сюда! Далеко на Горах осталась, голубка, за глубоким яром, за насыпным валом, за высоким частоколом, в княжьем тереме. Ждет младенца. Кого подарит? Хорошо бы — сына... А здесь с ним — Белослава, тоже до сей поры не постылая. Эта и совет не хуже боярского дать сумеет, но без спросу в мужеский разговор не встрянет. Всегда светла душой, как светлы глаза ее и косы. Как ни гневен порой бывает князь, она взглянет только лазорево и кротко, улыбнется тихо и ласково... дикий тур и тот угомо-

нится от такого взора и такой улыбки. А когда не поладил Кий с Властом, — слова лишнего не молвила, будто и не был ей Власт отцом...

Наконец червонный занавес бесшумно раздвинулся, раскрылись разом три двери из резной слоновой кости, и гостям разрешили ступить несколько шагов вперед — на мягкие пестрые ковры.

Поначалу Кий, будто полуденным лучом Дажбога, был ослеплен великим обилием золота, серебра, каменьев, ярких красок. Но тотчас совладал с собой и увидел самого ромейского царя. Императора.

Ростом пониже любого из полянских гридней (не то что тот, бронзовый на площади, в поднебесье!), внимательные утомленные глаза на полноватом лице, в усах и бородке кое-где проседь. Златотканая туника под багряной мантией, а на челе — золотая диадема в прозрачных цветных каменьях. Он восседал на сверкающем трехступенчатом троне под золотым куполом, который держался четырьмя колоннами. За тронем угадывались три закрытые бронзовые двери — оттуда, надо полагать, и выходил сюда Император с приближенными. По бокам от трона две золотокрылые богини Победы простирали к восседавшему лавровые венки. Тут же замерли телохранители в золоченых шеломах с червонными перьями, в белых одеждах, с золотыми ожерельями на крепких шеях, с золочеными секирами и копьями на дюжих плечах.

Вдоль стен, справа и слева от трона, выстроились сенаторы и высшие сановники империи, все в парадных шелковых одеяниях, с подстриженными не выше уха волосами — прямыми и завитыми, черными, рыжими, седыми, а иные — вовсе плешивые. Судя по тому, что рассказывали Кию ромейские слы и пересказчики, здесь присутствовали управлявшие провинциями «префект восточной претории» и «префект западной претории», возглавлявший столичную сторожу «городской префект», ведавший дворцом и телохранителями Императора «начальник служб», заведовавшие личным достоянием Императора «комит частных имуществ» и «комит патримониев», вершивший судебные дела «квестор священных палат», отвечавший за состояние казны «комит священных щедрот», два «магистра армии», командующие столичным гарнизоном три «презентала», допускавшиеся к одеванию и обслуживанию священной императорской

особы дворцовые евнухи-«веститоры», обеспечивавшие молчание на пути шествия Императора «силенциарии», изготавливавшие указы о повышениях «холтуларии палаты», принимавшие прошения «референдарии», следившие за перепиской «нотарии», члены императорского совета — «комиты священной консистории», различные почтенные «патриции», не имевшие определенных обязанностей придворные-«кубукуларии», отставные сановники — «эксконсулы» и «экспрефекты», а также еще великое множество всевозможнейших вельмож.

Еще во время унижительно долгого стояния перед входом в консисторион, утомленный дорогой и торжественным шествием через Царьгород, томимый ожиданием предстоящего, Кий окончательно смирил себя, решив, что выполнит все, о чем предупредили и на чем настаивали ромеи. Выполнит — ради того заветного, о чем давно помышлял и к чему неудержимо стремился: стать самым сильным и самым богатым в антском мире, ни от кого не зависеть и никого не страшиться! И теперь, ощущая на себе внимательно изучающий, будто насквозь пронизывающий и как бы выжидающий взгляд Императора, он шагнул вперед, приблизился к трону и — свершив над собой последнее великое усилие — опустился на ковер, вытянувшись, опершись ладонями и расставив локти, как в боевом поиске, когда неприметно приближаешься к недругу, вжимаясь в землю... Но ковра на ступенях трона и червонного сапога императорского коснулся одними лишь усами — не устами! Кто мог бы приметить?

— Встань, князь! — негромким приятным голосом повелел по-антски Император и повторил то же самое, но чуть погромче, по-гречески: — Встань!

Кий поднялся рывком и выпрямился. Самое тяжкое теперь осталось позади, преодоленное.

19. ИППОДРОМ

— Сла-ва Импе-рато-ру!! — скандировали сорок тысяч глоток, и шелковые пурпурные полотнища над ипподромом трепетали ответно: — Сла-ва Импе-рато-ру!!!

Ипподром вплотную прилегал к дворцовому комплексу, так что Император и его свита могли проследовать к своим ложам по внутреннему переходу. Императорская ложа находилась на втором ярусе красивого строения —

кафизмы, увенчанного нарядной башенкой, на которой вздыбились четверо одинаковых бронзовых коней, изваянных когда-то бессмертным Лисиппом. Справа и слева располагались ложи придворных и высших сановников империи, а верхняя галерея и нижний ярус предназначались для гвардейцев-спитариев. В цоколе кафизмы видны были большие выездные ворота. И все это отгораживалось от арены надежной бронзовой решеткой.

Продолговатая овальная арена, посыпанная свежим песком и кедровыми опилками — для аромата, посередине пересекалась «спиной» — узким каменным барьером, украшенным колоннами, обелисками и древними античными статуями. Статуи изображали героев и владык минувшего тысячелетия. Вокруг арены поднимались где тридцатью, а где и сорока рядами трибуны — мраморные ступени. Над верхним их рядом, обрамляя весь Ипподром, красовалась легкая галерея-колоннада, на которой выстроились бронзовые и мраморные скульптуры.

Таков был Ипподром Второго Рима...

Еще с утра потянулись сюда со всех улиц толпы граждан — занять места получше. Лишь самые знатные могли не торопиться: их первые ряды и ложи никто не посмеет занять.

Вот за разноцветными колоннами верхней галереи и нижнего яруса кафизмы засверкало золото гвардейских шлемов, копий и щитов с инициалами Христа. Вслед за тем в центральной ложе раздвинулся красный занавес, и все увидели знакомую невысокую фигуру в пурпурной мантии и золотой диадеме, со скипетром в руке. И тогда, увидев пурпурную мантию, все разом, без какой-либо команды, вскочили со своих мест на мраморных ступенях, неистово рукоплеща и вопя:

— Слава Императору! Слава победоносному!

Будто сговорившись и подчиняясь невидимому дирижеру, овладели единым ритмом и начали скандировать:

— Сла-ва Импе-рато-ру!!!

Орали исступленно, орали солдаты и моряки, ремесленники и торговцы, чиновники и домовладельцы. Иные в экстазе топали ногами.

Несколько сдержаннее подавали голос, предпочитая ограничиться рукоплесканием, однако встав вместе со всеми, богатые патриции, сенаторы в первых рядах и высшие сановники в боковых ложах кафизмы.

Что могло остановить эту стихийно возникшую овацию?

— Да здравствует Император!

— Слава величайшему из государей!

— Сла-ва Импе-рато-ру!!

«Жалкие ослы!— подумал Император, благосклонно осеняя крестом своих крикливых подданных.— За яркое зрелище или золотую подачку вы готовы вопить что угодно либо помалкивать — по обстоятельствам. Но при первой же возможности продадите за тридцать сребреников и свою империю и своего Императора. Скоро вы зарете так же охотно и так же громко не потому, что увидели меня, а потому лишь, что колесница любезного вам цвета придет первой».

Он улыбнулся трибунам своей обаятельной улыбкой и укоризненно покачал головой, как бы упрекая обезумевших подданных в чрезмерной несдержанности чувств. В то же время он взглянул на окна примыкавшей к Ипподрому церкви святого Стефана. По одному ему известным признакам понял, что Императрица с придворными дамами уже там, на хорах храма, и сквозь оконные решетки нетерпеливо поглядывает на арену.

Она предпочитала наслаждаться любимым зрелищем, не показываясь толпе. Пускай глядят либо на арену, либо на нее, уж что-нибудь одно. А то кто-нибудь не сможет оторвать взора ни от происходящего на арене, ни от своей блистательной Императрицы и окосеет, бедняга. Не приведи, Господь!.. И пусть никто не вспомнит — невольно, разумеется,— что Императрица когда-то сама выступала на арене...

Теперь она на месте — можно начинать. Император подал знак скипетром. И тотчас из распахнувшихся под кафизмой четырех ворот вынеслись на ровный песок арены четыре стремительные квадриги¹.

Зеленая колесница, управляемая рослым возничим в нарядном зеленом костюме, в шапочке с зеленым пером, с длинным кнутом в руке, запряженная четырьмя крутошеими воронными конями, сразу же вырвалась вперед под восторженный рев одних рядов, в то время как другие ряды хранили мрачное молчание. Но вот ее обогнали сильные гнедые кони, впряженные в синюю колесницу, на которой, широко расставив крепкие ноги и вытянув перед

¹ К в а д р и г а — упряжка из четырех коней.

собой смуглые мускулистые руки, возвышался возникчий в синем. Теперь взревели все сорок тысяч — одни от восторга, другие от досады. Император в своей ложе удовлетворенно хмыкнул: он благоволил к синему возникшему, хотя и знал, что Императрица предпочитает зеленого.

Напуганные ревом многотысячной толпы, шарахнулись шедшие предпоследними светло-серые кони, ударив свою белую колесницу о «спину» арены с такой силой, что возникчий в белом вылетел вон и едва не угодил под ноги четверки рыжих коней, впряженных в красную колесницу, мчавшуюся последней...

Те, чьи места были расположены неподалеку от кафизмы, давно уже заметили сурового бородатого варвара в императорской ложе — того самого антского князя, которого на днях столь торжественно встречали. Но, увлеченные происходящим на арене, не заметили сочувственно-насмешливого взгляда, которым императорский гость сопровождал ополоумевших светло-серых коней, волочивших через всю арену остатки разбитой колесницы и не обращавших внимания на своего несчастного возникчего в испачканной белой одежде, тщетно пытавшегося догнать их и остановить.

Вскоре над трибунами прогремел новый взрыв ликования одних и яростной досады других: гневные кони пришли первыми — измученный, но счастливый возникчий в синем смиренно направился к кафизме, за наградой.

— Не скупись,— предупредил Император комита священных щедрот и, заметив досаду на жирном лице старого обжоры и сластолюбца, добавил:— Ты ведь сам не обеднеешь.

— Я забочусь лишь об императорской казне,— обиженно проворчал толстяк.— Только это меня беспокоит, и ничто иное.

— А я спокоен за свою казну,— весело отозвался Император.— Поскольку о ней заботишься именно ты. Кстати, позаботься о подарках для нашего гостя... Что-то-о?! Ты хотел возразить? Или мне показалось?.. Показалось? Тем лучше...

Они говорили по-своему, и Кий, находившийся рядом, ни слова не уразумел. Это — злило. А разумеющий поромейски Горазд вместе с прочими полянами помещался в другой ложе. И князь подумал, что надо будет самому овладеть и греческим и латынью. Не впервой подумал, да все недосуг было приступить...

Счастливец победитель в синем был щедро одарен и распростерся перед высочайшим благодетелем, а над ипподромом снова загремело:

— Да здравствует Император!

— Живи вечно, великий!

— Сла-ва Импе-рато-ру!!!

С меньшим интересом, нежели на коней, глядел Кий на двух прирученных медведей, которых заставляли плясать и вертеться на задних лапах, задрав морды. Такие же штуки проделывали с ручными медведями и древляне. Только здешние звери были посветлее и помельче тех, приднепровских. Поначалу князь предположил даже, что медведица с медвежонком, до того мелки показались. Но ему разъяснили, что — медведь с медведицей, пойманные в горных лесах восточных провинций империи.

И вовсе никакого удовольствия не доставил Кию одноглазый желтый пес, которого трибуны встретили оживленными рукоплесканиями. Около пса суетился и кривлялся сутулый гололобый человек с козлиной бородкой, пес хватал из его рук какие-то мелкие предметы, носился с ними вдоль арены, будто пчелой ужаленный. А гололобый выкрикивал что-то по-ромейски, и на каждый его выкрик зрители отзывались дружным хохотом и рукоплесканиями. Ничего не разумеющий Кий глядел перед собой бесстрастно, всячески стараясь не уронить княжьего достоинства, не показать, что чувствует себя дурнем и томится.

Ближе всех к князю находился в ложе богато одетый, но щуплый безбородый военачальник с насмешливым взглядом темных и чуть воспаленных глаз. Будто почуяв настроение гостя, он подозвал пересказчика и через него разъяснил, что одноглазый пес и его гололобый хозяин — любимцы ромеев. Гололобый не знает равных себе в острословии, а собака его умеет различать любые монеты и перстни, по которым безошибочно опознает владельца. И якобы может определить, которая жена честная, а которая распутная. Еще говорят, будто в желтом теле одноглазого пса живет душа древнегреческого пророка, но таким неразумным и невежественным разговорам не следует верить.

Безбородый военачальник понравился Кию и был первым среди приближенных Императора, кому антский князь улыбнулся доброй широкой улыбкой, столь неожиданной на сурово замкнутом лице.

20. ГОТ АРЕОВИНД

Его прапрадеды жили когда-то далеко отсюда — на продуваемых студенными ветрами скалистых берегах полуночных морей. Однажды наиболее отважные и отчаянные снарядили три корабля и поплыли через море в сторону полуденного солнца — искать землю потеплее и поласковой. Они доплыли до низкого берега с высокими соснами на светлых песках, приняли к себе самых смелых из местных племен и двинулись в глубь суши — где по рекам, где по озерам, а кое-где и волоком. Чем дальше углублялись, тем больше их становилось, потому что уходили из сырых болотистых лесов и желали идти вместе с ними в лучшие земли многие и многие. Иные говорили тою же речью, что и пришельцы, другие — по-своему. Но много ли надо говорить и так ли уж трудно договориться, когда всем хочется одного и того же?

Не одна сотня лет прошла с той поры, когда их великий конунг¹, послушный лишь воле бога Одина и ничьей иной, достиг прокаленных непривычно высоким солнцем берегов Понта. К тому времени вся пройденная равнина оказалась населенной готами, покорившими одних местных жителей и побратавшимися с другими. Иные непокорные ушли в леса либо откочевали в степи. А одно племя, укрепившееся на гористом речном побережье, сопротивлялось до тех пор, пока изнуряющие стычки не начали все чаще сменяться выгодным товарообменом, совместными походами и даже свадьбами. Так что порой уже и не отличить было, где кто. Только речь у тех и других хотя и перемешалась отчасти, но оставалась различной...

Вскоре налетели с восточной стороны несметные полчища гуннов и разметали едва успевшее окрепнуть молодое приднепровское государство, в котором пришельцы-готы и местные предки нынешних антов кое-как научились совместной жизни. Уцелевшие готы и некоторые местные племена либо примкнули к гуннам, либо уходили от них все далее на запад, где в гористых лесах и те и другие повстречали сородичей и объединились с ними. А самые упорные приднепровские племена остались на своих правобережных горах и, говорят, отбились там от гуннов.

¹ Конунг — вождь у готов.

Иные же готы закрепились на полуостровах полуденных морей — от Тавриды до Апеннин, где в конце концов избавились от гуннской грозы. Но тут их начали теснить могучие армии Второго Рима, начавшейся войне не видно было предела — деды начинали ее, а выросшие внуки продолжали.

Дед Ареовинда, которого звали тоже Ареовинд, обосновался в Тавриде, подружился с греческими монахами-миссионерами, перешел в их веру и занялся мирным выращиванием виноградной лозы. Младший сын его — отец Ареовинда — не получил в наследство ни клочка земли (все досталось старшим) и ушел в Константинополь, где поступил на службу в императорскую гвардию. Там он женился на случайно встреченной соплеменнице-прачке, также принявшей греческую веру, и у них родился мальчик, названный в честь деда Ареовиндом, хотя при крещении ему дали еще одно имя — иное.

Когда старый император скончался, а престол заняла новая династия — выходцы из Македонии, в междоусобных стычках пало немало гвардейцев, в их числе и отец Ареовинда. Мать вскоре тоже умерла, во время стирки — мыльная пена так и осталась на ее неподвижных руках...

Маленький осиротевший Ареовинд сначала умел только плакать. От голодной смерти его спасли бродяги-подростки, научившие малыша побираться на папертях храмов. Однажды, объевшись ворованными неспелыми плодами, изнуренный недугом и жарой, Ареовинд спрятался в тени душистого и колючего шиповника. Он долго лежал там, обессиленный, и назойливые мухи, похожие на золотисто-зеленых жуков, суетились над его немытым обнаженным тельцем. То ли он задремывал временами, то ли вовсе терял память, но в какой-то момент вдруг услышал над собой суровый бас:

— Экий, право, грязнуля!

А следует заметить, что по натуре Ареовинд, как и все готы, был весьма чистоплотен и даже брезглив. Но сейчас ему было все равно, чистоту и брезгливость он забыл, как забыл ласку всегда пахнувших мылом материнских рук...

Он разлепил глаза и увидел над собой не то башню, не то высокого важного господина. У Ареовинда не было сил вскочить и убежать. Он молча и безучастно смотрел на господина-башню.

— А глазки-то у тебя как небо! — пробасил тот. — И если их промыть хорошенько...

Он подозревал своих слуг, те подняли малыша на ноги и спросили:

— Сможешь сам идти?

— Смогу, — ответил Ареовинд и пошел за ними.

На другой день господин-башня продал вымытого и накормленного, но совершенно голого Ареовинда в дом еще более важного господина — всего за десять номисм.

Еще более важный господин оказался прославленным Первым Полководцем империи, другом самого Императора. Он оказался добрым и щедрым, с многочисленными рабами обращался не слишком сурово; Ареовинд вскоре окреп, вырос и выполнял различные подсобные работы.

Однажды Первый Полководец взял его — в числе сотни юношей-рабов — с собой в поход. Там, прислуживая своему господину, а порой — под присмотром гвардейцев — даже участвуя в схватках, Ареовинд обучился верховой езде, метанию копья и неплохо овладел мечом. С той поры он сопровождал своего хозяина во многих походах и жил, в общем-то, немногим хуже гвардейцев, которых у Первого Полководца в Африке было две тысячи, а на Апеннинах — семь тысяч. Да, он жил немногим хуже их и умел сражаться не хуже их, но все же оставался рабом. Гвардейцу можно было приказать, его можно было наказывать, даже убить, но — не продать. Раба можно было убивать, наказывать, продавать — все зависело от воли господина.

Когда при высадке на южном побережье Апеннин пришлось повстречаться с остготами, Ареовинд вдруг вспомнил, что он — гот, и с этого момента делал совсем не то, что привык делать и что собирался делать еще за день до высадки.

— Не бойся меня! — крикнул он на так и не забытом с детства родном языке первому же встреченному в бою вражескому солдату. — Порази меня в ногу и уходи!

Тот опешил и стоял даже не прикрывшись щитом — сразить его было бы проще простого.

— Скорее же! Экий бестолковый... Очнись и делай, что велю!

Тот, услышав повелительную речь, вздрогнул и ткнул перед собой копьем. Ареовинд свалился и успел еще раз повторить по-готски:

— Скорей уходи!

Тут набежало множество остготов, но гвардейцы отбили Ареовинда и даже вынесли с поля боя. Первый Полководец учил их не оставлять в беде никого из своих, даже раба.

Рана оказалась легкой и вскоре зажила, но осталось поврежденным сухожилие ноги — Ареовинд охромел. Ездить верхом он теперь мог не хуже прежнего, но коней не хватало даже гвардейцам, а хромой пехотинец недалеко уйдет, и Первый Полководец отослал ставшего непригодным для походов раба обратно в Константинополь, вместе с группой пленных, в подарок жене — для употребления в домашнем хозяйстве.

Ареовинд стал одним из садовых сторожей при столичном дворце Первого Полководца, где всеми командовала сама госпожа. В отличие от своего мужа она не отличалась добротой, частенько избивала слуг и особенно рабов. Но была так красива, аккуратные бровки над серо-зелеными глазами так чернели, а кожа на шее и руках так белела... Бедняга Ареовинд страшился взглянуть, когда госпожа проходила мимо него. Она же обратила внимание на застенчивого молодого гота хотя и хромого, но привлекавшего ее своей внешностью: темно-рыжие волосы и голубые глаза на смуглом лице с вызывающе выдвинутым костистым подбородком и гордым тонким носом, а руки и плечи — как у античных скульптур на Ипподроме. Именно так и такими словами объяснила она ему свою прихоть, когда снова и снова велела к полуночи тайно проникать в ее покои. И сама объяснила — каким путем...

Ареовинд жил теперь не то как во сне, не то как в непробудном опьянении. Он ни о чем не думал, он действовал как в бою: что велели — то исполнял. Он оставался рабом, не более того.

А Первый Полководец все еще воевал с остготами на далеких Апеннинских холмах.

Ареовинда теперь кормили и одевали лучше, чем других рабов и слуг, меньше загружали работой. Он пользовался этими неожиданными привилегиями, но не знал еще, что многим людям свойственна низменная зависть, способная порождать одно лишь зло...

Первый Полководец появился в Константинополе внезапно, зачем-то отозванный Императором. И нашлись слуги, тотчас доложившие вернувшемуся хозяину о полуночных визитах хромого раба в покои госпожи.

Никто не слышал, не видел и не знал, как объяснялся опозоренный муж со своею неверной женой, как они бранились и каким образом умудрились помириться. Но о последствиях их объяснения и примирения вскоре узнали все.

Двоим рабам-доносчикам в награду за верность была дарована свобода. Но одного из них перед тем ослепили — чтобы не видел, чего не положено видеть. А у другого вырезали язык — чтобы не болтал, чего не положено болтать.

Ареовинда же били бичами. Поначалу он только дергался от каждого удара, но молчал. Знал, что сама госпожа глядит и видит, как рассекается кожа на теле, которое она еще недавно столь нежно ласкала, как брызжет из-под бичей кровь, которая еще недавно вскипала при одном лишь взгляде голубых глаз раба на ее черные брови и белую шею... Затем стало нестерпимее, но он все-таки молчал!.. Потом он ничего уже не ощущал, пока его не окатили соленой и едкой морскою водой... Лучше не вспоминать все это...

После бичевания Ареовинда сослали на галеру-катаргу — ворочать тяжелыми веслами. Хромота гребцу не помеха, а руки и плечи, красивые как у языческих богов древней Эллады, нашли таким образом достойное применение своей силе.

О годах, проведенных на галере-катарге, тоже нет смысла рассказывать. Как ни описывай — поймет и поверит лишь тот, кто сам испытал подобное...

Среди гребцов-катаржников, кроме прочих, было — вместе с Ареовиндом — одиннадцать готов, восемь греков, четверо славин и трое вандалов. Они-то — двадцать шесть самых непокорных — и сумели сговориться меж собой. Это было очень не просто — сговориться при разной речи, да так, чтобы не заметила и даже не заподозрила стража. Это было невыносимо тяжело — терпеливо сносить побои и оскорбления в ожидании назначенного дня и часа, когда победа либо смерть принесут свободу, самое драгоценное, что только может быть даровано богом каждому человеку, каждому живому существу. Но рабы умеют терпеть и ждать. До назначенного дня и часа...

Однажды, когда их катарга шла вдоль пустынного берега между Тавридой и Истром, Ареовинд взглянул на своего соседа-славина и дважды моргнул. Тот закашлял

ся, якобы поперхнувшись слюной. Сидевший впереди вандал выронил весло — будто нечаянно...

Они вырвали ржавые цепи из прогнившей древесины и, действуя неразлучными скованными парами, били этими цепями по шлемам и копьям стражников. Более половины гребцов пали в том небывалом сражении. Но остальные одолели, скормили капитана и стражников рыбам, разбили судно о прибрежные камни и высадились на сушу.

Не один знойный день и не одну душную ночь скитались они по безлюдному и безводному берегу, щедро отдавая свою кровь назойливым слепням и комарам, теряя рассудок от голода и жажды. Они оставляли без погребения своих умерших товарищей...

У полувысохшего колодца их, кучку еще способных дышать скелетов, обтянутых перегоревшей кожей, обнаружили дозорные антского боярина Воислава, который незадолго перед тем проводил своего князя к Императору и теперь ждал добрых либо недобрых вестей.

Все это и рассказал Ареовинд, придя в себя, допросившему его боярину. И молил об одном: принять его в дружину славного князя Кия. Хоть рабом, хоть воинем, хоть кем. То же сказали, поведав каждый свою историю, и все остальные, кто остался в живых из готов и греков. Из вандалов не выжил ни один, а двое уцелевших славингов ушли — пробиваться к своим.

21. БЕЗБОРОДЫЙ

Статный тонконогий конь, рыжий и белолобый, с большой глазастой головой на гибко изогнутой шее в ремнях с золотыми бляшками, — подарок безбородого военачальника — послушно и нетряско нес Кия вдоль набережной Царьгорода. Сам Безбородый в разукрашенном камнями и золотом лилово-фиолетовом шелковом одеянии ехал рядом, на таком же коне. С другой стороны, на более тяжелом и менее нарядном гнедом мерине, следовал ромейский пересказчик, помогавший дружеской беседе. Их сопровождали Хорив, Горазд, несколько антских гридней, а также множество слуг, рабов и телохранителей Безбородого — все коренастые и черноглазые, все земляки своего господина. Да еще сотня червонно-золотых гвардейцев. Зеваки, слонявшиеся по набережной, хотя и привыкли к подобным процессиям, весьма

не редким в их городе, все же останавливались — поглазеть.

Сверху припекало — князь перебросил легкий белосиний плащ через левое плечо и развязал шнурки ворота белой сорочки с червонно-синей вышивкой. Он был простоволос, без доспехов, с одним лишь ножом на широком, в золоченых пластинах, поясе. Проезжая неторопливо, обратил внимание на множество челнов, лодий, галер и прочих судов, малых и великих, с людьми и товарами, сновавших во все стороны по гладкой воде, в которой отражались дворцы и храмы.

— Здесь воды Боспора сливаются с водами Пропонтиды, — объяснял Безбородый через пересказчика. — Очень удобная стоянка для нашего флота.

— У вас, вижу, немало удобных пристаней, — заметил Кий и хотел было добавить, что и у полян на Почайне тоже имеется добрый затон для лодий, но не добавил, промолчал.

— А вот и Вуколеон, — Безбородый указал на подступавший к самой воде огороженный стеной дворец. — В нем находятся покои нашего великого Императора. По секрету могу сообщить, что нашему дорогому гостю вскоре будет оказана высокая честь побывать в Вуколеоне. Называется дворец так по имени быка, мимо которого мы сейчас проезжаем. Я слышал, что анты чтят быка. Это верно?

Кий увидел перед стеной дворца белого мраморного быка, на которого нападал белый мраморный лев. Он подтвердил, что да, действительно, анты издавна чтят быка. Но более всего чтят отцов своих, Дажбога, Перуна и других богов.

— Не собираются ли наши друзья-анты отказаться от своей языческой веры и принять нашу, христианскую? Некоторые антские вожди уже поступали так и после не жалели. Они у нас пользовались большим почетом и доверием.

— Я слышал о тех вождях, — небрежно заметил Кий и в свой черед спросил: — Значит ли сие, что мне и моим спутникам, которые верны Дажбогу и не приняли ромейской веры, будет меньше почета и меньше доверия?

Безбородый усмехнулся своими воспаленными глазами и покачал головой:

— Разве наш дорогой гость сам не замечает, с каким почетом принимают его и с каким доверием ему все со-

общают и показывают? Вон, кстати, за Вуколеоном, чуть повыше, виден восьмиугольный Хризотриклиний, а рядом с ним — Большой, Халкийский, Дафнийский и другие дворцы, где славный антский князь уже побывал и был принят священной особой императора с подобающим почетом. И это не последний прием. Главное у нас — впереди... А теперь свернем и поторопим коней. Мы покажем дорогому гостю наши открытые водохранилища и подземные цистерны. В них мы накапливаем воду в месяцы дождей и весенних паводков. Поэтому в пору летнего зноя город не страдает от недостатка пресной воды. У нас есть цистерны, каждая из которых в течение месяца может поить сто тысяч граждан. Таким образом, Второй Рим никому не взять — ни приступом, ни долгой осадой — воды, припасов и всего прочего необходимого хватит на многие месяцы.

Кий вспомнил виденные им стены, еще раз подумал, что Воислав зря хвалился, ибо Царьгород и впрямь неприступен. Разве только разрушить цистерны...

— А как построены ваши подземные цистерны? Чем держатся, бревнами или еще как?

— Дорогого гостя настолько интересует их устройство? Что ж, если князь пожелает иметь подобные сооружения у себя, мы охотно дадим мастеров.

— Благодарствую, — ответил Кий проницательному собеседнику. — Нам водохранилища и цистерны ни к чему. Рядом — неиссякаемый Днепр, не соленое море — пресной воды хоть отбавляй... Но у нас на Горах немало пещер. Чем можно укрепить их, чтобы не обваливались? Ежели можно бревнами, то леса у нас хватит. А вот камней...

— Наши цистерны все из камня и кирпича, — сказал Безбородый. — Сейчас мы как раз приближаемся к цистерне Филоксена. Ее называют цистерной тысячи колонн. Князь увидит ее.

— В ней тысяча колонн?! — Кий не сумел скрыть изумления.

— Нет, это гипербола.

Кий не понял.

— Ну, преувеличение, — терпеливо пояснил Безбородый. — На самом же деле своды цистерны Филоксена держатся на двухстах двадцати четырех каменных колоннах. Но она — не самая большая...

Поздно вечером, только что воротившись с прогулки

по уставленной множеством ярких светильников Месе и собравшись в отведенных князю покоях, поляне толковали об увиденном и услышанном. Говорили о том, что над освещенной огнями головной дорогой Царьгорода ночное небо светлее, а звезды тусклее, нежели над Горами либо в степи. И еще о всяком разном.

Кия же особенно интересовал Безбородый. И Горазд рассказал все, что удалось о нем выведать.

— При дворе этого воеводу вельми ценят. Особливо благоволит к нему Императрица, а Император не опасается, потому что безбородые на жен не глядят. С кем я ни толковал, все говорят, что Безбородый зело разумен. Говорят, что у него не голова, а сенат...

— В таком разе,— засмеялся Хорив,— ромеям и сенаторы ни к чему, достаточно одного Безбородого.

— А Император, как я уразумел,— продолжал серьезным голосом Горазд,— на сенаторов не оглядывается. Они здесь больше так, для видимости. Вроде нашей сходки теперешней...

— Ты про Безбородого рассказывай,— напомнил Кий, словно бы не замечая старания боярского угодить князю насмешкою над сходкой.

Тот провел ладонью по своей долгой бороде, как бы вспоминая, и заговорил далее:

— Ну сам он из Армении, где горы много выше наших, а одна — двуглавая — все лето под снегом. В его роду было немало славных воевод. Сто лет назад один из них изрядно поколотил персов. А этому с персами не посчастливилось: еще отроком взяли они его в полон и покалечили — с той поры ни усы, ни борода у бедолаги не растут. А ромеи отбили и привезли к себе в Царьгород. Здесь императрица выкупила его за семьдесят номисм и оставила при своих же покоях — для разных услуг. Там у нее одни безбородые прислуживают. Этот же проявил столь великое старание и разумение, что был представлен ею самому Императору. Тот убедился, что молодец — не дурень, и взял к себе во дворец на службу. Безбородый и там оказался на диво смысленным...

— Оно и видно,— снова вставил Хорив. Мал, да удал.

— Именно, что ко всему и удал,— подтвердил Горазд.— Что ни приказывал ему Император, куда ни посылал — повсюду управлялся. И в ратном деле, и в любом

ином. Вот и достиг. Только с Первым Полководцем не ладит, говорят.

— Это понять можно,— сказал Кий со вздохом.— Два коренника в одной упряжке всегда грызутся. Жаль, не застали мы Первого Полководца, поглядеть хотелось.

— Он все с готами воюет. Давно уже.

— Что-то не сладит никак.

— Да, увяз там,— равнодушно подтвердил Горазд и, к слову, добавил:— Восемь лет назад послал Император ему на подмогу Безбородого и с ним семь тысяч войска. Вот тогда-то оба впервой повстречались и с первой же встречи не поладили. Пришлось Императору отозвать Безбородого обратно сюда, в Царьгород. После отзывал Первого Полководца, а посылал того. Так и сменяют один другого, только бы вместе не быть. Теперь, слышал я такой разговор, собирается Император сызнова послать Безбородого туда и передать ему все войско. А то никак с готами не совладают...

— И со славинами тоже никак,— задумчиво произнес Кий.— Га? Вот где я понадобился... А ведомо ли, что сами солдаты говорят про Безбородого?

— Я толковал с одним гвардейцем,— ответил Горазд.— Подарил ему свой ножик с рукоятью из рыбьей кости. Тот и клюнул на такого живца. Он хаживал с Безбородым на гóтов. Говорит, страшатся его в войске, чуть бровью только двинет — и повторять не требуется. Ни кому спуску не дает, ни гвардейцам, ни даже федератам...

— Так и надо!— одобрительно заметил князь.— Со стадом бестолковым много не навоюешь. Без строгости войско — не войско.

— А добычей делится щедро,— продолжал Горазд.— И себя не обижает. Видали, сколько золота на нем? И еще, говорил тот гвардеец, верят в него все. Что ни затеет, все так и свершается. В бою не били его ни разу.

— Надо же!— воскликнул Хорив.— А с виду птаха малая. И борода не растет...

— Не в бороде разум,— изрек назидательно Кий и тут же весело подмигнул боярину:— Верно, Горазд? Га?

Тот не ответил, надулся.

— Не серчай!— Кий взглянул ласково.— То я так сказал, для веселья... У тебя борода хотя и велика, да разум тоже не мал. А с Безбородым велю всем держать ухо востро. И думай каждый, что перенять у него. У него

и у прочих ромеев. Кто надумает — тотчас мне и говори.

— А я уже надумал, — заявил Хорив. — У ромеев кольчуги толсты, копьем не пробешь. Нам бы такие.

— Знаю я эти кольчуги, — возразил Кий. — Тяжелы. Нам бы полегче надобно. А железо само — попрочнее. На Подоле мастера найдутся, изготовят лучше прежних.

— Скорей бы обратно к Горам! — не выдержал один из гридней.

— В Днепре бы искупаться, — отозвался негромко другой. — Благодать!..

— Сперва в Истре искупаемся, — сурово и загадочно молвил князь. — И не единожды.

22. ГРЕК ФИЛОКТИМОН

— Анты... говорить мало... греки... говорить много...

— Скажи ему, — обратился Воислав к дружиннику-пересказчику. — Пускай говорит по-своему, по-гречески. А ты пересказывай.

— Меня зовут Филоктимон, — начал грек. — Я христианин. И отец мой был христианином. Мой отец был колоном... Что это значит? Это значит, что сначала он был рабом, но затем господину стало невыгодно содержать столько рабов и надсмотрщиков. Отцу разрешили жениться и дали земельный участок в полтора гектара. Там же стояла хижина, где я и родился. Помню несколько глиняных сосудов, освещенных светильником. Да ворох соломы, на которой все мы спали... Теперь отец сам вел хозяйство, но почти весь урожай отдавал господину. Потому что земля, семена, плуг и волы все равно были господские. И уйти куда-либо со своего участка отец не мог, его бы поймали, избили и в цепях возвратили обратно. Только теперь никто не имел права продать или купить нас. Потому что мы были уже не рабы, а колоны. Вот в чем разница... И все же нам удалось убежать в другую провинцию. Там мы жили в общине. Поначалу было не так уж плохо, жили и работали дружно, выручали друг друга, все вместе защищались от сборщиков податей. Если бы только для имперской казны, а то львиную долю сборщики клали в свой карман. Одного такого обнаглевшего чиновника даже побили камнями. Но вместо побитого прибыл другой, под охраной сотни федератов... В конце концов наша община разорилась, отец бросил свою землю, и мы всей семьей прибыли в Константино-

поль. Сперва ютились где придется, отец брался за любую работу. Любую! Понимаете? Затем не один год он воевал под знаменами Первого Полководца. Накопив в походах немного золота и серебра, отец купил маленький домик в Хризополисе — это предместье по ту сторону Боспора — и занялся гончарным делом. Изготавливая простую глиняную посуду для бедняков, сам же и продавал ее. Недорого, конечно. Ибо так поступать учил нас Иисус Христос. А отец очень верил в Христа и его учение. Но был монофизитом. Он считал, что Иисус никогда не был и не мог быть земным человеком. Он не понимал, не мог понять, как это можно быть и смертным человеком и бессмертным богом одновременно. Подобно всем монофизитам, отец был убежден, что Божий Сын мог быть только богом и никем иным. Потому мы и пострадали...

— За то, что верили в своего бога? Как же так?

— А вот так. Император не допускал иных суждений, кроме своих собственных, никому не прощал какого бы то ни было инакомыслия. И особенно придирался к нам, монофизитам, хотя наша добрая Императрица сочувствовала незаслуженным страданиям монофизитов, старалась помогать им и часто заступалась за них перед своим великим супругом. Но не всегда ее заступничество помогало, и в том нельзя ее винить. Ведь как ни говори, а один Император был ей, понятно, дороже всех монофизитов, вместе взятых... Дайте пить, во рту сохнет...

Ему дали прохладной ключевой воды.

— В конце концов, — продолжал грек, — моего отца обвинили по статье из сорок восьмой книги Дигест. Это наш свод законов, в нем всего пятьдесят книг. На отца донесла одна рабыня соседа, тоже гончара, но более богатого. Этот сосед был зол на нас за то, что отец отказался продать ему свою мастерскую и поступить к нему в подмастерья. Но отец и сам был неплохим мастером, к тому же он не мог забыть, как горек господский хлеб и как тяжелы ступени господского дома. Вот, надо полагать, обозленный сосед и научил свою рабыню... Дело в том, что в нашей империи рабы имеют право доносить на свободных граждан лишь в одном случае: если речь идет о политическом правонарушении, предусмотренном в статьях сорок восьмой книги Дигест. Отцу приписали оскорбление императорского величия, хотя никто в нашей семье и никто из наших друзей не мог поверить в подобное. Все

мы знали, как почтительно отзывался всегда отец о священной особе Императора, даже в периоды очередных гонений на монофизитов. Мы знали, что отец честно воевал с вестготами и персами, за что получил несколько новеньких золотых из рук самого Первого Полководца. Одну такую монету, с изображением Императора, наша семья ни на что не тратила даже в самые трудные времена и хранила ее как реликвию, как память о воинской доблести и верности отца. А его обвинили в оскорблении императорского величия... Это было равносильно обвинению в государственной измене. И отец был повешен. А мы... Дайте еще попить... Спаси вас Христос... А мы остались нищими. Потому что все наше имущество было конфисковано, а мастерская передана тому самому соседу-гончару... Мать от всего пережитого лишилась рассудка и бегала по улицам в черных отрепьях, с распущенными седыми волосами, куда ее не сшибла проезжавшая военная квадрига... А мы... У вас нет вина? Хоть немного...

Ему принесли полный ковш кислого местного вина, однако Воислав разрешил сделать лишь два глотка, опасаясь, что ослабевший грек опьянеет и не сможет продолжать свой рассказ. Остаток вина допил дружинник-пересказчик, вытер усы и вновь принялся пересказывать, по возможности слово в слово.

— У нас в империи есть такой закон. Если твой отец был обвинен в преступлении, значит, и ты виновен. Особенно если нарушались законы по статьям из сорок восьмой книги... В то время как одни незаслуженно страдали за провинности своих отцов, другие незаслуженно наслаждались жизнью за привилегии своих отцов. Теперь я вижу, как это несправедливо, а тогда... Тогда я еще не научился думать... Так все мы, осиротевшие дети повешенного, неожиданно-негаданно оказались государственными преступниками. Старшей сестре пришлось отправиться в публичный дом, чтобы накопить хоть минимум средств на еду и одежду, пока молода и привлекательна. Двух братьев-подростков продали в рабство. По двадцать номисм за каждого, как за еще не обученных какому-либо ремеслу. Эти сорок номисм мы отдали настоятельнице одного женского монастыря, умолив ее взять к себе младшую сестренку, которой тогда еще не исполнилось и двенадцати лет. Мне же...

Грек внезапно замолчал. Ему предложили еще

воды — он отрицательно помотал головой. Тогда Воислав, чтобы помочь рассказчику, задал вопрос:

— А где они сейчас, твои братья и сестры? Знаешь ты о них что-нибудь?

Тот снова помотал головой, но затем все же опять заговорил:

— Я ничего о них не знаю. Давно ничего не знаю. Как и они обо мне. Мне, старшему сыну государственного преступника, должны были отсечь голову. Голову, в которой непременно должны были рождаться и плодиться не угодные Императору мысли. Пускай бы отсекали! Так, наверное, было бы лучше... Но я был молод и не готов к смерти. Я не терял надежды на удовольствия жизни, которых не успел еще познать. И я проявил слабость духа. Я, сын такого отца!.. Я отдал судье последнее наше богатство, последнюю память об отце — тот самый неприкосновенный золотой с изображением Императора... Смертную казнь мне заменили пожизненным наказанием — заковали в цепь и отправили гребцом на галеру-катаргу. Остальное вы знаете из рассказов моих товарищей.

— Чего бы ты желал? — спросил Воислав, как спрашивал и всех предыдущих рассказчиков.

— Остаться с моими товарищами, — ответил грек Филоктимон. — Быть там, где они. Делать то, что делают они.

Боярин помолчал, разглядывая с состраданием обтнутые перегоревшей кожей живые скелеты. Продать их? Много ли дадут за таких?.. Отправить рабами к Горам? Дойдут ли?.. Взять в дружину? Какие из них теперь бойцы?.. Души-то, правда, боевые, да плоть немощна... А что? Не беда, можно и откормить. Откормить да обучить...

— Ладно, — сказал антский боярин Воислав. — Воротится наш князь, он и решит. Будем ждать князя. А пока оставайтесь все, кто желает, с нами. Ешьте и пейте вволю.

23. ШЕЛКОВАЯ ТКАНЬ

Неприятное осталось позади. Теперь Белославе казалось, что это не она, жена князя полянского, опустилась перед Императрицей и касалась губами червонного башмачка, пахнувшего тонкой кожей и еще чем-то неведомым,

чуждым. Если бы не суровый наказ Кия, ничто не заставило бы ее совершить подобное. Но Кий сказал: так надобно. Надобно было — вырвала из души память об отце своем Власте и о вчерашней земле своей. Теперь ее земля — на Горах, где княжит муж ее. И нет для Белославы иного повелителя. Скажи ей Кий, что надобно отсечь руку себе — отсекла бы... Нет, сама бы не сумела — попросила бы кого-нибудь. Лишь в одном ослушалась бы мужа: если бы велел хоть раз остаться в покоях другого — дескать, так надо. Тут уж... пускай бы казнил. Но какая нечистая сила навела такие дурные думы? Никогда ее муж, ее князь и повелитель не потребует подобного!..

Теперь неприятное было позади, и ничто не напоминало о тех мгновеньях унижения.

Императрица восседала напротив Белославы за столом, уставленным золотой в узорах посудой с невиданными плодами и сладостями, потчевала радушно и улыбалась приветливо. Невысокая и тонкая, как девчонка, она была в долгом фиолетовом одеянии, расшитом широкими золотыми узорами. Всю грудь усеяли каменья в золотых оправках, они вспыхивали звездным сиянием при каждом вздохе императрицы. Высокая золотая диадема увенчивала аккуратную головку, в черных волосах вплетены были нити жемчугов, ниспадавшие вдоль тонкой шеи до нешироких и покатых плеч.

Окружавшие ее многочисленные жены и девы в длинных светлых платьях, украшенных цветными нитями и полуприкрытых золотистой парчой и яркими плащами, со сплошь закрывающими грудь драгоценными ожерельями, со звездно-мерцающими камнями в черных и рыжеватых приподнятых прическах — все они, одна другой ярче, краше и наряднее, — не могли, однако, затмить диво-света больших глаз Императрицы. Хотя и темные до черноты, глаза эти будто освещали из-под сросшихся бровей и ее по-детски малое личико, и все окрест.

Здесь же находились несколько знатных придворных сановников, в их числе — личный референдарий Императрицы, ведавший прошениями на ее имя, всюду предшествовавший ей силенциарий, камергеры, а также несколько евнухов — постарше и помоложе. Белослава увидела среди них и того щуплого безбородого военачальника с насмешливыми воспаленными глазами, о котором Кий сказал давеча, что славнее и разумнее его трудно сыскать мужа, хотя и борода не растет.

В глубине покоев, в полумраке поблескивали доспехи неподвижных гвардейцев. Слуги неслышно, будто души умерших, появлялись с новыми яствами и тут же исчезали.

А рядом с Белославой сидели всего лишь пятеро ее спутниц-родственников, и никого более с их стороны стола не находилось.

Ромейский отрок-пересказчик с нежными, как у девы, щеками, не поднимая долгих прямых ресниц, похожих на малые черные стрелы, бойко и смышлено помогал разговору: Императрица не понимала антской речи, а полянская княгиня не владела ни греческим, ни латынью.

Вот хозяйка сказала что-то немногословно, не переставая улыбаться и выразительно указав своими черными глазищами на одно из блюд,— пересказчик тут же повторил по-антски:

— Очень прошу дорогую гостью отведать этих плодов.

Белослава отведала — и впрямь сладость необычная.

Императрица и себе взяла такой же плод из того же блюда, надкусила ровными зубками и по-свойски подмигнула. И не требовалось тут никакого пересказчика — Белослава уразумела. Мол, ведь правда вкусно? Только мы, жены, знаем толк в сладости. А мужи — что они в этом смыслят? Даже жаль их, бедняжек...

И снова нечистая сила навеяла дурные думы. Подумалось, что посиди ее Кий раз-другой вот так за одним столом супротив этой неотразимой красавицы,— не утерпит, позабудет и Белославу, и Всемилу, и всех полян, и Горы, и Днепр... Собралась с духом, отогнала прочь дурную думу. И не заметила, что при том чуть нахмурилась. А Императрица все примечала тотчас. И отрок-пересказчик повторил по-антски ее вопрос:

— Чем озабочена дорогая гостя моя? Не смогу ли помочь?

Белослава улыбнулась принужденно, молча покачала головой: нет-нет, все хорошо, даже очень! И подумала: даже слишком...

Сидевшая рядом с Императрицей дородная жена с надменно приспущенным уголком небольшого рта, с серо-зелеными глазами под аккуратными бровками на круглом белом лице, что-то зашептала своей владычице. Та же в ответ лишь забавно выпятила нижнюю губу, то ли соглашаясь, то ли нет. Затем повела долгую речь,

время от времени останавливаясь, чтобы отрок успел пересказать.

— Мы заметили,— говорила она,— что наши дорогие гости очень красиво и со вкусом одеты. И заметили также, что они с интересом глядят на наши наряды. Нам приятно такое внимание...

А наряды наши,— продолжала она,— сшиты из разных тканей, своих и привозных. Особо приятны для тела и для глаз ткани шелковые. Прежде мы не имели своего шелка, его к нам привозили из далекой восточной империи, где у всех людей желтая кожа и всегда смеющиеся глаза, даже если те люди горюют...

Шелковая нить,— разъясняла императрица,— изготавливается не из растений, подобно льну либо хлопку. Ее изготавливает особый червяк, он создает из этой нити сам себе саркофаг, называемый коконом. И в том коконе сам себя хоронит. Проходит время, и душа червяка возрождается, обретает крылья и вылетает из саркофага-кокона уже в образе бабочки. Она же отложит множество крохотных шариков-яичек, из них со временем, народившись, выходят новые маленькие червячки, каждый из них растет и вскоре принимается за изготовление шелковой нити и саркофага-кокона. Так все повторяется и повторяется без конца...

— Когда-то мы не знали этой тайны,— пересказывал отрок.— Ее знали только далековосточные желтые люди с вечно смеющимися глазами. Они научились добывать шелковую нить из того кокона-саркофага. Их ткачи изготавливают множество шелковых тканей разной тонкости, а их торговцы продают эти ткани в другие земли за немалую цену. И нам год за годом приходилось очень дорого платить за привозной шелк. К тому же персы то и дело не пускали к нам через свои дороги далековосточных торговцев. И наши торговцы никак не могли перепродавать шелка вам и другим народам по более низкой цене. Продавали еще дороже, ведь если у торговца не будет прибыли, он не станет торговать. Не так ли?..

Белослава и ее спутницы внимали раскрыв глаза, а кое-кто и рот. А Императрица все говорила и говорила — негромко так, приятно улыбаясь, а отрок все пересказывал и пересказывал, не поднимая своих черных стрел-ресниц.

— ...Но нет ничего тайного, что не стало бы для нас явным. И как ни оберегала та далековосточная империя

свой секрет изготовления шелка, от нас, от Второго Рима, уберечь того секрета не сумела. Давно ли, недавно ли, суть не в том... два наших монаха добрались через необъятные знойные пустыни и через снега высочайших гор до той далековосточной империи, чтобы поведать желтым людям с вечно смеющимися глазами о жизни Христа и его учении, о пречистой деве Марии и Святой Троице, обратить их, заблудших, в нашу веру. Но не только о вере помышляли мужественные монахи, они помнили и о своей империи — оплоте христианской веры, помнили об интересах своей страны и своего народа. Они воротились на родину, снова пройдя холодные высокогорные снега и жаркие бескрайние пустыни. Они пришли в Константинополь, изможденные и постаревшие, опираясь на свои длинные посохи. А внутри их посохов, в специально выдолбленных полостях-тайниках находились малюсенькие шарики-яички, из которых — уже здесь, у нас! — вывелись те самые черви, дающие шелковую нить. Так тайна перестала быть тайной. Так появился у нас свой собственный шелк. И не страшны стали козни персов. А наши мастерские, принадлежащие только Императору и никому другому, теперь изготавливают шелковые ткани не хуже прежних, привозных.

Тут она прервала свою речь, как бы для передышки, бесшумные слуги принесли новые плоды и сладости, которыми опять и опять попотчевали гостей, после чего Императрица сказала:

— Наш преосвященнейший Император посовещался со мной — а он всегда и во всем со мной совещается — и принял мудрое решение: запретить продажу шелковых тканей за пределы границ государства. Иначе какие-нибудь язычники-варвары... о нет, к антам это не относится, анты — особый народ!.. я говорю о диких, некультурных иноземцах — вандалах, гуннах, склавинах и прочих... так мы с Императором не могли допустить, чтобы все эти дикари щеголяли в шелках, в то время как даже не все свободные граждане Второго Рима в состоянии позволить себе подобную роскошь...

Что-то насторожило Белославу, не по душе пришлось, но что именно — уразуметь не могла. Жаль, Кий не слышит — он бы тотчас разобрался. Надо будет все по возможности запомнить и поведать ему, что говорит Императрица, которая, кстати, будто почуяв неладное, тут же увела свою речь в сторону. Как опытный наездник,

подлетевший на всем скаку к неожиданной преграде, не останавливая коня, умело сворачивает и обходит ту преграду.

— Но мы можем позволить себе... нет, не продать, ведь нарушить запрет Императора никто не осмелится... а вот подарить, не продать — подарить! — нашим дорогим гостям, нашим новым и столь приятным друзьям...

Сейчас Императрица вела речь уже не плавную и гладкую, как Истр в нижнем своем течении, а прерывистую, будто от душевной взволнованности. И пока она вот так прерывисто говорила — неведомо кто, когда и как успел распорядиться, — вошли один за другим неслышной походкой семеро слуг, каждый с великой ношей на голове.

Двое приблизились к Белославе, остальные пятеро — к пятерым ее спутницам. Торжественно сложили перед изумленными полянскими женами свою ношу, поклонились молча и исчезли, будто их здесь вовсе не было только что. Может, привиделось? Нет, не могло привидеться, ибо перед каждой лежал теперь великий сверток тончайшей и яркой шелковой ткани. А перед Белославой — два свертка: золотистый, под цвет волос, и лазоревый, как ее глаза.

24. ГОЛОВНОЙ РАЗГОВОР

Император Второго Рима, прозванный к тому же Вandalьским, Африканским, Готским, Алеманнским, Гуннским... — каких только званий тут не было, всех не перечесть! — на сей раз был простоволос и одет в темно-бурую тогу без украшений, именно таким своим видом выделяясь среди немногих сопровождавших его приближенных, сверкавших золотом и камнями на ярких нарядных одеждах. Император принимал антского князя Кия в одном из невеликих покоев Вуколеона, своего жилища, где в полумраке на едва освещенных стенах видны были намалеванные несмываемыми красками-фресками разные случаи из ромейской жизни — осада крепости, охота на зверя, строительство храма...

Рядом с Императором, за недолгим столом, восседали всего четверо ромейских мужей, в их числе — Безбородый.

На другой стороне стола усадили троих гостей: с Кием были здесь Хорив и Горазд.

Стол был уставлен золотыми и серебряными блю-

дами с изображениями сражавшихся бойцов и самого Императора — то на коне, то пешего с копьем, либо одни только голова да плечи. На блюдах лежали невиданные плоды, различное мясо с подливами, всевозможная птица, рыба — свежая и соленая, сладости, пряности и всякая прочая изысканная снедь. Сосуды с вином и кубки также были из серебра и золота, тоже с разными изображениями и узорами.

У входа и в углах, сплошь в золоте, недвижимо стояли рослые гвардейцы-спитарии. Бесшумными тенями, как приднепровские кожаны¹, сновали туда-сюда слуги.

Безбородый пристально глядел на полян своими разумными насмешливыми глазами. Другие ромеи тоже глядели, но будто — глядя — не видели. Пыжились, как тетерева на току. И только Император взирал просто, приветливо, все круглое большеглазое лицо его то и дело радушно улыбалось, а голос звучал мягко и негромко, словно баюкал.

— Отведайте наших вин, — говорил он. — Здесь лучшие вина империи. Вот, к примеру, легкое светлое вино из Палестины. А это, покрепче, из Аттики. Попробуй, князь... Ну как, нравится?

Кий отпил и подтвердил: да, люблю.

— Мы получаем их отовсюду — из Сирии и Африки, из Египта и Тавриды... И все — разные. А теперь отведай вот этого, с Кипра. Особый вкус, не так ли? Древние, еще в пору язычества, полагали, что на Кипре родилась богиня любви, греки называли ее Афродитой, а римляне — Венерой. После такого вина и впрямь захочется любовных утех, а? Но наша христианская вера не допускает многоженства...

Кий насторожился. Он знал: ромеи пронюхали, что Белослава — не единственная его жена, что на Горах осталась еще Всемила. Да разве шило в мешке утаишь? Куда же повернет теперь разговор Император? Но тот говорил, никуда вроде не поворачивая. Говорил непринужденно, потчует полян и приближенных своих, а те знай себе пили, жевали и внимали. Кий половины сказанного не разумел, но старался запомнить, чтобы после расспросить.

— ...А лесбосское, на мой лично вкус, лучше пале-

¹ К о ж а н — вид летучей мыши.

стинского. Когда-то на Лесбосе жила гречанка Сафо, слог ее стихов весьма изыскан... А теперь предлагаю испробовать божественный напиток, изготовленный славными виноделами Итаки. Хитроумный Одиссей, герой языческого эпоса, так и не доплыл бы до своей Итаки, где ждала его верная Пенелопа... Послушай-ка, это тебя касается,— Император шутливо толкнул локтем сидевшего рядом толстяка с бледно-зеленым, как его хитон, лицом, который вытягивал кубок за кубком и с нескрываемым наслаждением пожирал все, что ни попадало под руку.— Это поучительно для тебя, драгоценный мой шалун и чревоугодник! Я говорю, что Улисс¹ не доплыл бы до Итаки, если бы не решился во время шторма выбросить в море золотую статую Посейдона. Наполним же наши кубки вином с Итаки и осушим их за то, чтобы не страшиться жертвовать золото ради достижения заветной цели!

Поляне с удовольствием пробовали все эти замысловатые ромейские вина и налегали на мясные блюда. Не отставали и остальные. Только Император не прикасался ни к вину, которое сам так хвалил, ни к мясу, лишь отведал несколько плодов. От выпитых вин гости чувствовали себя свободнее, хозяин изъяснялся их родной речью и держался просто, вовсе не по-ромейски,— в конце концов Хорив не выдержал и спросил:

— Отчего Император так щедро потчует всех нас и так занятно рассказывает о вине, а сам не пьет нисколько? И ест менее дитяти...

Тут он смущенно осекся под строгими взорами Кия и Горазда.

Но Император не обиделся, засмеялся добродушно и с явным желанием ответил:

— Да, я так же мало ем, как и мало сплю. И, справедливо заметил юный ант, не пью вина. Зато мои верные друзья и дорогие гости могут есть и пить по потребности. И даже сверх потребности, если пожелают. Разве это так уж дурно? Разве лучше было бы наоборот — базилевс много ел бы и пил, а остальные при этом голодали и томилась жаждой?.. Налейте моего юному гостю фалернского. Это вино пили еще древнеримские императоры, великое дело которых мы с божьей помощью продолжаем. Осушим же наши кубки за здоровье дорогих

¹ У л и с с — Одиссей.

антских гостей! За здоровье славного князя Кия, его юного брата Хорива и мудрого боярина Горазда!

Кий поблагодарил, затем в свою очередь предложил выпить за здоровье Императора и его ближних. А сам подумал, что хозяин оттого не пьет вина и не ест мяса, что много силы ему не требуется, поскольку сам в сечах не участвует. Полянский же князь не мог позволить себе подобного воздержания. Да и незачем. Посему он продолжал пить и закусывать, по привычке не хмелея и не переедая. И уж конечно, не мог тягаться с бледнолицым обжорой-толстяком в светло-зеленом хитоне, в котором, приглядевшись, узнал самого комита священных щедрот, ведавшего имперской казной, славившегося не только чревоугодием и равнодушием к женскому роду, но еще и великой скарденностью.

Однако последнее слово было здесь не за комитами, а за Императором. И гости еще раз убедились в этом, когда после пира хозяин щедро одарил их. Всем троим были вручены — каждому по его мерке — украшенные жемчугами шелковые одежды, золототканые парчовые покрывала с изображением Императора, подкованные полусапожки из мягкой узорчатой кожи, а также ромейские шеломы с перьями и панцири — Кию золоченые, а Хориву и Горазду крытые серебром. Но все это было после. А пока пир лишь набирал силу, и головной разговор только начинался.

Кий не чувствовал себя захмелевшим. Но, подобно сбившемуся с ноги коню, несколько ошалел. После всего, что изведal, узрел и услышал, никак не ждал от Императора такой простоты и ласковости. Чудные думы одолевали князя. То хотелось, чтобы Император оказался его родичем. То взбредало в голову даже такое, что лучшего царя, чем сей Император, полянам и всем антам не сыскать... Но может, все это перемешанные ромейские вина коварно действуют? Надобно совладать с собой и не поддаваться. Потому что — князь чуял — головной разговор уже на подходе...

Теперь заговорил седобородый старец в светлом одеянии, с великим золотым крестом на цепи. Произнеся сколько-то слов по-ромейски, он останавливался, чтобы дать возможность Горазду пересказать. Император слушал внимательно, как бы проверяя верность пересказа.

— Как правило,— говорил старец,— Второй Рим заключает военные союзы только с теми народами, которые

отрекаются от невежественного язычества и принимают единственно истинную, нашу православную веру, не впадая при этом в какую-либо ересь. Ибо только в тех союзниках мы можем быть уверены, которые признают Спасителя и правильно толкуют его учение. Особенно это относится к вождям. Я помню не столь давнее время, когда среди антов нашлись разумные вожди, которые приняли нашу веру и заняли высокие военные посты в империи. Хотя остальные анты и по нынешний день остаются в заблуждении, поклоняясь своим языческим богам...

Кий гордо вскинул голову, едва сдерживаясь, чтобы не грянуть кулаком по хлипкому столику, чтобы разлетелось окрест все красующееся на нем серебро и золото. Но тут вмешался Император. Остановив спокойным жестом пересказывавшего Горазда, он молвил по-антски:

— Я вынужден прервать... Все сказанное только что нашим антским гостям известно. Всегда ли надо снова и снова повторять известное? Нет, не всегда. Зачем говорить другу то, что друг и без тебя знает? Зачем напоминать о том, что и так не забыто? Не так ли? Мы тут несколько увлеклись и без особой нужды повторили общеизвестное. Но мы не успели сказать то, чего наши дорогие гости, возможно, не знают. У меня на военной службе немало готов-федератов. Правда, в гвардию зачислены только те из них, кто принял нашу веру. Но на границах империи, возглавляемые своими же вождями, мне служит множество готов, причем готов еще не крещенных. Хочу сказать, что для надежных друзей я могу делать исключение из своих правил. А тебя, дорогой князь, я смело считаю своим надежным другом. И не ставлю условия, чтобы ты отвернулся от своих привычных богов и непременно крестился, коль скоро душа твоя не готова к этому. То же самое могу сказать о твоих родичах и прочих антах. Хотя позволь мне не изгонять из своей души надежду, что со временем мой друг придет в лоно православной церкви, придет по своему собственному желанию, никем не приневоленный. Придет сам и приведет своих антов. Но, повторяю, никто здесь не посмеет как бы то ни было неволивать моего друга, славного князя Кия...

Кий несколько успокоился. Тем паче что взбаламутивший его старец помалкивал, а вслед за Императором заговорил любезный княжескому сердцу Безбородый.

— Мой великий Император,— начал он, также временами останавливаясь и выжидая, пока Горазд пере-

скажет, — поручил мне информировать князя о наших пограничных укреплениях вдоль правого берега Истра. Надеюсь, что сумею выполнить это ответственное поручение. Надеюсь, что наш дорогой гость и друг поможет мне выполнить его, внимательно и терпеливо слушая. Полагаю, князю будет интересно то, что он услышит...

«Вот где головной разговор!» — подумал Кий. А Горазд продолжал пересказывать речь Безбородого:

— Вдоль правого берега Истра, как и вдоль всех необозримых границ нашей империи, стоит множество городов, великих и малых. Наш дальновидный Император укрепил их стенами и башнями, в каждом городе построена цитадель — центральная крепость. В цитаделях стоят сильные гарнизоны, способные принять подкрепление или выйти на помощь соседу. За городскими стенами может укрыться окрестное население в случае вражеского набега. Между цитаделями, достаточно близко один от другого, расположены посты-крепости с малыми гарнизонами. Их задача — охранять свои участки границы, следить за приближением неприятеля и поддерживать присланные на подмогу войска. Каждая цитадель и каждая промежуточная крепость достаточно снабжены водой, съестными припасами и фуражом. Все они соединены меж собой и с Константинополем прямыми дорогами, вдоль которых также построены крепкие сторожевые башни. Население каждой провинции обязано ремонтировать эти дороги...

— Введена специальная повинность, — вставил комит священных щедрот, продолжая пить и жевать, в то время как все остальные приостановили трапезу.

— Такова система наших укреплений на Истре, — закончил Безбородый. — Всех цитаделей и постов шесть сотен и восемь десятков, поставлены они в три линии. Князь, если пожелает, сможет увидеть все это своими глазами и еще раз убедиться, как мы ему доверяем.

— Более того, — снова вступил в разговор Император. — Я склонен оказать сильнейшему из антских князей еще большее доверие. Я готов доверить ему и его антам охрану своей северной границы. За это имперская казна четыре раза ежегодно будет выплачивать князю достаточно золота, чтобы он мог содержать свою сильную дружину и сделать ее еще сильнее...

Кий вздрогнул. Откуда выведал Император его заветную мечту о самой сильной собственной дружине? Вы-

дать некому — князь даже с братьями не делился теми думами. Выходит, Император — ведун, вроде волхвов?

А Император, словно подтверждая эту княжью догадку, говорил:

— ...Опираясь на помощь могущественного Второго Рима и на наши неприступные крепости, антский князь легче и скорее разобьет и, если пожелает, покорит этих дикарей-склавинов, которые в безумии своем не только нападают на империю, но, насколько мне известно, вероломно выступают против своих сородичей-антов. Если их не наказать, они не дадут тебе покоя, князь! Надеюсь, мой друг Кий понимает, что склавины не простят ему отказа участвовать в совместном грабеже моих владений? Я не хочу вспоминать то, что было прежде. Как это говорится у антов, кто давнее припомнит, того — ослепить? Так говорят у вас, да? Я предлагаю всем нам глядеть вперед, а не назад...

Кий, Хорив и Горазд слушали речь Императора напряженно выпрямившись, понимая, что сейчас, здесь вот, решается завтрашний день каждого, решается доля всех полян. Хмель из головы выдуло — будто и вовсе не было.

— ...А впереди, — продолжал Император, — еще одна опасность. Абары! Они набирают силу и надвигаются с востока, откуда прежде шли гунны. Они дойдут до вашего Самбатаса на Борисфене, до ваших селений, там ничего не остановит их. Их смогут остановить только наши пограничные крепости. Мы остановим и разобьем их, если будем сражаться вместе, рядом. Мы справимся и с абарами, и с остатками гуннов, и с неразумными склавинами, если вместе, плечо к плечу, встанем на Истре. Под защитой крепостей Второго Рима тебе и твоим антам никто не будет страшен. Подумай, князь! Ведь ты разумный вождь, ты не можешь не видеть своей выгоды и упустить ее.

— Я разумею, — сказал Кий. — В чем моя выгода, вижу и разумею. Но хочу уразуметь, в чем же тут выгода ромеев?

— Похвально! — Император весело рассмеялся. — Люблю, когда говорят прямо и откровенно. Дружья только так и должны говорить между собой. Ты прямо и откровенно спросил. Я прямо и откровенно отвечаю. У тебя в Самбатасе и вокруг него нет таких неприступных крепостей, как мои, а у меня сегодня нету стольких славных

воинов, как твои анты. У меня немало гвардейцев и федератов, но моя империя растет, мне нужно завтра иметь больше войска, больше союзников, чем я имел вчера. Видишь, я не скрываю от тебя своей выгоды. Мне нужен такой разумный, сильный и надежный военный союзник, как ты, князь. Что тебе еще невдомек? Спрашивай — отвечу не таясь.

— Мне надобно поразмыслить, — сказал Кий.

— Разумеется! — воскликнул Император. — Какой же истинный вождь принимает необдуманные решения? Подумай и скажешь мне, что и как сам решил. И заодно подумай еще вот о чем. Я знаю, твои дружины остались на Истре, ждут тебя. А зачем им после уходить оттуда обратно к далекому Борисфену? Твоя жена и твой брат здесь, с тобой. Другой твой брат и другая твоя жена, если верны тебе, придут по первому твоему зову. А не придут — значит, неверны...

— Не разумею, — Кий снова насторожился.

— А ты дослушай, князь. Есть на Истре земли, тебе их покажут. Они не хуже твоих прежних. Там еще теплее и еще больше урожая могут собрать земледельцы. И пресной воды в Истре немало. И коням корма хватит. А под боком — наши крепости. Уразумел? Оставайся на этих землях, князь. И, если пожелаешь, ставь свой город. Я помогу, дам мастеров, рабов, золото дам. Ставь свой город и живи на новой своей земле.

— И моя земля войдет в состав твоей империи?

— Нет, князь, нет! Ты будешь единым хозяином на своей земле. Я дарю ее тебе. Уразумел, князь? Да-рю! Наши земли будут рядом, наши войска будут рядом, плечо к плечу. Кто тогда одолеет нас? Ни-кто! Есть у антов свой город на Борисфене? Сам знаешь, Самбатас — еще не город. А здесь, на Истре, в самый короткий срок вырастет город — твой город! Будет у тебя, у детей и внуков твоих, у всех антов свой город, своя цитадель. Не на Борисфене — на Истре! Подумай, князь, крепко подумай, другого такого случая у тебя не будет.

— Подумаю, — сказал Кий. — Дареному коню в зубы не смотрят, то так. Но на коне том — ездить. А посему погляжу я ту землю, про которую ты говоришь, поразмыслю и после того дам свой ответ.

— Мудрые слова твои, князь. На том и порешим. Покажем тебе ту землю и будем ждать твоего ответа. А те-

перь неплохо бы запить такой разговор. Даже у меня, непьющего, в горле пересохло. Какого вина налить гостям: фалернского или критского?

— Разреши послать за нашим медом,— улыбнулся Кий.

Это предложение явно оживило всех остальных, особенно комита священных щедрот. Принесли темно-золотистый антский мед и наполнили им золотые ромейские кубки. Подняв свой кубок, но не собираясь его осушать, Император сказал:

— Выпьем за новый город на Истре, город нашего друга, сильнейшего и мудрейшего из антских князей. Всем известно, сколько городов я построил. В одной только Африке полторы сотни... Всем известно, что многие новые города были названы моим именем либо именем моей Императрицы. Так отчего бы не назвать новый город на Истре именем его основателя, строителя и первого государя — именем антского князя Кия? Выпьем же за город Кия!

— За город Киевец!— возбужденно выкрикнул нетерпеливый Хорив и разом осушил свой кубок.

— За Киевец на Истре,— уточнил Безбородый, неторопливо смакуя крепкий антский мед.

«Кажется, удалось,— подумал Император, едва коснувшись губами края своего кубка.— Теперь граница вдоль Истра наконец-то будет надежно защищена. Пускай там анты и склавины грызут друг дружку хоть до второго пришествия. Кстати, и сильнейшие из них, анты, расколятся: половина останется на берегах Борисфена, другая же осядет на берегах Истра. Расколотые не страшны империи. И пускай примут на себя первый удар абарской грозы... Всемогущий Боже! Пресвятая Владычица! Помогите довести до завершения столь великое дерзание!»

«Я еще погляжу,— рассуждал Кий, молча потягивая знакомый напиток.— Погляжу да поразмыслю... А ведь быть мне наисильнейшим среди антов! Сбудется все по-моему, клянусь Дажбогом, сбудется!»

Часть II

ОТВЕТ ЗА ЗЕМЛЮ

1. Я БРАТ ИЛИ НЕ БРАТ?!

Бревенчатые стены со сторожевыми башнями по углам, курени для дружины, конюшни, амбары для провизии, загоны для скота и прочие постройки возводили сами поляне. Все прочие анты, пока ждали Кия, поуходили в свои земли...

Вырубали поляне боевыми секирами прибрежный лес. Бревен недоставало — пять сотен ушли вверх по Истру, где лесу было больше, валили его там, вязали в плоты и сплавляли по течению. Невеликое число взятых в полон окрестных славин под надзором сторожи также участвовали в тех работах.

На месте каких-то развалин незапамятной давности ставилась над самой рекой каменная башня, высокая, круглая, с зубцами и бойницами для стрелков. Как у ромеев... Из камня же клали основу под княжий терем и под четырехугольную надвратную башню, которую ставили лицом к берегу, супротив круглой, глядевшей на Истр. Мастеров-каменщиков и при них несколько сотен рабов-каменотесов дал Император.

Поглядывать за ними Кий поручил Хориву. Тот ничего не смыслил в укладке камня и прочих строительных премудростях, да оно и не требовалось — ромейские мастера и рабы свое дело знали. Зато молодой брат князя с приданными ему полянскими отроками не проглядит и не выпустит ни одного беглеца, ежели таковой объявится. Каждый день трижды — утром, в полдень и вечером — Хорив в сопровождении полусотни отроков объезжал участок, где находились ромей со своими рабами, любовался их слаженной работой и поглядывал, нет ли какого-либо не порядка. Те уже привыкли к молодому антскому всаднику, черноусому, на злющем вороном коне, в выгоревшем черном плаще поверх легкой

кольчуги и в надвинутом на серые глаза вороненом с золотой насечкой шелоде. Делали свое дело, не обращая на него особого внимания.

Лишь несколько рабов-каменотесов всегда провожали всадника пристальными непонятными взглядами, негромко переговариваясь на своем языке. Тогда ромейский надсмотрщик, огрев одного-другого плетью, покрикивал лениво:

— Хватит глазеть, хватит! Вонючие бараны! Ваше дело работать, а не глазеть. За что вас кормят, бездельники?

Рабы вздыхая возвращались к прерванной работе, но при каждом появлении черного сероглазого всадника все повторялось сызнова.

Однажды Хорив, не успев еще далеко отъехать, услышал за спиной злой ромейский окрик, быстро, как в бою, крутанулся и увидел: дюжий надсмотрщик так полоснул плетью старого раба, что тот схватился за ухо, и меж пальцев проступила кровь. У полян не было принято бить стариков, даже если — раб.

Хорив не успел ничего подумать, только ощутил в себе неудержимую ярость. Никто не успел опомниться, как вороной конь сшиб надсмотрщика, и жесткая антская плеть загуляла по голове упавшего. Поднялся шум и крик, набежало множество ромеев, но подоспевшие отроки Хорива живо оттеснили их конями. Рабы прервали свою работу, все ждали, что же последует далее. Стало тихо-тихо. И Хорив отчетливо услышал сипловатый немолодой голос, произнесший по-антски:

— Храни тебя бог, благородный ант. Будь всегда здоров.

Он вздрогнул, будто пробудился, и увидел перед собой нескольких рабов-каменотесов, опустившихся на колени. Один из них, тот самый старик, придерживая кровоточащее ухо, повторил тем же голосом:

— Храни тебя бог, благородный ант.

И все стоявшие на коленях коснулись лбами земли, как бы подтверждая сказанное.

Хорив всегда был скор в решениях и деяниях.

— Этих — ко мне в шатер! — и он указал на колено-преклоненных рабов. Ромеи снова подняли было шум, но бешеный сероглазый ант мгновенно выхватил меч из-под своего черного плаща, окружавшие его всадники тотчас устали свои копыта. Пришлось угомониться и отпустить

с ними кучку этих вонючих баранов. Здесь, вдали от Константинополя, с варварами лучше не спорить...

— Принесите вина, хлеба и листьев подорожника, — приказал Хорив, когда рабов ввели к нему в шатер, где было достаточно просторно, чтобы все уместились. — И оставьте нас одних.

Он велел приведенным подкрепиться, сам тоже куснул хлеба и запил вином. К рассеченному уху старика приложили свежих листьев подорожника — кровь унялась. После чего, обратившись к нему, Хорив спросил:

— Откуда знаешь нашу речь?

— Мало ли языков мы знаем! — вздохнул тот.

А другой добавил по-славински, так что Хорив уразумел:

— Своего бы не забыть...

— Иные уже и не помнят, — заметил третий, тоже по-славински.

Затем все они начали кланяться Хориву и наперебой — кто по-антски, кто по-славински, кто по-ромейски, а кто по-своему — благодарить великодушного анта и желать ему вечного здоровья. А старик с рассеченным ухом еще сказал:

— Только умоляем благородного господина, пусть выкупит нас. Нам теперь нельзя возвращаться, никого не оставят в живых, всех распнут.

— За что же? — не понял Хорив. — Ведь вы не убежали, вашей вины нет. Я вас силой увел.

— Брату антского князя, друга самого Императора, никто из них не посмеет слова лишнего сказать. А мы, бесправные рабы, все будем распяты. Вниз головой.

— Вниз головой? — переспросил Хорив и вспомнил, как ромей распяли Птаха и Данелку. Тогда анты и славины сражались еще вместе... — Как же это — вниз головой? Зачем так?

— А вот так, благородный господин. Очень даже просто. Как восемнадцать лет назад распяли тысячи наших братьев.

— Расскажите, — велел Хорив. — Где и за что их распяли? И кто вы, откуда вы?

Придерживая приложенный к уху подорожник, старый раб начал рассказывать. Остальные, слушая его, время от времени сокрушенно вздыхали либо вдруг начинали возбужденно лопотать по-своему, все разом.

— Наша земля далеко отсюда, на окраине империи. Там есть море, есть река — всего одна, а вокруг — на плоскогорьях — пустыня. Наши прадеды когда-то жили свободно, возделывали прибрежные земли и пасли скот весной на плоскогорьях, когда даже пустыня зацветает... Но, как это бывало со многими, жили они меж собой не дружно, отдельные племена и роды то бранились, то мирились. Когда мирились — народ дышал свободно. Когда бранились — этим пользовались соседи и набегали. Наша земля потеряла свободу. Временами в народе рождались и вырастали смелые вожаки, они поднимали восстания. Но ни одно не завершилось освобождением. Последнее было восемнадцать лет назад. Имперские солдаты и монахи-миссионеры начали разрушать наши храмы и строить свои, они насильно крестили наших детей. Император не терпит ничьей веры, кроме своей...

— Как же так? — возразил Хорив. — А наша, полянская вера? Он не мешает нам молиться своим богам и приносить жертвы.

— А предлагал ли он антам принять христианство?

— Предлагал. Но не заставлял.

— Потому что вы ему нужны. Поверь мне, много прожившему и многое испытавшему! Придет час, и он поступит с вами так же, как поступил с нами. Как поступает со всеми...

— Нет, старик! — уверенно заявил Хорив. — С нами будет только то, чего пожелают боги и захотим мы сами... Рассказывай дальше про свой народ.

— Повинуюсь, благородный ант... Внимай же... Некоторые из нас, особенно кто побогаче, уехали в другие земли. Иные же предали своего бога, изменили вере своих отцов и получили за это от Императора выгодные должности. А нам, беднякам, не пожелавшим стать предателями и вероотступниками, что оставалось делать? У нас нашелся молодой вождь, сын достойного отца, отчаянная голова. И мы снова восстали. О, как горели христианские храмы и дома вероотступников! Как горела вся наша земля под ногами имперских солдат! И это — не в последний раз, нет!..

Тут все находившиеся в шатре рабы разволновались, как река под ветром, заговорили непонятно все разом и подняли такой шум, что стоявший у входа отрок-копейщик заглянул, встревоженный.

Хорив жестом отослал копейщика и сурово прикрикнул на рабов, повелев говорить одному только старику, а остальным — помалкивать.

— Голова нашего вожака, — продолжал старик, — была не только отчаянная, но и умная. Он знал, когда начинать. Император в то время как раз вел мирные переговоры с персами. Но те, тоже не дураки, услышав о нашем восстании, прервали переговоры. Мы надеялись на помощь персов, вспоминая, как много столетий тому назад их благородный царь Кир, справедливейший из владык, помог нашему народу освободиться от угнетателей-чужеземцев. Но то было так давно! А теперь и персы не те, и времена другие... У Императора не хватило войска, чтобы и с персами воевать, и с восставшей провинцией справиться. Зато у него хватило золота, чтобы подкупить и натравить на нас соседние племена... Тяжело об этом вспоминать и тяжело об этом говорить. Но я доскажу... Умная и отчаянная голова нашего незабвенного вожака, предательски схваченного, была отсечена и отправлена в подарок Императору. И мы, повстанцы, остались без головы. А когда тело без головы, даже самое сильное, его не так уж трудно повалить... Двадцать тысяч повстанцев были убиты в бою или распяты вниз головой. Еще двадцать тысяч попали в рабство, в том числе даже девушки и дети. Одних каратели-соседи оставили себе, других подарили Императору, многих продали в Эфиопию и Персию. Хотя империя уже снова воевала с Персией... Но не все ли равно, кому продавать или дарить рабов! По выгодной цене их всякий купит, а от подарков никто не отказывается...

— Уразумел, вас подарили Императору, — прервал нетерпеливо Хорив, которому теперь стало все ясно и не хотелось более продолжать этот затянувшийся разговор. Хотелось выйти из шатра, вскочить на коня и мчаться вдоль берега навстречу свежему ветру — остудить голову, утомленную услышанным. Но как быть с несчастными рабами, которых он так неосмотрительно отнял у их господ-ромеев? Старший брат, надо полагать, не похвалит...

— Чего вы желаете? — спросил Хорив.

Те, обменявшись по-своему немногими словами, отвели:

— Об одном умоляем, благородный ант! Все о том же. Не возвращай нас, выкупи, оставь у себя. Мы будем

твоими верными рабами. Мы пригодимся антам. Мы умеем тесать камни, но мы умеем и многое другое.

— Что же вы еще умеете?

— О, многое!— воскликнул старик.— Я, например, неплохо знаю языки — свой, греческий, латинский, а также антский, как ты мог удостовериться. И не я один...

— Что еще вы можете?

— Среди нас есть мастер, умеющий изготавливать украшения из золота и серебра.

— А оружие?

— Он будет украшать ваше оружие. Но один из нас знает секрет изготовления таких мечей, которые гнутся и тут же выпрямляются, не ломаясь при этом. Наши имперские хозяева не знают об этих умениях своих рабов, они убеждены, что мы можем быть только каменотесами. Но от тебя у нас нет ничего тайного. Выкупи нас! Не пожалеешь...

— Я потолкую с князем,— ответил Хорив.— Ему решать. Подождете возле моего шатра, здесь вас никто не тронет. Идите!

Они начали кланяясь выходить по одному. Последним уходил старик с рассеченным ухом. Он вдруг замешкался и, видимо решившись, обратился к Хориву:

— Позволь мне, благородный ант, прежде чем уйти, задать тебе один вопрос без свидетелей.

— Останься,— разрешил Хорив.— Спрашивай.

— Прости меня, если я спрошу то, чего мне не следует знать. Не гневайся...

— Говори же!

— Ты не похож на других антов. Мы все это заметили. Ты похож на сыновей нашего народа. У меня был племянник, его распяли, бедного мальчика... Твое лицо так похоже на его лицо! Скажи мне, если можно, ты ант или не ант? И прости, если я спросил то, чего не следовало спрашивать.

Оторопевший Хорив ответил не сразу.

— Какой чудной вопрос задал ты мне, старик. Мой отец Рекс был ант, он был полянским князем. Мои братья — поляне, сестра — тоже, мы все поляне, все анты. Кто же я, по-твоему?

— Ты — наш, ты — сын нашего народа,— тихо, но убежденно ответил старый раб и, в ужасе от дерзости сказанного, закрыл голову руками, ожидая удара.

Но загадочный брат антского князя не ударил. И в голосе его не было гнева — только недоумение.

— Нет, старик, я не сын твоего народа. Я сын полянского вожака Рекса и брат полянского князя Кия. А тебе взбрело в голову подобное, потому что мое лицо похоже на лицо твоего племянника? Но ведь в каждом народе, в каждом племени есть разные лица. И люди разных народов, разных племен хотя и отличаются меж собой, но могут быть чем-то и похожи друг на друга, как различны и в то же время сходны меж собой кони разных мастей и пород. У всех коней, рыжих и серых, ромейских и антских, одна голова, четыре ноги и один хвост, а рук нету. У всех людей, антов и ромеев, готов и гуннов, тоже одна голова, но две ноги, две руки и нету хвоста... Ты что-то путаешь, старик! Наверное, тебе жалко племянника, вот ты и замечаешь всех, кто похож на него.

— Если бы только я...— пробормотал тот со вздохом.— Ведь мы все не слепые...

— Иди!— теперь в голосе загадочного анта послышалось нетерпение.— Иди к своим! И ждите.

Едва только раб удалился, послышался оборвавшийся конский топот, громкие голоса, тут же смолкнувшие, и в шатер шагнул Кий, гневно сведя брови-крылья. Отшвырнув плащ и шапку, он отстегнул меч и, тяжело дыша, уселся на одно из лежавших в шатре седел.

— Садись!— указал на другое седло почтительно вставшему было Хориву.— Садись-садись! И поведай, что ты там натворил. Отчего ромеи пришли ко мне бить челом на тебя? Кто такие здесь, у твоего шатра? Не те ли рабы, которых ты у мастеров отбил?

— Они самые,— и Хорив коротко поведал о происшедшем и о просьбе рабов, умолчав пока, однако, о последнем своем разговоре со стариком.

— Рабов придется воротить ромеям,— твердо заявил Кий.— Распнут они их или в Истре утопят, то не наша с тобой забота. Наша с тобой забота — город поставить и не пускать славинов через реку. Наша забота — помнить уговор с Императором и не обижать ромеев.

Хорив молчал, побледнев и закусив губу. Мог ли он перечить старшему брату? Мог ли перечить своему князю? Князю — нет, не смел. А брату... Брату ли?.. Может, старый раб чего-то недосказал?..

— Не смею тебе перечить,— произнес Хорив, не

глядя на князя.— Смею только просить. Ежели ты не брат мой, а только князь мой... я покорюсь тебе тогда. Но ежели ты мне брат, то отдай мне этих рабов, я уплачу за них ромеям. Ежели ты мне брат...

— Что-о?!— Кий вскочил и снова сел.— Ты что, выпил лишку?

— Ты знаешь, я лишку отродясь не пил.— Теперь Хорив взглянул в глаза Кия и узрел в них то, чего не видывал прежде никогда: растерянность и страх. Да, страх! — Скажи мне, князь. Я брат или не брат тебе?

— С чего это ты?— отозвался тот с небывалой неуверенностью.

— Я брат или не брат?!— настаивал Хорив.

— Брат,— не было, не было обычной твердости в голосе князя!— Молодший брат мой. Кто же еще?

— Поклянись Дажбогом.

Кий промолчал угрюмо.

— Поклянись Дажбогом!— Хорива трясло.

— Давай отведаем меду нашего,— произнес наконец Кий.— Осталось у тебя? Налей... Давай ковш... Здоров будь... брат мой!

— И ты здоров будь... княже!

— Теперь внимай, Хорив,— Кий вытер усы, перевел дух.— Молчи и внимай...

И он рассказал. Про отца своего Рекса и свой спор с ним когда-то, в этих краях, на берегах Истра. Про отбитую у ромеев рабыню, которую так и не довели до Гор. Про то, как жена Рекса, мать Кия, выкормила вместе со Щеком и Хорива. Про все рассказал, ничего не утаил, и закончил:

— О том ни Щек, ни Лыбедь, никто не ведает. И не должен ведасть. Только боги да мы с тобой. Ты — брат мне. Как бы ни было — брат! Иначе не мыслю.

Теперь оба вскочили с седел и стояли друг перед другом. Хорива трясло и трясло. Он глядел распахнутыми до предела серыми глазами на умолкнувшего Кия. Наконец, срываясь в рыдание, отозвался:

— Всегда буду с тобой, княже!.. Всегда буду с полянами... Клянусь Дажбогом.

Кий провел рукавом по взмокшему лицу, приблизился и, не говоря более ничего, крепко прижал к себе Хорива, все еще дрожавшего, как вспугнутый конь.

2. ВОЛЧЬЯ ПРАВДА

Скошенное сено, уже высохшее, душистое, но еще не собранное, лежало клочьями, как будто состриженная с небывало великой овцы шерсть. Ясные дни стояли всю неделю — и скосить успели, и высушить. Теперь успеть бы скопнить...

Тут же, неподалеку, за долгим рядом выкорчеванных корней, тревожило взор побитое конями желто-зеленое ячменное поле, недозревшее, неубранное. Ряды побитых колосьев клонились под разными углами в разные стороны, как клонятся под вражескими стрелами ряды наступающих пеших бойцов.

На освещенном Дажбогом вывороченном корне сидела ящерка-невеличка, вся не более пальца, серо-бурая и потому на корне неприметная. Грелась, моргала и была готова, чуть что, юркнуть в убежище. В побитом ячмене стрекоча скакали туда-сюда голенастые коники¹, одни — цвета колосьев, другие — как трава, третьи — как земля, тоже все неприметные, только в скачке-полете вдруг вспыхнут червонным либо синим развернувшиеся крылышки. Над ними парили прилетевшие от реки различной величины стрекозы, а в вышине распевали наперебой свои замысловатые песенки невидимые жаворонки.

— Птахи высоко летают — не к дождю.

— Благодатный край! В других землях, рассказывают, то сплошь одни дожди, то одна сушь.

— Земля наша, спору нет, благодатная. Да в ней свои беды. В каждой земле — свои беды... Вот заготовлю сена на зиму. Много ли моему коню достанется? Тому — дай, этому — дай, дружине княжьей — дай...

— Такие беды, друже, в любой земле. Ты — про свою беду, а у меня — своя. Вот она, перед тобой... Что делать теперь, как быть? Не ведаю...

Сидели на корнях, меж скошенным сеном и побитым ячменем, два бедных хлебороба полянских. Пропотевшие сорочки скинуты, тут же на корнях сушатся. Белые шаровары стали серыми. Медные спины и шеи. Золотые, как спелое жито, усы. Два добрых соседа, еще пращуры их подружились, сев на землю здесь, в благодатном краю, где Десна подходит к Днепру. Когда-то, во времена пращуров, их племена были разные и по-разному называ-

¹ Коники — кобылки, из семейства саранчовых.

лись, хотя говорили одной речью, ходили в одни походы и сели на одно поле. Теперь все они — поляне...

Тот, чье поле потоптали, все глядел перед собой, свесив меж расставленных колен тяжелые руки, и ничего уже будто не видел. Так бывает, когда беда неожиданная застит свет — глядишь и не зришь.

Не чужаки пришлые набежали и погубили весь труд хлебороба, всю надежду его, — свои же, дружинники полянские, проскакали, хмельные да шальные после счастливой охоты. Что за дело им, баловням, до пролитого здесь пота хлеборобского, до намозоленных рук хлеборобских?

Пока был князь Кий — на коротком поводу держал свою дружину, не позволял озоровать. Теперь ушел к царю ромейскому. Сказывают, не воротится. Брехня! Не может того быть. Воротится князь, наведет порядок в своей земле. Да пока Дажбог поднимется — роса очи выест...

Оставил Кий на Горах княжить младшего брата своего Щека. Смышленного, ничего не скажешь. Да не грозного. Вот и...

Ходил наш хлебороб к самому тому Щеку — челом бить. Ласково принял его Щек, не обидел, внимал уважительно. Но и не помог, ни зерном, ни хотя бы советом добрым. Ответил только, что время, мол, ныне суровое, что ждут полян напасти неведомые, что волхвы предрекают сечи лютые. Много жита, много хлеба надобно для дружины полянской. А потому нету смысла хлеборобам зерно из припасов давать. Надо бы с хлеборобов больше спрашивать. Дабы дружинников накормить досыта. А то от бессильного кмета велик ли прок?

— Так ведь сами дружинники тот хлеб конями топчут! — воскликнул тогда несчастный. — Не одного зерна прошу — управы ищу на обидчиков, правду ищу. Кто оборонит поле мое? Чур?!¹

— Поле твое, — ответил спокойно Щек, — те самые дружинники и оборонят, на которых управы просишь. А мне как обидеть их? Ну побаловались, во хмелю были, с кем не случается... Велика туча — мал дождь! А обижу я дружину — кто оборонит нас с тобой? Придут гулять — весь твой хлеб возьмут. Придут древляне — еще не так твое поле потопчут. Придут обры страшные,

¹ Чур — родовое божество.

коих ждем уже,— дочерей твоих в полон угонят, тебя самого и вовсе живота лишат...

Разумно говорил Щек, да несправедливо. Где же искать простому полянину в родной земле своей суд-управу на обидчика, где правду искать? На кого надеяться? На богов? Не помогают боги — знать, прогневила чем-то их земля полянская... Не с секирой же, подобно гультям, на своих идти в такой час, когда про обрыв весь Подол, будто борть¹, гудит...

— Что сказать могу? — отозвался другой хлебороб, выслушав беднягу и пытаясь утешить его. — У богатого не проси, ему всегда всего мало, он первый приbedняется, тебе не даст — с тебя же и возьмет. Опять же, тут род княжеский, им все теперь дозволено. Им-то что? На горе сидят — не сунься. А нашего брата смерда все, кому не лень, топтать будут — и гультяи с поля, и обры, и своя же дружина полянская. Так было, так будет всегда, какой бы ни был князь, добрый ли, строгий ли. Они — на горе, мы — внизу.

— Как же быть, друже?

— Как быть? А расскажу-ка я тебе сказку. Про волчью правду. Внимай же... Расположились, стало быть, волки в терновнике, на берегу Десны-реки. За недоенную телку принялись. Да за разбор дел звериных. Первым разбирали дело оленя. «Чем еще олень недоволен?» — спросила волчица усмехаячись. «Так он недоволен, что мы его еще не съели», — развеселились переряжки. А волк пояснил, что олень тот на лису челом бьет, она олененка хвостом задела, напугала. «Так не желает ли олень с нами равняться?» — возмутилась волчица. «К тому же, — заметили переряжки, — лисица нам родня». И присудили волки того олененка съесть. Чтобы не пугался. А потроха отдать лисице. Чтоб не обижалась...

— Хороша твоя сказка.

— Еще сказке не конец. Внимай далее. Другое дело касалось двух зайцев: зайчиху не поделили. И рассудили волки так, что непременно один кто-то из них повинен заведомо, а посему надобно съесть и обоих зайцев, и зайчиху. Чтобы виноватый так или иначе кары не избежал. Мудро, что тут скажешь!.. А еще били челом воробьи на мышей. Те, мол, поедают все зерно в амбаре, воробьям

¹ Б о р т ь — улей в дупле либо в выдолбленном чурбане.

не остается. Тут уж волкам поживиться было нечем — позвали крысу: суди, как сама знаешь. «Так ведь мыши мои родичи! — сказала крыса. — Я им, однако, покажу, кто в роду старший! Сама все зерно съем!»

— Крыса съест... А мне где теперь зерна добыть? Сказка твоя хороша, да сыт ею не будешь.

— Не печалься, друже. Сколько смогу, дам тебе зерна. Чем богаты, тем и рады. А буду я в нужде — к тебе приду. Нам, небогатым, помогать друг другу надобно. Тогда и Дажбог нам поможет... А с княжьим родом не спорь, про волчью правду помни.

3. ДВОЕ ПОД СТАРОЙ ЛИПОЙ

Нелегко было Щеку править без Кия. Да никуда не денешься — правил, как сам разумел. Вроде бы разумом боги не обидели. Но только — так полагал Щек — одна голова хороша, а две и того лучше. Старший брат иначе мыслил. Кто прав из них? Что ж, рано или поздно воротится ведь князь к своим Горам — Щек верил в это, хотя иные изверились, — пускай тогда и княжит по своему разумению. А Щек покамест будет делать свое дело как сумеет.

Чтобы в деле том своем, столь непростом, не оплошать, нередко держал он совет с седыми старейшинами, не раз собирал на Майдане сходку, которую Кий явно терпеть не мог. Прислушивался Щек и к мудрым волхвам, ведавшим многое такое, что всем прочим неизвестно.

И был еще один советник у Щека, быть может — самый близкий, самый незаменимый. Таким советником — для самого нежданно-негаданно и не вдруг, а день ото дня все более, — оказалась сестра его Лыбедь. Дивился Щек немалою ее разуму — хоть самого боярина Горазда за пояс бы заткнула, будь тот ныне на Днепре, а не на Истре... Видел и ведал Щек, что не только разумом богата сестра, но к тому же тверда в суждениях, иному мужу не уступит. И при всем при том душа ее оставалась по-девичьи чуткой, незлобивой — никогда не сомневался Щек, что злого, неправого дела Лыбедь не посоветует, более того — сама остережет. В том еще раз убедился, когда поведал ей про хлебороба с берега Десны, у которого хмельные дружинники поле потоптали.

— Послушать тебя, брат, — сказала Лыбедь, — вроде твоя правда. А послушать того бедолагу, то правда за ним.

— Которая же правда пересилит? — спросил Щек. — Моя или его?

Они сидели в тени старой липы, под теснящейся в безветрии листвою со снующими в ней плечами, на невеликом дворе у Лыбеди, куда Щек теперь все чаще наведывался один, без провожатых. К его двору сестра не ходила, как и к прочим братьям. Не любила толчеи и взоров досужих, не любила по великим дворам с горы на гору бродить. Горда была, едва не сверх меры. Щека принимала у себя не таясь: как-никак брат он ей — здесь никто дурного не помыслит, слова облыжного не обронит. Беседовать с ним ей было любо. Хотя и был Щек на два лета моложе, а в разговоре с ним Лыбедь той разницы не чуяла: не по летам разумен был, недаром именно на него, не на кого-либо иного, оставил старший брат Горы. И вот, который раз уже, сидят они под старой липой, молодая хозяйка потчует гостя молоком парным да ягодой лесной, болтунья-тетушка хлопочет в доме по хозяйству, тихо гудят пчелы в листве, и никто неторопливой беседе не мешает.

Здесь, в тишине и без роскоши, без суеты утомительной, отдыхал Щек душой. Лыбедь разумела сие, верно угадывала, не предлагая брату чего-либо хмельного и не забавляя особо. За такую догадливость признателен был Щек сестре, от которой уходил всегда с головой ясной и душой обновленной, готовый к новым многим делам и заботам, которых — хоть отбавляй, когда властвуешь вместо князя над всем племенем полянским.

— Так чья же правда пересилит? — переспросил он, не дождавшись ответа сестры.

— На сей раз твоя пересилила, — ответила та наконец. — Но не оттого что сама твоя правда сильнее, чем правда того смерда, нет. А оттого, брат мой, что сам ты сейчас сильнее, чем тот. У тебя вон шапка в меху собольем. А у того, поди, колпак из старой козы? У тебя — пряжка золотая заморская, а у смерда — медная, не потрешь песком, то не заблестит. При тебе — дружина, сотни мечей. А у того? Только и железа, что наральник...

— Ну не скажи, — не согласился Щек. — И у смердов боевое железо водится. Есть у них и копья, и луки со стрелами... От гультаев отбиваться, на рать за воеводами ходить. Не скажи...

— Скажу! — Лыбедь нахмурилась, не ведая, что хороша во гневе, и не замечая, что брат залюбовался ею. —

Хочешь — внимай, не хочешь — не неволю, а скажу. Сравнил же ты! У мелкой пташки клювик имеется, и у ворона есть свой клюв. Чей пересилит? Всегда ли смерд от гультьев отобьется? Сам ведаешь, как оно бывает. А к тебе гультии и близко не подойдут, ибо не дурни они, разумеют, что ты — на горе, за частоколом дубовым, да гридней полон дом... Так мало ли забот у смерда — и хлеб вырастить, и скотину выпастить, и от гультьев упасть...

— Мне бы его заботы! — проворчал Щек. — Я с его заботами управлюсь не хуже. И за ралом пройти сумею, и с косой по полю, и от гультьев отобьюсь, сама ведаешь, каков я есть... А с моими нынешними заботами управится тот смерд? Поглядел бы я...

— Что ж, позови его да погляди. Может, и управится.

— Управится, как же! И без того, куда ни гляну, разорение Горам. Князь мне их оставил, мне и ответ держать. А коли мне ответ держать за дела свои, то на другого я тех дел своих переложить не смею.

Последние слова Щека понравились Лыбеди, но виду не подавала, лишь перестала гневаться. Негромко молвила:

— Ведаю, братик, великие заботы теперь у тебя. Ведаю и то, что дело свое делаешь честно и с разумом, как умеешь. Вернется Кий, скажу ему о том, коли придется. Но согласишься, что коль заботы твои велики, то и сила твоя немала. А у смерда, у него пускай заботы не те, но и сила ведь — не сравнить с твоею. И ты, сильный, чем помогаешь слабейшему? Когда младенец упал, ушибся, плачет, ты подойдешь ведь, поможешь встать, утешать примешься. А ты упадешь — младенец тебя с земли поднимет? Видано ли такое? Твоя забота — среди прочих всех забот — защитить людей полянских, будь то сестра или смерд-хлебороб, оборонить от гультьев, от древлян, от любой напасти. Для того и дружина при тебе какая ни есть оставлена. А ты? Тому же смерду-хлеборобу ты лишь добавил новых забот — от своих же кметов поле убережь. То самое поле, которое тех же кметов и тебя самого прокормит. Какой же добрый хозяин свое же поле топчет? Не по-хозяйски сие!

— Что же получается, сестрица? — недоуменно развел руками Щек. — Поначалу ты вроде согласилась, что моя правда пересилила, а теперь... теперь, выходит, не моя правда сильнее? Неувязка здесь какая-то. Может, от-

того неувязка, что не бывает двух правд, а одна только бывает правда? А все иное — кривда?

— Может, так оно и есть. Но тогда сам рассуди: чья тут правда, твоя или смерда того?

— А ты как рассудишь?

— Что, Щек, или сам себя судить страшишься? На мои плечи девичьи тяжкое бремя суда сваливаешь? Не ты ли говорил, что не желаешь на других тех дел своих перекаладывать, за которые тебе самому ответ держать?

Произнесла сурово, а глянула лукаво: мол, что, братец, попался?

Попадись вот так же Кий — загремел бы гневно на все Горы пуще грозы Перуновой. Хорив — тот вскипел бы поначалу, но тотчас махнул бы рукой беспечно, вскочил бы на коня и — прочь со двора. А этот... До чего же разные у нее братья!

Щек не гремел и не вскипал. Щек помолчал, ошеломленный ее словами, покрутил головой и рассмеялся вдруг негромким добрым смехом. И с таким откровенным восхищением взглянул на сестру, что та невольно зарделась и опустила взор.

Теперь оба молчали в неясной неловкости, долго молчали и не тяготились той молчаливой тишиной, ни один не тяготился ненавязчивым присутствием другого, каждый отдался своим думам и чувствам, только не ведали оба, что и думы и чувства в тот час оказались у них сходными.

Сама того не желала Лыбедь, но так уж оно получилось, независимо от ее желания, независимо от ее воли. Так уж получилось, что брат ее Щек внезапно привиделся ей тем самым кметом-соколом, о котором столько мечтала, в возможность которого то верила, то не верила, но всегда неизменно желала такой возможности. Да кто же не желает, чтобы его мечта заветная стала возможной?

И вот... С кем еще так легко и просто, так хорошо беседовать и так хорошо молчать? И глядеть на Щека приятно: всем пригож и опрятен. Ни разумом немалым, ни душой честной не обделен. Такому можно довериться безо всяких сомнений. И никогда не опостылел бы.

Но как жестоко присудили боги, сотворив Щека братом ее! Пускай матери у них разные, но отец ведь единый. Стало быть, как ни крути, как ни верти, а брат и сестра они. И потому даже мыслить о несбыточном — только богов гневить.

Никогда, никому, ни за что не доверит Лыбедь этих запретных дум своих. Никогда не узнает Щек, как мыслила она о нем. Не должен узнать, не должен догадаться! Никким образом не проявит она себя, должно хватить сил и воли, должно хватить...

Желал того Щек или не желал, кто ведает. Скорее всего, сам не ждал, что так получится. А когда уразумел, то не возликовал и не устранился, а просто опечалился. Как не поровну делят боги судьбы людские! У Кия две жены — Белослава и Всемила, несхожие такие, а князь ведь любит каждую, каждую по-своему. У Хорива, Щек ведал, на Горах осталась Миланка. А у самого... А у самого до сей поры никого не было. Не было и нет. Отчего так? Вроде всем удался, не убог, не хуже братьев, и двор свой на горе за частоколом, и вено немалое за любую приглянувшуюся деву выплатить сумел бы. Одна беда: никакая из дев до сей поры не приглянулась.

Красавиц на Горах — не счесть, и Щек не раз, бывало, любовался ими. Но любоваться — одно, а в дом свой привести — иное. Чего уж там скрывать, конечно, краса лика девичьего всегда приятна взору. Да только мало Щеку на красу глядеть. При всем при том надобно еще ему, чтобы душа при ней ничем не тяготилась, чтобы не ведьмой оказалась и, упаси Дажбог, не дурой. А ведь такую, чтобы и ликом, и душой, и разумом угодила, такую не просто и не скоро отыщешь, сколько бы вокруг ни было красавиц. И недосуг было Щеку такими исканиями себя заботить. На гульбища хаживать не любил: тяготился суетой праздной. Лишь изредка бывал, по великим праздникам, вместе с братьями. А чаще все старшему брату помогал, в походах ли, в прочих ли делах. Душу на ловле зверя отводил, иного и не требовалось Щеку.

Так и жил, покуда неожиданно-негаданно не пробудился вдруг и не приметил рядом с собою деву такую, лучше которой и представить себе не сумел бы.

Глядеть на красу ее — услада. Слушать речи ее — разуму радость. Да просто быть рядом с ней, молчать и даже не глядя чутать, что здесь она, при нем, — душе ликованье.

Но к чему все сие? Не бывать усладе, не бывать радости, не бывать ликованью. Ничему не бывать! Ибо она — сестра его. От разных матерей, но от единого отца. А боги не велят такого, чтобы брат и сестра мужем и же-

ной стали. Боги не велят, обычай не велит. И ничего не будет. Потому что быть не может. Горестно...

Бывает же так, что там, где положено княжить одной лишь Радости, там княжит одна лишь Горесть.

Что ж, пускай все это — и несбывшаяся радость, и пожизненная отныне горесть — останется при Щеке. Он сумеет не показать, Лыбедь никогда не узнает о том. Никто не узнает, никогда. Даже братьям не скажет. Даже — волхвам. Одни боги пускай ведают.

Сейчас нет у него такой заботы и ни к чему она ему ныне, но Щек не зарекается — не сердцем окаменевшим, а трезвым разумом своим — не зарекается: когда-нибудь, коли будет на то воля богов, появятся у него на горé и жена и чада... Но даже той жене, пока неведомой и никак еще не желанной, не скажет Щек своего заветного, не откроет перед нею тайну окаменевшего сердца.

Такие думы и такие чувства одолевали каждого — сестру и брата — в тихий безветренный час под старой липой, где напевали что-то усердные пчелы. Одолевали обоих такие думы и чувства после неторопливой беседы о том да о сем, после негромкого спора о правде и кривде. И ни один не поведал другому всех своих дум и чувств. И ни один не догадался о всех думах и чувствах другого.

Не догадался? Так ли? Разве не догадываются две близкие души, когда — рядом, когда мыслят и чувствуют одинаково? Разве требуются им непременно какие-то слова, всяческие намеки и красноречивые взоры? Разве нету тех незримых и неведомых путей, по которым близкие души передают друг другу свое выстраданное, но невысказанное? А может, недостаточно близки еще были души Щека и Лыбеди и потому не наладились меж ними те незримые и неведомые пути?

Может, была близость разума, но не родилась еще близость сердец — тогда, конечно, надобны пути зримые: слова, взоры и тому подобное. Может, так оно и было в тот раз. Но могло быть иное: не только близость разума, а родилась меж братом и сестрой близость сердец, и пошли незримыми, неведомыми путями друг другу навстречу и думы сходные, и общая тоска души, и каждый мог бы почуять, догадаться, начинал уже чуять и догадываться, однако устранился своей догадки, устранился запретного и потому не дерзнул поверить такой догадке, не дозволил ей укорениться. Могло быть и такое.

— Что ж, мне пора, сестрица,— Щек поднялся решительно, поправил меч на поясе и пряжку золотую на плече, надел шапку с собольей опушкой.— Хочу еще до вечера сотских собрать, потолковать о делах ратных. Может, заодно и о потраве скажу.

— Тебе виднее, братец,— бесстрастно отозвалась Лыбедь,— что деять, а чего не деять. Только, ежели дозволишь, замечу. От одних слов твоих мало проку. Покарай виновных, тогда и слова твои весомы будут. Однако при том невинных не карай, а то никакой правды за твоим словом не останется, кривда одна.

— Не по душе мне карать кого бы то ни было,— Щек вздохнул.— То Кию легче удастся. А я... Буду деять как сумею... Благодарствую, сестричка, хорошо мне было у тебя.

— Благодарствую, что навестил,— отозвалась Лыбедь, глядя на брата то ли с укором, то ли с жалостью, то ли... Разберешь разве, о чем говорят очи девицьи? Они так много говорить умеют, что подчас и не разберешь...

Уже с седла, в воротах, Щек обернулся к ней и добавил на прощанье:

— Счастья тебе, сестричка. Счастья и благополучия.

— Тебе того же, братик,— Лыбедь улыбнулась ему невесело. И подумала, слушая удаляющийся топот его коня, что счастье и благополучие — не одно и то же. Благополучие зачастую бывает зависимым. А счастье не терпит зависимости.

Так она подумала. А с чего и к чему? Сама не ведала.

4. КИВЕЦ НА ИСТРЕ

Минул год. На правом берегу Истра, где невысокий песчаный обрыв прошит рядами круглых дыр и гнездящиеся в них стрижи носятся веселыми стайками туда-сюда, встала высокая круглая башня. Крепкая, каменная, с зубцами и бойницами, с вместительным подземельем для припасов, откуда вел потайной ход в княжий терем. Заберешься на самый ее верх — далеко видно левобережье, где здесь и там светлеют мазанные глиной и мелом жилища славинских поселенцев, темнеют ихние пашни, а на зеленых лугах пасутся серые овцы, червонные и пегие быки, белые гуси...

От башни — вдоль берега и в глубину от него — уходят двурядные стены из мощных бревен, с крытой га-

лереей по всему их верху. И — угол за углом — сворачивают те стены одна навстречу другой, смыкаясь позади, в глубине берега, у ворот, закрывающихся двумя створками из обитых железом дубовых досок. За воротами — дорога к ближайшей ромейской крепости, а над воротами — четырехугольная каменная башня, пониже круглой прибрежной. Вдоль стен, по углам, деревянные сторожевые башни — гляди с них во все стороны. Гляди и, ежели понадобится, пускай стрелы.

Внутри стен — строения нового города, Киевца, поставленного полянским князем с дозволения самого Императора. К прибрежной стене примыкает изнутри княжий терем — деревянный на каменной основе, выше всех прочих окрестных строений, не считая башен под крутоскатной кровлей, увенчанной искусно вырезанной из дерева головой коня. Над входом в терем — великий деревянный щит с княжьим знаком: половина синяя, половина белая, а поверх намалеваны желтым голова коня под звездой небесной, под головой — перекрещенные меч и стрела. Такой же щит с тем же знаком, только медный, над воротами. И такой же знак на боевом щите Кия. А также — на бело-синем его стяге, шитый золотой ромейской нитью.

От терема, где в великой палате можно пировать, а в малых покоях — сам Кий с Белославой, в обе стороны отходят два невысоких крыла. В одном, которое покороче, пять родственниц Белославы. В другом, более долгом, гридни.

Вблизи княжьего терема срублены из крепких бревен жилища Хорива, Воислава, Горазда и тысяцких. Далее — жилища сотников и десять долгих приземистых куреней, в два ряда по пять, в каждом — сотня дружинников из головной тысячи, со своим сотским. Остальные тысячи — за стенами, справа и слева от надвратной башни, в шатрах, огороженных возами, рвом и валом, а на валу поставлен частокол. Внутри стен и вокруг них — немало конюшен, амбаров и прочих хозяйственных строений. А посреди города — Майдан с колодцем и капищем, как на Горах, только не столь обширный. Тут же — резанные из дерева Дажбог, Перун, Велес и другие антские боги.

Прошлой осенью, когда город еще достраивался, но ставившиеся в первый черед стены были готовы, дозорные на башнях заметили вдоль всего левобережного окоема приближающееся славинское войско. Отбились

в тот раз одними стрелами — стены помогли. Хорив со своими отроками рвался было переправиться через Истр — вдогон отставшим славинам. Но Воислав предостерег: заманят подальше и перебьют, уж надежнее оставаться за своими стенами.

Зима — непривычная: более дождей, нежели снега, — прошла спокойно. Что было недостроено — завершили. Ходили по мокрому снегу на зверя, добыли немало оленьего мяса, но на Горах охота была богаче — не сравнить.

Бывалые дружинники тосковали без жен, оставленных на Днепре. Отроки, впервые ушедшие в поход, скучали без дев. Хорив вспоминал Миланку, на прочих глядеть не желал. Увидятся ли хоть когда-нибудь? Порой хотелось вскочить на своего вороного, кликнуть за собой отроков и ускакать отсюда — к ней... Но нет, он никогда не оставит князя, он поклялся Дажбогом.

Четверых родственниц Белославы отдали в жены тысяцким, пятая не годилась — старая была. Иные дружинники, не утѣпев, собирались порой целыми сотнями, во главе со своими сотенными, и — не спросясь тысяцких, не спросясь князя — ходили на ближайшие правобережные селения, умыкали дев и жен. Все чаще переправлялись через Истр на челнах, привозили с левого бережья славинков — с ними хоть поговорить можно было для души, речь-то сходная... Славины набегали в ответ — приходилось то и дело отбиваться, укрываясь за стенами и частоколом. Воислав гневался на тысяцких, тысяцкие — на сотских, но тем гнев и кончался. Потому что сам Кий за такие дела особо не взыскивал. Знал, что иные ропшут: хорошо, мол, князю зимовать с теплой женой под боком. Думал, как быть иначе, советовался с многомудрым Гораздом, но так ничего и не надумали.

От тоски и непривычного сидения пили более потребного. Перебрав лишку, хватались за ножи и мечи. Тогда на место драки прибывал Воислав с трезвой сотней гридней, наводил порядок. Как-то раз Кий послал было умирять баламутов не Воислава, а Хорива с его отроками, но тот сгоряча только подлил масла в огонь... К весне запасы меда, браги и ромейских вин иссякли.

Половодье было недолгим, вода на лугах скоро сошла, но ни пахать, ни скотину заводить поляне не принимались. Кмет без семьи на земле не хозяин.

Набегали соседи, угоняли коней, истомившихся на

зимних кормах и наконец-то выпущенных погулять, пощипать молодую травку. Поляне в свой черед разоряли соседские селения, вытапывали посевы и уводили скот, забирали птицу и зерно.

Пытались ставить на ночь переметы через Истр, но славинны еще до рассвета успевали снять те переметы уже с попавшейся на них рыбой. Принимались ловить снастями — тут как тут с левобережья наплывали славинны в легких челнах, отнимали сети с уловом. Со стен их встречали стрелами, но славинны — стрелки не хуже антских — отвечали тем же. За уху расплачивались кровью.

К тому же многие славинские стрелы были ядом намазаны — чуть руку цапнет, а дольше дня не проживешь.

Спокойного житья не было. Приходилось оставаться при городе, а окрестная земля, хотя и дарованная князю самим Императором, на деле новому хозяину не принадлежала. Так уж получилось. Не то получилось, совсем не то, на что надеялся Кий, когда — поразмыслив да посоветовавшись с ближними — дал согласие ставить свой город на Истре и сидеть в нем.

Золото для дружины, обещанное Императором, было лишь единожды, в самом начале. И больше не прибывало, хотя уговор был, чтобы по четыре раза в каждом году. То ли посланное золото перенимали в дороге разбойники, которых все более появлялось на дорогах изнуренной войнами империи. То ли скаредный комит священных щедрот обманывал своего Императора и не посылал обещанного. То ли... Как узнать, как проверить? Гонцы, отправляемые князем в Царьгород, не все возвращались — знать, перенимались все теми же разбойниками. А кто возвращался — докладывал, что никого из важных ромеев повидать не сумел, меньшие чиновники не допускали и заверяли, будто золото давно послано. А один ромей даже до того обнаглел, что сказал, будто антский князь нарочно так говорит, дабы получить с Императора больше золота, чем было договорено. Гонец-гридень не вытерпел такого навета, ударил ромея по лицу — до крови, сам едва ноги унес...

Что тут было делать? А славинны с конца весны досаждали все чаще. Переправлялись ночами через Истр, обходили в темноте прибрежные стены, выходя к частоколу, посылали в город сотни горящих стрел — не один шатер и не одно деревянное строение занималось огнем.

Гасили водой да песком, заготовленным впрок. Всего погасить не успевали.

В одну из ночей двое славинов ухитрились непонятным способом взобраться на боковую деревянную стену меж сторожевыми башнями. Зарезали дозорного, проникли в город, подпалили княжью конюшню. Покуда сонные поляне спохватились — сгорела дотла. И коней не успели вывести... Разбуженный Кий поднял гридней и всю головную тысячу, велел тотчас оцепить стены, чтобы ни одна мышь не вышла из города, ни одна птица не вылетела. Помогло — обоих славинов схватили. Один из них сам на копье бросился, другого же скрутили и привели в княжий терем. Здесь, рядом с Кием, были уже Хорив и Горазд. Воислав же с первым тысяцким уводил в этот час обратно в курени взбаламученную дружину.

Молодой высокий славин, босой, в одних изодранных шароварах, с темнорусой бородкой, в крови, держался спокойно и чем-то напомнил князю брата, Щека, оставленного далеко отсюда, на приднепровских Горах. Быть может, оттого и не стал ни бить схваченного, ни кричать гневно. Лишь тихо спросил:

— Кони чем провинились? Коней для чего пожгли?

— А чем провинились славины? — ответил тот. — Разве у антов взяли мы эту землю? Мой дед пришел сюда и сел здесь. Мой отец вместе с антами ходил на ромеев. Разве не делились мы с антами боевой добычей? Разве мы оставили боевых друзей, разве мы продались ромеям за золото? Не мы пришли к тебе на Днепр — ты пришел к нам на Истр, ты, князь...

— Молод еще! — прервал его Кий. — Ведаешь то, что всем ведомо. А не ведаешь того, что все мы, и анты и славины, жили прежде в здешних краях, на Истре да повыше, у Карпат. И на Днепре тоже. Из одних мы земель, и потому одна у нас у всех речь. Давно, давным-давно то было, одни только волхвы помнят и мне поведали. Прогнали тогда наших пращуров из здешних краев другие ромеи, прежние, их сила была в ту пору наибольшей. И уходили наши пращуры кто на полночь, а кто на восход ко Днепру. И там повсюду встречали своих сородичей. И надолго оставались в тех землях. И там породнились с прочими тамошними племенами — сколотами, белыми уграми, разными балтами. А после пришли к нам из полуночных морей готы, а еще позднее набежали с восхода гунны и многих погнало обратно на закат...

Нет, не на чужую землю я пришел! А ты, не ведая того, пустое мелешь!

Внимали поляне той речи своего князя и дивились: впервой слышали такое. А упористый славин снова твердил свое:

— Не мы звали тебя сюда — ромей звали!

— А кони чем провинились? — повторил, уже сквозь зубы, Кий.

— А чем провинились наши девы и жены, которых умыкают анты? Боги накажут вас! Пока вы здесь, на Истре, умыкаете наших дев и жен, другие умыкнут ваших дев и жен, оставшихся на Днестре. Что не уходите с нашего Истра? Что не уходите к себе на Днепр, к своим женам и девам?

— Тебя ждали, — съязвил Горазд, не улыбаясь и не хмурясь.

— Еще многих дождетесь! — отбил дерзкий славин.

— Да хватит ему брехать! — потерял терпение Хорив, хватаясь за меч.

— погоди! — остановил его Кий. — Успеется. Пускай говорит.

— Я все сказал, — заявил схваченный. — Ты сам поведал, княже, одна у нас прежде земля была и одна речь. Мы были братьями. Мы были боевыми друзьями. Теперь мы — враги. И не славин в том повинен. Так уходите все отсюда! Пока вас всех не пожгли, как тех коней...

— Хватит! — оборвал князь и, стараясь не глядеть на славина, приказал: — В Истр его!

С той ночи прошло не много времени, когда пред грозные очи князя, на сей раз среди дня, представили еще одного взятого. В славинской одежде, тоже молодого, не старше Щека и Хорива, с волосами цвета выгоревшей травы. Доложили, что взят был дозорными у ворот, что были при нем славинские лук и стрелы да нож на поясе, что все это без сопротивления отдал. Никого вроде не зарезал и ничего не пожег. Только молил, чтобы скорей отвели к самому князю. Привели к Воиславу — тот велел доставить в княжий терем.

Выслушав такое донесение, Кий внимательно поглядел на взятого.

— Ты славин?

Тот отрицательно покрутил светловолосой головой и



отчего-то улыбнулся, без какой-либо насмешки, даже радостно как-то.

— Гот, что ли?

— Я ант, княже. Полянин я.

— Говоришь по-нашему чисто,— задумчиво произнес Кий.— А ежели ант, да к тому же полянин, то отчего вышивка на сорочке славинская? И оружие отчего славинское?

— Иначе не прошел бы через славинов.

— Откуда не прошел бы?

— От самых Гор, княже.

— А звать тебя как?

— Брячислав,— охотно ответил взятый и добавил, непонятно к чему: — А сокол за орлом улетел.

При последних словах Кий вскинулся, спросил с нетерпением:

— Давно мед пил?

— Только брагу, княже.

Князь молча и пристально вглядывался в лицо Брячислава, явно взволнованный непонятным для всех прочих разговором. Затем повелел:

— Развяжите его. И оставьте со мной. Надо будет — покличу.

Оставшись наедине с князем, гонец поведал все, что велел передать Щеку.

Дань с зимнего полюдья невелика собрана, не хватило дружинников. Посему древляне и примкнувшие к ним радимичи отбили обратно себе становища по Днепру, Ирпеню, Тетереву и Сожу, всю сторожу полянскую поубивали. Иные дреговичи на Припяти сотворили то же, да не все: у которых дружина с Кием уходила и воротилась, те дали дань и становищ не отбивали. От древлян же вовсе покою не стало, то и дело переходят Ирпень-речку. Никакого сладу с ними нет, совсем разорили Горы. Да еще Ус, князь соседей заболотных, тоже озорует, полянских дев и жен умыкает, вовсе обнаглел. И гультев немало в поле развелось, то и дело набегают... А на Подоле у ручья схватили ромейского монаха, прибывшего с гостями. Монах тот брехал полянам, будто князь Кий не воротится на Днепр, а Горы навсегда оставил Щеку. Поляне не желают верить такой брехне... А еще Всемила, другая жена князя, тем же летом, когда ушел он в Царь-город, народила сына. Назвали Идаром, в честь княжьего дяди...

— И велел передать Шек,— закончил гонец,— что одному ему Полянской земли не удержать. Что вся надежда на тебя, княже, и на твою дружину. И так все поляне мыслят.

— Так и сказал мой брат? Что все поляне, как он, мыслят?

— Нет, княже. То я от себя дерзнул прибавить.

Кий усмехнулся. Затем нахмурился. Помолчав, спросил:

— Чего желаешь? Говори, не страшись.

— В твоей дружине остаться, княже. Я из лука любую птицу бью влет. Возьми, не прогадаешь.

— Это после поглядим. А сейчас чего желаешь? Поесть? Испить? Говори.

Тогда Брячислав смутясь промолвил:

— Зело спать хочу, княже...

Миновала неделя. Истр потемнел, всколыхнулся волной. С левобережья надвигалась по небу темно-сизая туча. А под ней, по земле, шла другая — живая, человечья. Шли славины в небывалом числе и в невиданном прежде порядке. Как и анты, у ромеев научились. Впереди пеших полков ехали на конях князя и бояре, тысяцкие и воеводы в доспехах. Порывистый преддождевой ветер надувал плащи всадников и разноцветные стяги — как паруса, вихрил конские хвосты и гривы, пригибал перья на шеломах.

Все это разглядел зорким оком Кий, поднявшись по тревоге на круглую каменную башню. С ним стояли тут же и тоже глядели за Истр десять гридней с десятским и сотским.

Глядя на приближавшуюся тучу и на приближавшихся славин, князь приметил, что между тучей и войском здесь и там косо легли широкие полосы, еще темнее самой тучи. Значит, славин уже под дождем. Стало быть, вымокнут прежде, чем искупаются в Истре. И до завтрашнего дня не обсохнут: Дажбог собрался на покой. Может, не станут переправляться на ночь глядя? А ежели именно на ночь глядя? В темноте ведь сподручнее: стрелки со стен не разглядят. Да, в темноте вроде сподручнее... А для всех ли? Что, ежели осветить темноту? Долго ли запалить... Но придет туча, прольется на город щедрым дождичком — и не загорятся мокрые бревна, зашипят только...

И тут он увидел, что туча сворачивает, не доходит до

реки и уже рвется частями. А по Истру — рябь против течения. Стрибог, стало быть, передумал, послал своих чад заворотить тучу, не пустить к реке. Что ж, пускай все на славинов прольется. А его город сухим останется. И сухие бревна да сухие шатры будут гореть, как не раз уже горели. Так что же для кого сподручнее — дождь или сушь, темнота или свет? Для славинов, пожалуй, темнота. А для полян?..

Но Кий не раз замечал, что рядом с огнем хотя светлее, да чуть отойдешь — вовсе темень непроглядная...

А славинское войско, смоченное дождем, уже подходит к Истру. Будут переправляться нынче или не будут? А надобно ли ждать? Ждать или не ждать, что решат славини? Может, выйти и упредить? Отобьются ли поляне на сей раз за стенами или же сгорят вместе с городом, как сгорели те кони?.. Помогите, Дажбог! Сто сильнейших быков пожертвую тебе, подскажи только, подай знак!

Как подскажет Дажбог? Вон туча свернула, не дошла до Истра, не намочила город дождем. Может, то и есть поданный Дажбогом знак? А решать надо немедленно...

Кий более не мешкал. Он решил. Послал за Хоривом, Воиславом, Гораздом и всеми тысяцкими — пускай вбóрзе поднимутся сюда, к нему, на башню. А княгине велел сказать, чтобы собралась — покинуть терем...

Неведомо, кто же запалил город в наступившей темноте — славинские лазутчики или сами поляне. Загорелось со всех концов. Полыхали княжий терем и курени, амбары и опустевшие конюшни, деревянные стены и угловые башни. Только каменные башни не горели, чернея среди огня, охватившего всю землю и все небо. Огонь отражался в Истре — казалось, сама река горит заодно. И славини остереглись, не стали переправляться через горящую реку.

Неведомо, когда вышла из горящего города головная тысяча, когда свернули свои шатры остальные. Неведомо, когда, где и как переправились через Истр тысячи полянских всадников и не одна сотня возов, минуя славинские полчища и уходя в глубь левого берега.

Зарево небывалого пожара заметили дозорные на башнях ближайшей ромейской цитадели. И когда посланный на подмогу конный отряд федератов прискакал на рассвете к реке, то увидел две закопченные каменные башни — высокую круглую и невысокую четырехуголь-

ную, а вокруг — дотлевающее пожарище. Разглядели и несметное множество славинских шатров на левом берегу за Истром. Посовещавшись недолго, федераты повернули своих коней подвязанными хвостами к реке и усаkali обратно.

Лишь всполошенные стаи стрижей, тревожно свиристая, все носились и носились вдоль освещенного утренней зарей обезлюдившего берега.

5. ВЕЛИК СОБЛАЗН

Горислав молча слушал перебранку своих бояр, поглядывая раскаленными углями глаз то на одного, то на другого. Стиснув крепкие челюсти, принудил себя молчать, терпеть — до поры до времени, чтобы последним молвить свое княжье слово.

Бранились Млад со Стрелюком.

— Тебе своя рубаха ближе к телу! — укорял горячась Млад. — Чтó тебе до земли древлянской, был бы свой двор не пуст. А того не разумеешь, что двор твой на земле нашей стоит. Не будет земли — не будет и двора!

— Земля наша никуда не денется, — отмахивался широким вышитым рукавом Стрелюк. — Будто один ты о ней печешься! У нас вон князь есть, денно и ночью в заботе великой о земле древлянской. Для того и позвал нас к себе. А что ты на моем дворе узрел, то князю неинтересно. За своим бы двором получше поглядывал, Млад! И не моя вина, что в закромах твоих более мышей, нежели зерна. А еще боярин! Хуже смерда последнего...

Тут Стрелюк поглядел на Горислава, как бы ожидая от него поддержки своим словам. Но тот по-прежнему молчал и глядел строго. Выжидал. Возможно, желал еще услышать, что скажет третий боярин — Житовий, старейший из всех собравшихся в княжьем тереме. Но тот, хитрец, знай себе помалкивал, как и князь его, в перебранку не встревал и вроде бы даже не слушал, а следил с живейшим интересом, как бьется в поисках выхода шальной шершень, ненароком влетевший с воли.

— Не в том честь боярская, — возражал Млад на укор Стрелюка, — чтобы богаче смерда быть. А в том честь боярская, чтобы храбрейшим в сече и разумнейшим в совете быть. Только от такого боярина будет прок — и князю, и дружине, и всей земле нашей. Не о своей шкуре забота, не о своем дворе, оттого, быть может, и не срав-

няться моим закромам с твоими. Да я и не тшусь тягаться с тобой в таких делах.

— Еще бы! — Стрелюк хмыкнул насмешливо. — Где уж тебе со мной тягаться? Что в сече ты не робок, то все мы ведаем. Однако и я не заяц в деле ратном, то наш князь подтвердить может. А что касается разума, то что-то я не слыхивал пока слова твоего разумного. Чем считать добро мое, сосчитай-ка лучше, много ли кметов полянских на Горах осталось. Вот ведь для какого дела созвал нас князь!

— Это и есть твое слово разумное? — Млад крутанул чубатой головой. — Ну и ну! Да разве т о г о ждет князь от нас? Каждому десятскому ведомо, что всю свою силу Кий на Истр увел, тут и считать нечего. Любому отроку ведомо, что не сравниться Щеку со старшим братом своим, что с оставшимися кметами никак не оборонить ему Горы. Да я сам этим летом сколько раз через Ирпень ходил с немногими сотнями, разорял землю полянскую, с немалой добычей на Уж возвращался...

— Где же та добыча твоя? — Стрелюк вздернул густые брови. — Знать, немного ее тебе досталось, что мое добро твои очи засорило? Или, может, всю добычу князю отдал?

— Князь свою положенную долю получил. И кметы, что ходили со мной, тоже не в обиде. Позову — еще пойдут. А много ли, мало ли себе оставил, то не твоя забота, боярин. То моя забота. Только не головная, а последняя.

— Какова же головная твоя забота, Млад?

— А головная моя забота — благо всей земли нашей Древлянской.

— Ого! — Теперь Стрелюк обратился впрямую к Гориславу: — Слыхал, княже? Я полагал, что ты у нас о благе всей земли Древлянской печешься, а уж мы, твои слуги верные, лишь помогаем в меру умения и разумеения своего. Так нет же! Послушать Млада, он один дерзнул принять на себя все заботы твои княжьи...

— Не бреши, боярин! — крикнул Млад, хватаясь за меч.

— Угомонись! — осадил его князь, подав наконец голос. — Проку мне от вас от всех...

— А мы все твои псы верные... — начал было Стрелюк, но Горислав и его прервал:

— Истинно, что псы! Грызетесь, грызетесь меж собой, никак кость не поделите. Чем меж собою грызотней

забавляться, перегрызите лучше глотку Щеку, пока Кий да Хорив на Истре увязли. Да где уж вам...

— Не равняй нас, княже! — загорелся Млад.

— Молчи! — Горислав не сдерживался более. — Молчи, велю! И не указывай, как поступать мне, кого равнять, а кого не равнять. Для меня вы все равны, равнял вас прежде и впредь равнять буду. Молчи, не отвечай!

У Млада от обиды незаслуженной даже слеза в глазу блеснула. Но смолчал. С нелегкостью великой, а смолчал.

Шершень все бился, гудел густым басом, не видя выхода. Велик, силен, наряжен, не сравнить с осой либо с пчелкой, а бьется бессильный, не зрит исхода. Не так ли и они здесь бьются, как тот шершень, древлянский князь да его бояре, тоже великие, сильные, нарядные? Бьются, гудят басисто, а не видят исхода, не находят. И не обретают согласия в общем деле своем.

Дело ведь простое вроде. Идти или не идти на полян? Не как прежде, а всею силой своей. Чтобы примучить наконец извечного недруга-соседа, забрать себе все богатства, всю землю и всех дев его, наложить дань великую и водрузить над Днепром, над Горами свой стяг малиновый с золотым ликом Дажбога. Разве не предрекали когда-то волхвы Гориславу, что так сбудется? Правда, сказали они тогда, что самого Горислава к той поре уже в живых не останется. Сие — смущало, зело смущало. Не поторопит ли он смерть свою, пойдя в такой поход? Но в то же время не мог не видеть князь древлянский, не мог не разуместь, что лучшего часу не было и неизвестно, будет ли еще.

Кий с Хоривом — самые опасные из трех братьев — на далеком Истре и, судя по всему, возвращаться не торопятся. С ними там лучшие бояре полянские — страшный Воислав и многомудрый Горазд. С ними — почти вся дружина, старшая и молодшая, множество ратников. Бывало и прежде, конечно, что уходил Кий в поход с дружиною своей, даже обоих братьев не раз брал с собой. Бывало. И набегали тогда древляне, как и теперь набегают: не всею силой. Ибо вскорости возвращался Кий — и приходилось за Долгими Валами спасаться от мести его. Однако на сей раз — иное дело. Есть у Горислава верные вести, будто Кий со всем своим войском великим навсегда оставил Днепр, ушел служить царю ромейскому, получил от него новые земли и поставил себе город на Истре.

А здесь... Даже сосед Ус с невеликим племенем своим дерзко набегаёт на земли полянские. Никогда ещё не были так слабы, так беззащитны Горы!

Казалось, сами боги помогают Гориславу в великих замыслах его, подают знак — дерзни! И вспомнились слова волхвов: «Придет такая пора, останутся поляне без Кня... и поднимется над полянскими Горами твой малиновый стяг с золотым ликом Дажбога. Так будет...»

Но не забыть князю Гориславу и других слов, сказанных тогда волхвами: «Да, тебе до той поры не дожить».

Как же быть ему, на что решиться?

Вот и созвал своих бояр, чтобы послушать их, разумных, прежде чем самому решать. А они...

Горислав ведал цену своим боярам, знал каждого из них.

Стрелюк — муж боевой и не дурень. Когда-то был простым гриднем. Зело старался — все на глазах у князя. Видать было: подняться желает. Не для дела — для себя. Ну и пускай для себя, лишь бы старался, лишь бы князю угодил. И угождал. И был за то возвышен. Сперва — десятским сделал Стрелюка Горислав (молоды ещё оба в ту пору были!), а после — сотским... Теперь не узнать в дебелом боярине прежнего гридня, даже взор не тот стал — иной какой-то. Да ладно, каков бы ни был ныне сей боярин, а нет сомнений у Горислава: всегда и во всем, как прежде, угодит ему Стрелюк, что бы ни стряслось — верен останется. Ибо помнит выгоду свою и понимает, что без князя плакала его боярская выгода. Оттого и предан, аки пес. Сие — превыше всего прочего.

Иное дело Млад. И этот гриднем был, и тоже возвысил его князь — за удаль ратную, за прямоту и дерзость. Но, в отличие от Стрелюка, не изменился Млад, когда возвысился. Все так же сух и горяч, будто борзый конь из степей полуденных. Старше только стал, но взор все тот же, хватка все та же. Этот выгоды своей не разумеет, не печется о ней, но не раз убеждался Горислав: что ни прикажи Младу — расшибется в кровь, а исполнит. И все же нету здесь у князя полного доверия к боярину. Отчего? Кто ведаёт... Может, оттого, что зело дерзок и независим Млад, а может... А может, верно подметил Стрелюк: уж не зарится ли шалый боярин вместо самого Горислава на земле древлянской княжить? Надобно будет приглядеться позорче...

Ну а Житовий — сей разумнее всех прочих. Ишь,

хитрец старый, знай себе помалкивает. Выжидает, что скажет князь. Ну нет, не выйдет такая затея, придется и тебе слово молвить, не отвертись. Назвался груздем — полезай в кузов!

А Млад со Стрелюком опять схлестнулись, снова бранятся, того и гляди — за мечи схватятся, тогда уж не разнимешь, поздно будет. Порубят один другого, вместо того чтобы сообща полян примучить. «Напушу-ка я на них Житовия». Горислав почесал свою черную бороду, взглянул лукаво на старого боярина и голосом достаточно суровым повелел:

— Уйми их, Житовий! Бояре, а хуже отроков...

Житовий поднялся со скамьи, оправил нарядный, в золоченых бляшках пояс, огладил ладонью седые усы, затем неторопливо приблизился к Гориславу, встал рядом с ним и только после этого обратился к остальным, как бы не только и не столько по своей воле, сколько по желанию князя. Заговорил негромко, но те услышали и тотчас умолкли.

— Внимайте, бояре! Князь наш Горислав велел мне молвить, а вам внимать. Внимайте же... Слушал я вас, того и другого. Не стану вникать в суть спора вашего. Ибо не о том спорите, не та сейчас забота и не для того призвал нас сюда князь. Одно скажу. Скажу, как мыслю. Вот все мы тут бояре — и ты, Стрелюк, и ты, Млад, и я тоже. Все мы не отроки, верно князь наш заметил. Все мы с вами в таких уже летах, когда жить в этом мире остается меньше, нежели прожито. Не ведаю, как вы, а про себя так скажу. С каждым новым летом я все яснее, все больнее чую, до чего же бесценен каждый оставшийся мне в этой жизни день, каждый оставшийся час, каждый миг. Неужели вы не чувствуете того же? Нет, чувствуете! Не можете не чувствовать. Так не забудьте же, вспомните о том, прежде чем губить на пустые словопрения, на никчемные перебранки те бесценные и невозвратимые дни, часы и мгновенья, которые остались каждому из нас в здешней нашей жизни. Вспомните и помыслите: а надо ли? А к чему? А на что час утерян? Не воротишь ведь! Вот что хотел я молвить вам, други мои бояре.

Все молчали, потрясенные сказанным. Стрелюк опустил взор и хмурился, Млад — наоборот — глядел на говорившего не мигая. Горислав же сжигал всех троих угольными очами, дыша громко и часто.

— А теперь мое слово к тебе, княже, — продолжал

чуть погода Житовий.— Ведаю, что заботит и что тревожит тебя. То же самое заботит и тревожит всех нас, ибо заботы и тревоги князя должны быть заботами и тревогами его бояр. И нет в том посягательства какого-либо на княжью честь и славу, а есть лишь наша верность своему князю...

— Сказывай дело! — прервал нетерпеливо Горислав.— Сам говорил ведь, что дорог час...

— Сказываю, как умею, — без обиды, но с достоинством отозвался Житовий.— Говорю, как мыслю. А мыслю я, что не в том ныне заботы наши и помыслы...

— Как это так? — удивился Стрелюк.

— Как не в том?! — вскинулся Млад.

— Ежели не в том, — князь пожал плечами недоуменно, — то в чем же? Поясни.

— Поясню. Внимай, княже. Внимайте, бояре. Все наши помыслы супротив соседей направлены, супротив полян. Так прежде бывало, так и поныне осталось. И так оно сложилось, что лучшего часа для великого похода на Горы нам еще отродясь не выпадало...

Горислав кивнул согласно и сделал такое движение рукой, будто желал сказать: ну да, все верно, все именно так. чего же еще?

— Да, отродясь не выпадало, — повторил старый боярин.— Кия на Горах нету, Хорива нету, Горазда с Воиславом нету, один Щека остался. Кметов у Щека мало, даже с соседом своим заболотным, с Усом, никак не совладает Щека, а тот и вовсе обнаглел. Казалось бы, чего проще? Сговориться с тем же Усом, хотя он погоду не делает, да маслом каши не испортишь... Можно и с дреговичами сговориться. А можно ни с кем не сговариваться, кметов у нас хватит, только собрать бы их всех поборзее со всей земли сюда, на Уж, под княжий стяг, и перейти Ирпень всею своею силой немалой, и...

— И Горы наши! — не утерпел Млад.

— Да, Млад, и Горы наши... — Тут Житовий помолчал в раздумье и вдруг спросил, вскинув очи: — А надобно сие? Надобно сие, Горислав? К чему нам Горы, к чему нам земля полянская? Мало у нас своей земли?

— Мало, — заявил Стрелюк.— Лесов много, а под пашню мало, у полян под пашню больше.

— А нужна ли нам пашня? — упирался Житовий.— Отчего бы с полянами не сторговаться — они нам хлеб, а мы им пшеницу? А плох ли наш корст над Ужом, плохи

ли наши Долгие Валы? К чему нам полян примучивать, к чему Горы отнимать у них? Скажи мне, княже, к чему?

— А к тому, — ответил Горислав, — что иначе они нас примучат после. Примучат и дань наложат. Этого ждатель?

— А росичи да северяне? — возразил Житовий. — Они сговорились с Кием и не платят дани. Более того, свою долю добычи в совместных с полянами походах имеют немалую. Вот бы и нам сговориться с Кием — чем дурно?

— Где тот Кий? — усмехнулся Горислав. — Поминай как звали!

— А ежели так, — усмехнулся в свою очередь Житовий, — то чего же нам опасаться? Без Кия полянам нас никогда не примучить.

Князь не ответил, только зыркнул, будто спалить желал. И подумал, что, может, и не пустое говорит боярин. И снова вспомнил слова волхвов.

А соблазн велик, ох и велик же соблазн! И страх — не мал. На что тут решиться?

Внезапно думы Горислава были прерваны.

— Спешные вести, княже! — заявил входя гриденьсотский и ввел гонца, запыленного, умученного. В тереме шибануло потом — смесью конского с человеческим.

Вглядевшись в осунувшееся лицо гонца, Горислав напругся весь, спросил нетерпеливо:

— Оттуда?

— Оттуда, княже.

— Ну?!

— Кий ушел с Истра. Идет к Днепру.

6. И ДНЕПРОВСКОЙ ВОДОЮ КОНЕЙ НАПОИМ...

В недостигаемой для стрелы вышине, едва приметные оку, парят орлы-степняки, которым сверху даже затаившийся зайчонок виден. И видна им дорога, а на дороге — кони, на конях — люди. Много коней, много людей...

Кто только не ходил по старой степной дороге! Позабыты имена тех племен и народов, не оставили они следа в памяти поколений. Остались кое-где курганы-горбы в безлюдной степи, поросшие выгоревшими колючими травами и кустами. Лежат под курганами неведомые бойцы, герои давным-давно отгремевших сеч. Кто, когда и что поведает об их делах, славных и бесславных?.. Многие племена и народы пройдут еще на своих конях ста-

рыми степными дорогами, новые дороги протопчут, новые курганы поставят, и встанут на иных курганах коротконогие, широколицые истуканы каменные...

До самого окоема во все стороны простерлась степь — где с ковыльной проседью, где сплошь седая от ковыля, а местами — как иноземный ковер, вся разукрашенная соцветиями — белыми и желтыми, нежно-лиловыми и сизо-синими. Поближе к дороге — червонные пятна маков, будто прошел здесь раненый великан, роняя капли своей крови. А сама дорога заросла высокими дикими травами.

Ложатся травы под копыта идущих по дороге коней. Кони, кони, кони... великое множество коней, идут, лоснятся в полуденном сиянии — вороные и караковые, рыжие и бурые, игреневые и соловые, гнедые и пегие — все с золотым отливом. Не лоснятся только, светлея матово одинокими пятнами в толпе темных своих собратьев, кони серые, их у полян не много: болеют чаще и копыта сбивают, хотя резвы и куда как нарядны.

Широка старая дорога, идут по ней кони по три в ряд, то чутко устави́т острые уши, то гневно прижмут. Одни гарцуют, взмахивают мордами, просят повода либо спорят с хозяином. Другие — покорясь строго натянутой узде — идут собранно, гордо изогнув гривастые шеи. Дружно, бодро идут кони, ступая в лад боевой походной песне, гремющей над робко притихшей степью:

Сизокрылый орел
На гнездо полетел.
Гей, огей, он полете-ел!
Княжий конь на заре
Ко Днепру поскакал.
Гей, огей, он поскака-ал!

Кий едет впереди на черногривом гнедом коне, в синем своем плаще с белым подбоем, прикрывающем доспехи и половину каштанового конского крупа. Голова князя не покрыта — ветер вихрит русо-седые его волосы, как степную траву. Крытый золоченой медью шелом с синими перьями из острого верха зацеплен за переднюю луку седла. Рядом — на выносливом пегом степняке — долгобородый Горазд в серебряном ромейском панцире поверх кольчуги. С другого боку — на злом вороном жеребце — Хорив, черноусый, сероглазый, в черном плаще и вороненом шеломе с золотой насечкой.

За ними следуют, голова к голове, два темно-серых в яблоках коня. На одном — гридень под княжьим стягом: на бело-синем шелку вышиты золотом конская голова под звездой, меч и стрела перекрещенные. То же — на щите Кия. На другом же сером коне — Брячислав, вчера еще отрок-гонец, а ныне — гридень, с мечом на поясе, с великим луком через плечо, в кольчуге и железном шеломе с бармицей¹.

Следом — сотня гридней, все — с бело-синими щитами, а на долгих копьях полощутся под ветром бело-синие значки. Вся сотня — в островерхих антских шеломах с бармицами, в крепких ромейских латах поверх легких полянских кольчуг. Отборнейшие, бывалые бойцы, лучшие из кметов! И в той сотне — чернокудрый грек Филоктимон и лазоревоокий гот Ареовинд.

За гриднями — головная тысяча, за ней — другая, третья... пятая... Тысяцкие — под своими стягами, сотские и десятские — под своими значками. За дружинами — ратники с воеводами во челе. Не та толпа, великая да бестолковая, с которой Рекс когда-то водил юного Кия в его первый, а свой последний поход. Теперь за князем полянским идет послушное его единой воле слаженное войско — не хуже ромейского...

Всадники, всадники, всадники... Разве сочтешь их? Обернется князь и не увидит конца своему войску, далеко за окоемом еще тянется и тянется оно через степь. Не видно ему и обоза под конной сторожей. Там, в обозе, Белослава с немногими прочими женами, там и выкупленные все же настырным Хоривом рабы-каменотесы. А за обозом — замыкающая тысяча, где рядом с тысяцким идет сам сивоусый Воислав, надежнейший из бояр. От него вперед, к князю, и обратно то и дело носятся во весь мах отроки-гонцы, обходя идущих по дороге и топча неудержимыми конями червонные маки.

А за княжьим конем
Мы на Горы придем.
Гей, огей, мы все приде-ом!
И днепровской водою
Коней напоим.
Гей, огей, мы напои-им!

— Не можно было нам на Истре оставаться, — говорил Кий своим спутникам. — Ну отбились бы раз, отби-

¹ Бармица — легкое кольчужное прикрытие под шлемом.

лись другой, все одно не было бы там житья от славинов.

— Примучить их было надобно, — проворчал Хорив, подергивая повод и горяча своего вороного. — Ромеи подмогу бы прислали. Совладали бы, не впервой!

— И Воислав теперь то же твердит, — вставил Горазд безразличным голосом, так что нельзя было понять, одобряет он такое суждение или не одобряет.

— Не дукай коня зря, — заметил Кий Хориву и молвил насмешливо: — Славинов примучить недолго, как же! Воиславу полслова скажи только — и нету славинов. Га?

— А лодии да челны для чего побросали? — не унимался Хорив. — Отправили бы обоз водой, не тащили бы его на хвосте, давно бы к Горам подошли. Сколько челнов оставили!..

— Лодии да челны, брат мой, за год новые оснастить можно. А войско новое за год не вырастишь. Оно не как жито — как дуб растет, не скоро да крепко. И его, как дуб, только секирой свалить можно... Нет, други мои, не жалею я, что с Истра ушел. О другом жалею: что с Днепра уходил. И не жалею, что челны да лодии оставил. Жалею, что Горы оставлял. Не разумел, где земля моя! Не разумел, что в ответе за землю свою, за людей ее...

Не часто доводилось слышать подобные речи от Кия, не любил князь каяться. Изумленные услышанным, Хорив и Горазд умолкли.

— Гляди, княже! — крикнул позади Брючислав. — Глядите все! Вон там...

— Ну и зорек же ты! — похвалил Кий, вглядываясь в указанную даль, где едва приметно темнели то ли камни, то ли хижины, то ли обман марева. — А ведь не стоят на месте! Нет, не камни...

— Неужто обры? — затревожился Хорив, тоже с трудом различая темные пятна вдали.

— Не должны быть обры, — ответил Кий не слишком уверенно. — Рановато обрам сюда идти. Может, дозорные росичей или гонцы от Щека?

— Так далеко от Гор? — усомнился Горазд.

— То кони! — разглядел Брючислав. — Одни кони, без всадников. Может, сеча была?

Кий все вглядывался, вглядывался и вдруг рассмеялся с облегчением:

— Нет, Славко, не сеча. Теперь и я вижу, не один ты... Верно, кони! Только дикие. Тарпаны. Догнать их не

просто. Я на своем веку только двоих стрелой достал.

— Дозволь? — серые глаза Хорива загорелись. — Я мигом слетаю и ворочусь.

— Дозволь и мне, княже? — попросился вослед Брячислав. — Моя стрела не минует тарпана.

— Не дозволю, — сурово отказал Кий. — Пока не воротимся на Горы, велю всем вместе держаться. Степь — не Майдан. Вы мне для более важных дел надобны. И твоим стрелам, Славко, еще немало найдется целей. А на тарпанов еще поохотимся, после. Когда древлян одолеем и от обров отобьемся.

— Еще от ромеев бы отбиться, — добавил Хорив. — Ведь не простят, пошлют вдогон. И к Горам явятся. Что тогда?

— Ромеям не до нас теперь, — успокоил Горазд. — Им через славинов не пройти. Могут обров натравить, то другой разговор.

— Обры нас и так и этак не минуют, — Кий вздохнул. — Успеть бы изготовиться!

А в родной стороне
Зори жарко горят.
Гей, огей, они горя-ат!
Под шеломом огнем
Очи князя горят.
Гей, огей, они горя-ат!

Несет Стрибог над травами степными песню кметов полянских. Идет по степной дороге войско великое, хвоста не видать...

Зато видать теперь вдоль окоема одну, две, три полоски темные. То — перелески, там — конец степи. Уже и до Днепра не так далеко. Кони будто учуяли трепетными ноздрями донесшееся дыхание реки — резвее пошли. Скоро — земли росичей, там — как у себя, там — все свои...

Прорезал равнину угловатый рыжий яр, а в стороне от яра — озеро, все в белых птицах — то вспорхнут, то нырнут, то замрут на воде. Да рядом — болотце, в камышах темных, комарья там — заедят.

Миновали яр и озерко с белой птицей. И снова — равнина, в седомом ковыле и несметных цветах — червонных и желтых, лазоревых и белых. А перелески все ближе. Вот один миновали, у него вдоль всей опушки — россыпь ромашек желто-белых. И знакомая птица —

удод, пестрый такой, развернул свой забавный хохолок, будто приветствуя возвращающихся.

Теперь впереди открылись обласканные Дажбогом горбы — в движущихся тенях от показавшихся немногих облаков. Все чаще встречались, подбираясь к самой дороге, рыжие яры, подбирались и удалялись, поворачивая туда-сюда прихотливыми изломами. И все чаще — перелески с ромашками по опушкам, деревья, кусточки, всевозможнейшие оттенки зелени, какие только ни придуманы богами на многоцветной приднепровской земле.

Они уже шли по ней. И надеялись засветло добраться до ближайшего становища росичей, чтобы там переночевать и с рассветом двинуться к Горам.

7. ПОЛЯНСКИЙ ОБЫЧАЙ

Древляне умыкали дев не только у полян. Умыкали у своих же, нередко перед тем сговорившись друг с дружкой где-нибудь на игрище меж селений в дни праздников. А бывало, и без сговору, силком... Своим после умыкания выкуп за деву платили — вено. Платили скотом да пушниной, медом и воском, а то и монеткой ромейской, кто чем богат был. Тем же способом добывали жен себе дреговичи и кривичи.

У полян же обычай был иной.

Когда Брячислав — еще до ухода своего на Истр — впервой увидел на Киевском перевозе Боянку, дочь перевозчика, то, казалось, не придавал тому особой значимости. Но с той поры, едва лишь наступала ночь и, отходя ко сну, смежал он веки, — тотчас видел золотую, как осенний лист, косу до пояса. А заслышав где-либо вдали девичье пение, начинал тосковать непривычно и снова вспоминал Боянку, похожие на крылья ласточки ее брови на смуглом скуластеньком личике и все ту же долгую косу. Будто оплела его своею чудесной косой, да день ото дня, ночь от ночи все туже и туже...

Не раз с той поры встречал он ее, возвращаясь с охоты, у перевоза. Теперь Боянка не отворачивалась, глядела без страха своими серо-синими, как днепровская вода, очами в темных ресницах. Бывало, глядя так, щурилась — насмешливо, непонятно, будто вот-вот прыснет. То ли Дажбог слепил, то ли Брячислав смешным виделся.

А что в нем смешного? Раз было решился, набрался духу, предложил ей не чирочка какого-нибудь — лебедя

великолепного. За такую птицу на погосте три ромейских монетки серебряных дать могли.

— На что мне? — Боянка перекинула косу, перестала щуриться, глянула безразлично. — Отцу вон отдай, за перевоз.

— Ты и отдай ему! — вскипел Брячислав, швырнув драгоценную птицу к босым ее ногам, побросал в сердцах всю прочую добычу и тут же, не раздеваясь и не разуваясь, только лук со стрелами держа над головой, вбежал по песчаной мели в реку, разбрызгивая воду, кинулся в волну и поплыл на правый берег, загребая одной только свободною рукой. А перевоз был рядом...

— Дурень, — удивилась Боянка, глядя ему вослед и презрительно пожав плечиком. Глаза ее опять сощурились было насмешливо, но тут же распахнулись, затревожились. Другим уже голосом сказала вслух сама себе: — Утопнет ведь...

От досады даже босою ножкой притопнула. Потом глянула на лежавшего тут же лебедя, на брошенную связку прочей битой прицы, подобрала все это — не оставлять же! — и потащила к отцу.

После того Брячислав долго не появлялся. Боянка же места себе не находила: неужто утоп, не доплыл? Да нет же, она сама видела, как из воды на правый берег выбрался. А может, простыл тогда в реке и занемог? А может... Ой! Не допусти, Дажбог!

И когда, спустя какое-то время, снова увидела его у перевоза, не смогла, не успела утаить радости в очах, подбежала даже, тронула за рукав, будто не веря, что это он, тот самый...

Брячислав затрепетал весь от ее прикосновения, но виду не подал, спросил небрежно:

— Чего тебе?

— Ты... — Тут она смутилась, почервонела вся и, не ведая куда деваться, едва слышно произнесла: — Ты... ты не стреляй больше лебедей.

— Отчего же не стрелять их?

— Красивая птаха. Жалко... Не стреляй, ладно?

Тогда он перестал напускать на себя важность, не удержался и улыбнулся во весь рот.

— Ладно. А гуся возьмешь?

— А что, давай! — Ее глаза, как бывало прежде, сощурились весело. — Отцу отнесу.

У Брячислава в голове шум пошел, будто меду перебрал.

— То не отцу... — начал он и сам себя принудил досказать: — То тебе. Тебе! А отцу... отцу само собой...

Вскоре после того разговора отец Брячислава в числе прочих многих ратников ушел вослед за княжеской дружиной — в ромейскую сторону. Ушел и не воротился из последнего своего похода... Не возвращался и князь. А на Горы пришел первый снег...

Зима в тот год выдалась небывало лютая. Поляне обогревались у очагов, не жалели топлива — оно вокруг росло в достатке, за лето наготовили впрок. Молодежь, не признавая мороза, играла, скатывались на санях и просто так с заснеженных откосов, кидались снежками. Озорница Боянка угодила снежком Брячиславу в глаз.

— Как теперь зверя бить буду? — кричал он дурачась и погнался за ней. Догнал, повалил в чистый сугроб, визгу и смеху было на все Горы и окрест...

Днепр встал накрепко. Иноземные гости, кто не успел уплыть до ледостава, зимовали на Горах.

Звероловы ходили по свежим следам в сопровождении злобных и голосистых лохматых псов, добывали пушнину. Ходил с ними и Брячислав, после сбывал добытое на погосте у Подольского ручья. Рыбаки терпеливо сидели у лунок, закутавшись в овчины.

Дружинники, оставленные с княжьим братом Щеком, пешие вои да конные ратники — всех не так уж много оставалось — зорко глядели с правобережных высот в заснеженные дали: не зачернеют ли вдоль белого окоема гультия с гуннами, а то и неведомые пока, но уже страшные обры? Не появится ли сам Кий с дружиной? Никто не появлялся.

Набегали больше из лесов — то древляне, то соседи заболотные. Щек с немногими своими кметами едва успевал отгонять их. Боянку чуть было древляне не умыкнули, да выручил Брячислав, старавшийся теперь, в неспокойное время, почаще находиться при ней, когда свободен бывал от новой службы. Что за служба? А вот какая: Щек, воротясь ранее срока из неудачного полюдья со скудной данью и без многих кметов, набирал новых, взял и Брячислава — в молодшую дружину, отроком. Лук со стрелами у новоиспеченного кмета имелись свои, а выдали ему копье, шелом островерхий, круглый щит из волчьей кожи с медным навершием, ношенный полушу-

бок — с павшего ратника. Да пару новых сапог, в которых на морозе ноги стыли. Пришлось добывать себе валенки. Кормежки да браги Щека дружине не жалел. И был не слишком строг, в отличие от старшего брата своего.

Хотели иные поляне назвать Щека князем своим, отдать ему двор Кия на горе, а княгиню Всемилу с недавно рожденным княжичем Идаром отослать на Истр, где Кий, сказывали, свой город поставил, к ромеям поближе. Поскольку подружился с самим ромейским царем. Но Истр — далеко, Царьгород — еще далее, а Горы — вот они, здесь, на Днепре. Как же быть полянам без князя на Горах? Прежде обходились, правда. Да теперь привыкли, Кий же и приучил. Он же и покинул... Решили созвать сходку.

— При живом старшем брате, — говорил Щека множеству собравшихся на Майдане людей, — негоже другому, молодшему брату двор и место его занимать. Дажбог не велит! Не велит так сотворять наш полянский обычай!

— А велит ли наш полянский обычай, — возражали ему, — чтобы князь землю свою на разорение оставил?

— Мыслите, — отвечал Щека, — что старший брат мой оставил свою землю древлянам и прочим на разорение, а сам ушел себе да с ромейским царем, знай, вино попивает? Так ведь мыслите, знаю! А того не уразумели, что о своей, о полянской земле, пекся князь, уходя к ромеям. Там, сговорясь с самим царем ромейским, станет вдвое крепче и сумеет побить небывалую силу обров, идущих к нам из дальних восходных земель. И древлян тогда побьет и любого нашего недруга. Рассудите сами, добро ли все это для земли полянской?

Снежинки падали на бурую соболью шапку Щека с зеленым верхом, покрывали белизной высокие плечи зеленой шубы на соболях, застревали в потемневшей к зиме бородачке. Внимали поляне сказанному без крика разумному слову. А Щека продолжал так же неторопливо, как бы рассуждая сам с собою вслух:

— Ежели забыл князь наш землю свою и отрекся от роду-племени своего, то не оставил бы здесь, на Горах, ни меня, брата своего, ни жены своей Всемилы, от которой ждал младенца. Так или не так?

— Так! — отвечали одни.

— Нет, не так! — кричали другие. — У него там Белослава есть. И еще ромейских жен себе добудет. Может, с самим царем породниться хочет?

— Верно!

— Ничего не верно! Тогда не брал бы с собой и Бело-славу!

— А Хорива для чего с собою взял? Хорив оставался бы с нами, показал бы древлянам где раки зимуют!..

Долго еще шумели. Кое-где, в разных местах Майдана, уже трясли друг дружку за ворот, совали сжатыми рукавицами в багряные замерзшие носы.

Видя такой оборот, Ще́к тут же принял решение и предложил его сходке. Только тем и унял баламутов.

Порешили послать гонца на Истр — пускай передаст князю Кию волю земли полянской: чтобы шел с дружиной обратно к Горам. Выкликнули, кто желает пойти гонцом. Многие отозвались. Но расторопный Брячислав определил прочих, вызвался первым. Сходка согласилась, ибо отрок так улыбался, что всем понравился. Ще́к тут же повелел выдать ему коня, а после долго еще беседовал один на один. Отрок оказался смышленным — Ще́к на него понадеялся... Но тот разговор был после сходки, уже после того, как принесли жертвы богам, щедро пропитав белый снег у капища червонной бычьей кровью...

Воротился Брячислав не скоро, вместе с князем. Уже не отроком пришел — гриднем. И тут же явился к перевозчику Кию, возмужавший, в высоком железном шлеме с бармицей, в ясной кольчуге, с нарядным бело-синим щитом, с долгим мечом на поясе. И верный лук — при нем, и копье с бело-синим значком, и конь темно-серый в яблоках — загляденье... У Боянки дух захватило, когда увидела.

И выложил красавец гридень столько золотых ромейских монет, сколько старый перевозчик за весь свой век отродясь не видывал.

— Это тебе вено за дочь, за Боянку, — решительно сказал ему Брячислав.

— Да я же... — Перевозчик растрогался, даже слезу пустил. — Да я бы и без вена отдал ее тебе! Ты же мне как сын, Славко!

— Такие же слова и князь мне сказывал, — отозвался Брячислав затуманившись. — Первого отца потерял я, а тут двоих новых обрел...

— Один — князь, другой — перевозчик, — заметила Боянка, не отрывая серо-синих очей своих днепровских от будущего мужа. — Один Кий и другой тоже Кий.

8. ПОЛЯНА С ДУБОМ

Сперва надо было полдня идти широкой лесною тропой. Миновать великий камень, похожий на отдыхающего быка. Затем — две сосны, переплетенные стволами. И выйти на широкую поляну, щедро облитую лучами Дажбога, с матерым дубом посредине.

Здесь, у дуба, Хорив спешился, стреножил коня — пустил траву щипать. Огляделся. Позади был пройденный им лес, за тем лесом — три горы над Днестром, одна — Лысая — своя, другая — Щекова, третья — Киева, да еще четвертая — пустая, где погребают усопших и павших, да еще далее не одна вдоль правого берега... одним словом, Горы! Они были позади. А впереди виднелся березняк с осинником, стволы позеленели от сырости. Далее — болото лесное, за болотом — еще лес, и в том лесу — соседи заболотные. Не такие, как поляне. Чем-то на древлян похожи и на дреговичей. Сказывали, будто прибыли они не так давно сюда, пришли издалека, отколовшись то ли от радимичей, то ли от вятичей. И язык у них — антский, понятный, только через каждые два слова третье срамное вставляют, даже при женах и девах, даже при родителях... Многие такие отколовшиеся приходили из полуночных лесов. Приходили и проходили далее на полдень, только мыто платили полянам за проход мимо Гор. А эти мыта платить не пожелали — Кий не пустил их, так и сидят за болотом уж которое лето. Да ладно бы смирно сидели — пускай бы, так нет же, озоруют, яко древляне. То и дело дев полянских умыкают.

Не миновала доля злосчастная и Миланку, пока Хорив в походе долгом был.

Говорил же ей: не ходи в лес одна, умыкнут! Да что теперь виноватить ее, бедняжку? И не одна она ходила — с подругами. Когда узрели соседей — звероподобных, в вывороченных овчинах, то перепугались и побежали с великим криком. Прибежали, едва дыша, к себе и тогда только спохватились, что Миланки с ними нету. То ли ноги со страху подкосились — отстала, то ли заведомо была намечена. Одно вывели после: умыкнул Миланку сам Ус — князь соседей заболотных. Мало ему жен!..

Все это поведали Хориву, когда воротился вместе с князем к родным Горам. С того часу спать не мог, об одном только мыслил: убить Уса, избавить от него Миланку.

Проще простого, казалось, собрать своих верных отроков да еще у старшего брата дружинников попросить и явиться в становище Усово. Но неведомы были полянам потайные тропы через болото. Оттого и озоровали соседи — безнаказанные, недосыгаемые. Как ромеи в своих крепостях, так и эти в лесу за болотом отсиживались.

Была у них, правда, еще речка, и плавали они по ней на челнах до самого Днестра, но к Горам их не пускали и на погост Подольский тоже, потому что не платили мыта. А добираться до той речки было тоже непросто. Но Кий находил таких, кто знал дорогу, и не раз посылал их гонцами к Усу — договориться по-добрососедски. Ни один из тех гонцов не воротился, а ответ находили здесь на поляне, под дубом: шапку гонца, полную дерьма... Кий гневался, не раз намеревался примучить тех соседей заботливых, да все недосуг было, дела поважнее заботили. И держал свой гнев при себе, накапливал до поры до времени...

Воротившись с Истра, князь послал еще одного гонца. Но не ведал, что с тем гонцом передал Хорив свой вызов Усу. Кабы ведал князь про то, может, после все иначе обошлось бы... Кто знает? Только не сказал ничего князю Хорив. И не сказал гонец, знавший Хорива сизмальства и поклявшийся Перуном, что не выдаст.

Не воротился и сей гонец. Шапку его не подкинули. И Хорив надеялся, что Ус примет вызов. Сегодня в третий раз явился сюда, к дубу. В прошлые два простоял до сумерек, не дождался. Дождется ли сегодня, придет ли Ус? Или подкинут шапку несчастного гонца — тогда хоть кому-то не уйти от Хорива, живьем возьмет!

А Дажбог ласкал и ласкал поляну. Над множеством цветов — белых, желтых, малиновых — трепыхались пестрые метелики, сновали с негромким гудением шмели и пчелы в желтых шароварчиках на задних лапках. Погибать в такой день на такой веселой поляне было бы обидно. Но Хорив не думал о возможной гибели. Он думал о Миланке. И желал лишь одного: чтобы Ус явился.

Он скинул на траву свой черный плащ, под которым хорошо укрываться от непогоды, но не от жары. В жару лучше всего носить светлые плащи, а еще лучше — вовсе без плаща, в одной белой сорочке, расшитой цветными нитями. Сегодня на Хориве была такая сорочка, но поверх нее — кольчуга, и уже нагрелась изрядно. Нагрелся и вороненый шелом с золотой насечкой. Тогда Хорив ото-



шел в тень дуба, чтобы металл остыл. Легкий щит с круглым железным навершием прислонил к стволу. А бывалый прямой меч оставил при себе — все, чем намеревался он встретить Уса. Если тот хоть на сей раз явиться соизволит...

Когда, откуда и как приблизился к нему Ус, того Хорив не успел приметить. Будто из-под самой земли, из-под корней дубовых тут же вышел. Сам не столько высок, сколько широк. Над скуластым лицом — железный шлем в меховой оторочке. У широко расставленных икрастых ног — скинутая медвежья шкура. И на великом деревянном щите намалеван медведь вздыбившийся — знак князя Уса. В волосатой руке с закатанным по-гунски рукавом — тяжелая секира на долгой рукояти. При поясе — меч в нарядных ножнах. В маленьких желто-зеленых глазках — насмешка. Насмешка и в прозвучавшем густом голосе.

— Здоров будь, молодой братец Киев! — хохотнул коротко и воткнул срамное слово. — Не ждал, что приду? Надеялся, обойдется — и честь не уронишь, и живот сбережешь? А я два дня думал и на третий пошел. На тебя поглядеть да себя показать. Вот он я, гляди!

— И ты гляди, Ус, — сумрачно ответил Хорив.

— А что мне глядеть теперь? — Он снова хохотнул и опять срамное слово вставил. — Все увидел. Вижу, не набрал ты еще силенок со мной переведаться. Не будет для меня чести одолеть такого. Так, может, разойдемся, поглядевши? У меня к тебе гнева нету.

— А у меня к тебе есть!

— Ого! Знать, зело страшен твой гнев. Что же мне теперь делать, убогому? Ой, ой, беда! Ох, устрасился я, коленки дрожат! Уж окажи такую милость, не стражай ты меня. Скажи, чем же прогневил я молодшего братца Киева?

— Сам ведаешь, Ус!

— Ведать не ведаю, а догадываюсь. Так ведь, милый ты мой, что с воза упало, то пропало. Чего же ты теперь после сечи секирой машешь?

— А сечи еще не было, — Хорив выдернул из ножен свой меч. — И секира не у меня. Взмахни-ка сам...

Не успел договорить, тяжелая секира полетела в него — едва успел увернуться — и глубоко вонзилась в ствол дуба, не выдернешь. Теперь в желто-зеленых глазках Уса не было насмешки — одна свирепость. С виду не-

уклюжий, но в движении скорый, он обрушил на Хорива свой меч — подставленный щит тут же раздался надвое.

Тревожно заржал конь Хорива, запрыгал, стреноженный, на месте, кося испуганным глазом на сражавшихся.

Оставшись без щита, Хорив кое-как отбил мечом еще один удар, ощутив всей рукой его нечеловеческую силу, а от следующего сумел уклониться. Если отбивать мечом каждый удар Уса, вскоре без сил останешься. Приходилось все чаще увертываться от непрерывно наседавшего врага, то и дело рычащего срамные слова, смердящего потом и еще какой-то прелью...

«Каково же Миланке с ним, с таким?» — подумалось вдруг Хориву, и от этого ощутил он такой приступ гнева и ярости, что не стал уклоняться от очередного удара, лишь чуть шагнул в сторону, как учил его Кий, и тут же всею силой толкнувших землю ног, рванувшегося торса и выброшенной руки, всею силой своей ненависти послал лезвие меча вперед, навстречу наседавшей темной туше. Ус, только что промахнувшийся и снова поднявший меч для следующего удара, никак не ожидал такого внезапного выпада, не успел ни отбить его, ни прикрыться щитом. А Хорив лишь почувствовал напряженной рукой недолгое сопротивление чужой плоти врезающемуся в нее железу, услышал отчаянный рев вперемешку с обрывками срамных слов и вслед за тем ощутил оглушающий удар по шелому. Выдержал ли вороненый шолом с золотой насечкой, сработанный лучшим кузнецом Подола, цела ли голова, он тотчас не сумел определить...

9. ЛОДИЯ В ОГНЕ

Милана была пятой из жен Уса. И наверное, самой несчастной. Так ей казалось. А другие? Что знала она о них? По сути дела, ничего, ровным счетом ничего. Они молчали о себе, как молчала и она. Они ничего не ведали о ее Хориве, об ее неугасимой тоске по нем, лишь пуще разгоревшейся здесь, в неволе. И она ничего не ведала о них. Был ли у каждой когда-либо свой жених? Или они любили Уса, мужа своего и князя? Как можно любить такого?.. Милана боялась и ненавидела его. И этого не скрывала. Пускай уж лучше знают, пускай казнят...

Княжий рубленый терем, куда Ус призывал то одну, то другую из жен своих, был высок стенами и кровлями, наряден замысловатой резьбой и свежей покраской —

червонной с белым. А вокруг — грязно и запущено, убого и уныло. Здесь — не Горы...

Все пятеро жен молча сидели в низком срубе за прялками, едва озаренные трепещущим светом лучин, отражавшимся в серьгах и в свойственных этому племени крученых серебряных и бронзовых кольцах во весь висок. Вдруг откуда-то из леса, окружавшего княжий двор и все становище, донеслись то ли завывания звериные, то ли крики человечьи. Послышался снаружи топот ног, ударили в било на берегу речки. Там что-то стряслось. Там слышались суета и неразбериха.

А здесь, в темном срубе, все пятеро молчали по-прежнему, лишь перестали прясть, прислушиваясь, да поглядывали друг на дружку — настороженно, испуганно, как овцы в загоне, услышавшие в начале ночи нагоняющий страх и тоску волчий вой.

«Может,— подумалось внезапно Милане,— это Хорив воротился из похода и с дружиной полянской выручать меня пришел?»

Подумалось и отразилось такой надеждой в очах ее, что самая старшая из жен, злая и жирная, зыркнула подозрительно, прошипев:

— Чему радуешься? Не к добру...

Тут дверь будто вылетела, невидимое чадо Стрибожье погасило едва не более половины всех лучин, и через порог, нагнувшись, вошли старейшины и несколько усовых кметов. Заполнили все помещение, застя и без того невеликий свет. Придвинулись до жути близко. Сверкали в полумраке глаза и оружие.

— Жены княжьи! — произнес кто-то из вошедших так хрипло и мрачно, что дух занялся. — Ваш муж и князь наш Ус... он сражен! В своем лесу, недалеко от своего становища и двора. Он умер и теперь собирается т у д а, к богам и пращурам. Одна из вас пойдет с ним. Кто желает?

— Я!

Милана даже помыслить не успела, не уразумела, как это так само собой получилось, что крикнула первой. Остальные жены покосились ошалело: надо же, притвора какая, все уверяла, будто ненавидит Уса, а вызвалась первой! Стало быть, любила его и не просто любила, а сильнее прочих?

Неразумные жены! При чем тут любовь? Ее любовь — в долгом походе. Воротится ли — неизвестно. Кто оборо-

нит, кто приголубит? Житье опостылело — оттого и вызвалась, поторопилась...

Едва только успела Милана крикнуть «я!», как почувяла жесткие ремни на запястьях и у лодыжек, сильные руки споро и привычно затянули узлы — теперь не убежать. Теперь не перерешить. Поздно!

Кто-то коснулся ее губ холодным краем ковша, приказал:

— Пей!

Она хлебнула — то ли мед, то ли зелье какое...

Все стало ни к чему. Будь что будет.

Две молодые полонянки — одна безразличная, другая жалостливая — помогли ей, связанной, добрести по переходу в усталый пахучим сеном тесный сруб и остались там при ней. И долго теперь не отойдут от нее.

Милане, невесть отчего, может от выпитого, захотелось вдруг петь. И она запела, сперва тихонько, а затем все звонче, родную, полянскую.

Ой, во поле жито-о, жи-ито
Конями поби-ито-о!..

Ей не возбранили — пускай себе поет.

Не заметила, как прошла ночь. И день. Еще ночь и еще день. Ей все давали испить того меда или зелья, и то ли спала, то ли не спала, временами пела, а все те же две полонянки, безразличная и жалостливая, помогали ей и не отходили от нее. И ремней на руках да ногах уже не было. Когда и кто снял их — не помнила. Убежать бы теперь! А как? Куда? Для чего?.. И не ведала, что творится снаружи.

А снаружи шла подготовка к проводам Уса. Приносили жертвы богам — слышались мычание и блеяние закалываемых животных, удары бубна и завывание волхва.

Старейшины деловито разделили все, чем богат был Ус, — одежды, украшения, оружие. Одну третью часть отдали его родичам. Другую третью часть оставили покойнику, чтобы там ни в чем нужды не испытывал. Третья же треть пошла на расходы по предстоящей тризне.

Самого Уса закопали неподалеку и не слишком глубоко — так, чтобы самим после легче было отрыть, но зверь и птица чтоб не поживились.

На невысоком берегу расчищали место, вбивали столбы, снаряжали великую лодию...

Милана не ведала, что минуло уже десять ночей, когда

за нею пришли. Первым делом снова дали испытать — и вскоре опять запела. И все пела, пела, пока полонянки расчесывали и заплетали ей косу, обряжали ее в нарядное с вышивкой платье, украшали ее бусами из цветных каменьев, серебряными обручами-запястьями и височными кольцами, тяжелыми серьгами — полянские легче...

Когда вывели на берег — зажмурилась от света, отвыкла. Шла только что вымытыми босыми ногами по колкой прохладной травке. И то видела множество людей окрест, то будто не видела.

А лодия была уже вытащена из воды, и гроб с Усом, дубовый, долбленный, как челн, был уже вырыт из земли.

Сбили заступами землю с деревянной крышки, сбили прочь ту крышку с гроба, вытащили оттуда Уса, зашито в саван, и гусли, на которых любил покойник поигрывать. Подошла сухая старуха с железными сивыми волосами и железными сивыми глазами, подала повелительно знак — саван тотчас вспороли, Уса вытряхнули и принялись обряжать...

Лодию тем временем взгромоздили на четыре врытых в берег столба, покрыли потертыми, неведь откуда, коврами и стеганым покрывалом из золотистой ромейской парчи. На парчу усадили принесенного Уса, подперли подушками, чтоб не сваливался. На нем красовались узорчатые остроносые сапожки с высокими каблуками, в них были вправлены ярко-синие шаровары, прикрытые сверху нарядным кафтаном — все той же парчи, с золотыми пуговицами. Под кафтаном проглядывала меховая безрукавка — чтобы не озяб т а м. На непривычно исхудавшее, будто из синей глины слепленное, широкоскулое лицо, обросшее по щекам и подбородку, нахлобучилась соболья шапка с червонным верхом. Над князем натянули легкий шатер. И все суетились, суетились вокруг непонятного синеликого Уса не Уса, не поймешь кого... Клали цветы и пахучие травы, глиняные кувшины с медом и куски копченой кабанины. В ногах постелили медвежью шкуру, которую нашивал при жизни до последнего своего часу. В головах и по бокам разложили аккуратно щит с намалеванным медведем, меч и секиру. Не забыли и про гусли. Задержали занавески шатра — теперь Милана не видела того пугающего лица из синей глины. Живой был ей страшен Ус, мертвый — страшнее прежнего.

Она увидела, как приволокли любимого пса покойного. Пес скулил и упирался, чуя недоброе. Рослый кмет, ухмы-

ляясь, раскроил беднягу с одного маху на две половины и обе швырнул в лодию, забрызгав червонным светлые занавески шатра.

Притащили черного петуха за ноги, открутили гребнистую голову и тоже закинули в лодию, а безголовая птица с криком из роняющей кровь шею побежала к воде, не добежала и свалилась, трепыхаясь короткими крыльями.

А по берегу гоняли двух коней — вороного и серого. Гоняли без передыху, покуда те не начали спотыкаться и наконец, загнанные, свалились. Их тут же добили секирами и отволокли к столбам, державшим лодию. Туда же добавили двух посеченных волов.

Милана моталась, как привязанная, от одной своей спутницы к другой, все ждала: сейчас и ее посекут, порубят... Начала мелко дрожать, ничего не могла с собой поделать. Уж скорей бы!..

Будто услышали боги ее желание — подошел тот высокий, что кроил пса, поманил:

— Пойдем!

У Миланы подкосились ноги — полонянки успели подхватить, поддержали. В сопровождении высокого обогнули лодию на столбах, подошли к неказистому шатру — до того она этого шатра не примечала.

— Входи!

Войдя вслед за ней, высокий откинул меч, властно схватил ее за плечи, крутанул к себе лицом... А руки у Хорива тоже были сильные, но такие ласковые...

Отпуская ее и все так же ухмыляясь, высокий сказал:

— Передай своему мужу и моему князю, что только из любви к нему и к тебе совершил я сие. Иди!..

Ее встретили все те же полонянки — жалостливая и безразличная. Кто-то через их головы протянул руку с ковшом:

— Пей!

Отпила. Стало чуть полегче. Когда же конец? Скорей бы!

Но конца еще не видать было. Милану подвели к срубу без крыши, кметы подставили крепкие ладони под ее босые ноги и, придерживая всю, разом подняли до верхнего наката.

— Гляди туда! Что видишь?

Она заглянула внутрь сруба и ничего сперва не увидела, но затем ей почудилось, будто видит отца... и рядом —

мать... Улыбается ласково своей несчастной дочери... Жалеет...

Сказала — ее опустили, тут же снова подняли, тем же манером.

— Гляди зорче!

Милана поглядела зорче. И увидела многих своих родичей — сидят все вместе, брагу пьют, ничем не заедают.

В третий раз опустили и подняли. В третий раз заглянула в сруб.

— Что зришь?

— Вижу... мужа вижу... он — т а м... окрест сад такой, зеленый-зеленый, и цветет весь... много отроков... муж заметил меня, к себе зовет... Ведите же к нему, ведите!

Милана не то видела и не то хотела говорить, совсем не то, но получилось отчего-то вот так, не иначе...

И повели горемычную к лодии. Вздогнула, отшатнулась она, встреченная старухой — железноволосяй, железноглазой.

— Пей!

Теперь приказывала старуха. Она отняла у Миланы бусы, обручи, височные кольца, выдернула серьги, едва не оборвав уши. Обе полонянки находились теперь при отвратительной старухе, беспрекословно выполняя каждое ее повеление. Они помогли Милане взойти на высокую лодию, следом вскарабкалась и железноглазая.

— Пей!

Милана выпила еще ковш. Который уж? Потеряла счет. Да и считала ли?

— Пой! — приказала старуха.

И она запела полянскую прощальную, всю пропела, от начала до конца.

— Теперь иди к нему!

Милана заколебалась было, но старуха цепкими, как у ястреба, сухими пальцами схватила ее русый затылок и втокнула в шатер с покойником.

Тут впервые за все эти дни Милана закричала — тоскливым, отчаянным криком. Но никто снаружи ее голоса не услышал. Потому что, по знаку все той же зловещей старухи, окружившие лодию кметы звонко и часто заколотили по своим щитам — деревянным и кожаным, железным и медным, круглым и угловатым, всяким. Колотили кто чем: у кого был меч — мечом, другие — обухом секиры, иные — просто дубиной.

И шестеро кметов — один за другим — входили в забрызганный кровью шатер, к мертвому Усу и все еще живой Милане. И не было слышно, что они — один за другим — там творили. Потому что окрест неустанно били в щиты — грохот и звон висели над становищем, будто кипела здесь сеча лютая.

Ни одна дева и ни одна жена не должны были услышать крика обреченной. Иначе никто из них никогда после, ежели потребуется, не решится вызваться: «я!»

Шестеро кметов — один сменяя другого — все ушли наконец из шатра. Вместо них туда направилась в сопровождении двух силачей все та же железноокая старуха. Силачи, войдя в шатер, тотчас взяли полуживую Милану за руки и за ноги, швырнули к недвижному Усу. Старуха тут же набросила ей на шею, где еще недавно красовались бусы, узкий засаленный ремень и отдала его концы силачам. И пока те тянули, каждый к себе, проворно выхватила из-за высохшей пазухи широкий нож и дважды всадила его меж ребрышек задушенной Миланы.

И ничего не было слышно снаружи: кметы били и били в щиты...

Смеркалось. И в сумерках появился совершенно нагой бородатый человек с факелом — брат Уса. Он забегал вокруг лодии, стараясь не глядеть на нее, отворачиваясь и наугад поджигая наваленный к столбам хворост. Мертвые кони и волы тоже были завалены хворостом. Старуха же и силачи давно покинули шатер, оставив в нем два трупа да рядом — остатки пса и петушину голову.

Будто по заказу жуткой старухи, взыграл ветер с реки — столбы и лодия, окруженные хворостом, вмиг занялись бешеным пламенем, только треск пошел, да искры вперемешку с дымом рванулись в темнеющее небо.

— Боги любят нашего князя, — произнес старый сутулый кмет, опираясь на бывалую дубину и любуясь неудержимым пламенем. — Они сделали так, чтобы поскорей унести его туда, в свои зеленые сады.

10. БЕЛЫЙ ВОЛХВ ПРИХОДИТ К ХОРИВУ

Теперь он пришел к Хориву — появился у него на Лысой горе, подобный светлому духу, неведомо откуда, то ли из яра, то ли по воздуху перенесся. При знакомом долгом посохе нездешнего пятнистого дерева, в белом шерстяном плаще поверх белой, до пят, рубахи. Белокудрый,

белобородый, белоглазый... Сторожа признала Белого Волхва, пропустила на Хоривов двор, за частокол. Псы — цепные и вольно бегающие — подали было голос, но поглядели, потянули носами и притихли, приветливо вертя пыльными нечесаными хвостами.

Хорив был как раз у себя на дворе, в легкой сорочке, заправленной в шаровары, без плаща и шапки. Обучал отроков, как копье копьем же отбить, не покидая строя, по-ромейски. Приметил явившуюся высокую белую фигуру, велел отрокам продолжать науку меж собой, а сам поторопился навстречу старику. Предложил вина привозного ромейского — волхв отказался:

— Мы свое пьем.

— А меду, нашего, полянского?

— Мы, волхвы, свое пьем,— повторил уточняя.— А мед я только тот потребляю, каким пчела свою детку кормит. Свежий, не хмельной. Сам пригуби, ежели охота, я подожду.

— Один не пью,— проявил себя и Хорив.— Проходи, рад тебе.

— Благодарствую. Сидеть тут с тобой не стану, дорога долгая, а время коротко. Лучше ты со мной пойд.

Хорив знал, что уговаривать старика — затея пустая. Накинул на плечи свой черный плащ, надел хвостатую шапку из редкой черной лисы, опоясался коротким ромейским мечом. Кликнул было отроков с копьями, но волхв остановил:

— Не надо. Одни пойдем. Или страшишься один ходить?

— Я? — Хорив только дернул черной полоской усов над губой.— Пускай другие страшатся!

— Не хвались, идучи на рать...— в свою очередь усмехнулся старик и не договорил присловья, а Хорив не обиделся — засмеялся. Ту же шутку слыхивал, бывало, от старшего брата и сам не раз сказывал ее своим отрокам.

Они прошли верхней тропкой, оставив позади себя и Лысую гору Хорива, и соседнюю — Щека, и ту, что за ней — Киеву. Хорив оглянулся раз и за деревьями не увидел дворов, только дымок над зеленой листвою уходил, чуть клонясь, в высокое лазоревое небо.

— Что головой крутишь? — спросил волхв.— Что учуял?

— А ничего, так...

— Не таись, вижу мысли твои. По родной крови затосковал? Оттого на дворы братьев глядишь?

Хорив промолчал. Ведает ли Белый Волхв то, что ведают они с Кием? Волхвы вроде все ведасть должны. А старик принял то молчание Хорива и сказал непонятно:

— Родная кровь... Это, конечно, дело немалое... Комар на лбу у тебя. Не чуешь?

Хорив хлопнул себя по лбу, взглянул на ладонь — размазано пятнышко червонное.

— Ого, насосался! Успел...

— А ведь то твоя кровь в комаре была. Твоя, не чужая. А ты его — хлоп! Вот тебе и родная кровь...

Любил Белый Волхв непонятные речи вести.

Вышел великий безрогий лось, встал поперек тропы. Эх, надо было лук с собой прихватить! Мечом его не возьмешь, не подпустит так близко, да и мал ромейский меч на сохатого...

— Стой и замри! — повелел волхв, как бывало прежде. А сам спокойно подошел к сохатому — тот ждал, не упрыгивал. Старик наклонился к раздвоенным копытам, сорвал что-то, предложил зверю. Тот осторожно потянулся немалой своей верхней губой, принял угощение и ушагал в лес.

Хорив вспомнил свой давний приход к Белому Волхву, как обходился старик со всяким зверьем, как не кусали его пчелы и не тронули сегодня псы на дворе. Великой премудрости старик! Все, что делает, что скажет, — все с богами в согласии... Но куда он ныне направляется? Ведь долго идут уже. Не к пещере волхва — в иную сторону. Может, заплутался? Нет, быть такого не может, волхвы не плутают. А здесь и Хорив не заплутается, места все свои, знакомые.

Знакомые, знакомые места! Вот и великий камень, на отдыхающего быка похожий. Вот и две сосны стволами переплелись. А вот и та поляна, вся обласканная Дажбогом, с тем самым дубом посередине. А далее — березняк виден с осинником, стволы сырые, зеленые, и за ними — болото, а за болотом... Знать бы ту тропу заветную через топь, одним соседям ведомую! Может, Белый Волхв ее ведает? Волхвы все ведают... Может, для того и привел сюда Хорива — показать ту тропу? По которой прошел в последний раз ненавистный Ус — навстречу заслуженной

своей гибели. Тропу, по которой перед тем утаскивал проклятый богами Ус бедняжку Милану — и те зеленоствольные березки с осинками слышали ее крик отчаянный. А Хорив не слышал, не подоспел на выручку из далеких ромейских земель, с берегов покинутого теперь Истра. Раньше бы покинуть, раньше воротиться!..

Белый Волхв остановился у дуба, повелительно ударил в землю посохом.

— Иди сюда, Хорив! Хочешь — сядь, отдохни. А хочешь — стой. И внимай. Здесь убил ты Уса?

— Здесь.

— Один был?

— Один... Нет, конь еще был со мной. И меч.

— А Ус один пришел?

— Без коня. С мечом и секирой.

— Коня через топь не проведешь... А ведал ли ты, что с Усом четыре брата его приходили?

— Не ведал.

— Не ведал, так... Оборонила тебя сила небесная, Хорив! Вон в тех кустах сидели братья.

— Отчего же... отчего же не помогли они Усу? Да ежели бы Кия или Щека кто вот так... да я бы!..

— Ты бы! — усмехнулся старик невесело. То ты, а то они. Да ведь ты удружил им, убив Уса. Теперь они третью часть его добра и всех его жен себе возьмут. А старшего вместо Уса князем на ихней сходке назовут. Для чего же им было мешать тебе и помогать Усу? А ты говоришь, родная кровь...

— Но я избавил от него Милану! — воскликнул Хорив, ничего пока не разумея. — Я отомстил за нее!

— Избавил... Отомстил... — Белый Волхв глядел своими светлыми мудрыми очами из-под седых бровей, глядел отчего-то со строгой жалостью. — А ежели старшему брату Уса достанется Милана? Легче ей будет?.. Не дергайся, не достанется. Никому не достанется... Эх, Хорив! Много надо терпения, чтобы что-то сделать. Ты терпеливо ждал Уса три дня... Но еще больше требуется порой терпения, чтобы чего-то не делать!

— Не разумею...

— Сейчас уразумеешь, милый. Внимай и молчи. И не шевельнись, пока не доскажу всего. Замри и не шевельнись! Не шевельнись... Замри...

Будто связали Хорива. Дуб на поляне скорее мог бы

пошевелинуться, а он не мог. Старик же начал рассказывать. И рассказывал долго-долго, ничего не упуская. И каждое его слово было как тупой нож под сердце.

— Вот что довелось претерпеть Милане,— закончил он.— Оттого что ты убил Уса. А ведь можно было иначе. Отчего ко мне не пришел? Тропу забыл?..

И тут будто бы развязали Хорива, он вскрикнул тоненько, как младенец, сорвал с себя плащ и шапку, оттолкнулся всею силой от земли, распластался над травой и — как брошенное мощною рукой тяжелое копье — ткнулся головой и неколебимый ствол дуба! Отпрянул и снова — головой вперед, к стволу!..

Кто ведает, сколько лет живут волхвы? Кто ведает, откуда вдруг берутся несвойственные старикам быстрота и сила в их высохших руках? Эти быстрота и сила спасли теперь Хорива: не успела его голова вторично и, надо полагать, окончательно достигнуть ствола, как Белый Волхв перехватил старыми руками молодое тело, прижал к траве. Хорив бился, изгибался, ронял пену, как заарканенный конь, пытался грянуться затылком о землю, но старик придерживал обезумевшую голову, не допускал до земли. И все бормотал, бормотал что-то... Бормотал, бормотал...

Очнувшись, Хорив встал молча, без суеты. Белый Волхв, тоже не говоря более ни слова, подал ему шапку и плащ. Хорив надвинул шапку и натянул на плечи плащ. Поискал у пояса, спросил глухо:

— Меч где?

— Мне на память оставишь. У тебя другой найдется, а у меня ни одного. Не жалко для меня?

Хорив молча помотал головой: нет, не жалко. Ничего для Белого Волхва не жалко. А старик положил ему невесомую руку на плечо и, глядя в глаза, тихо, неторопливо молвил:

— Пойдешь один, без меча. Никто тебя не тронет в пути, добрая сила оборонит тебя. Воля неба приведет тебя на твой двор. Ступай же!..

И Хорив, все так же молча, пошел. Обрато. К своей горе, на которой — его двор. На которой — Майдан и капище, а над капищем — боги... Лицо Хорива было теперь будто из дерева вытесано, как у тех богов на Майдане. И под серыми глазами — чернота.

11. ХОРИВ ПРИХОДИТ К КИЮ

Он вошел к старшему брату в терем, когда тот сидел один, сняв сапоги и поставив натруженные, только что вымытые ступни на мягкую бурую шкуру убитой недавно медведицы.

Он вошел не спросясь и даже не поклонившись, с лицом, будто из дерева высеченным, как у богов на Майдане. И под серыми глазами — небывалая прежде чернота.

Кий молча указал на лавку — рядом с собой. Но Хорив не сел. Стоял, облизывая пересохшие губы, похоже было — собирался с духом сказать.

Не надо быть догадливым, такое уж всегда лицо было у Хорива, что все на нем видно, когда печаль и когда радость. На сей раз, однако, не просто печаль, не тоска даже — горе безысходное, и в очах на недвижимом деревянном лице — небывалая доселе одержимость, недобрая, беспросветная.

— Сказывай,— произнес устало князь, глядя в столь необычное лицо брата.

— Дозволь мне с отроками моими на заболотных соседей пойти.

— Коней девать некуда? — строго отозвался Кий.— В болоте загубить решил? Уж лучше продай. Или мне уступи. Да и Щек не откажется.

— Коней не загублю,— возразил Хорив.— Загублю племя Усово. Чтобы и семени от него не осталось! А землю тебе отдам.

Кий хмыкнул, глянул пылливо, взбодрил перстами недолгую свою бороду, русую с проседью.

— Самого Уса живота лишил, все мало тебе? Весь род его извести жаждешь?

— Жажду, княже! В сухой степи, когда шли с Истра — помнишь? — не так влаги жаждал... Дозволь, княже! Не загублю ни коней, ни отроков, доверься! Пока живет племя Усово, мне не жить!

— Еге-е!.. Может, осушим по ковшику? Для разговору, га? Эй, кто там есть!.. Да ты садись, садись. Желаеть, сапоги скидывай, ты же не в княжий терем — ты к брату своему пришел...

Хорив поддался на ласковый голос, сел на лавку. Сапог, правда, скидывать не стал. Им принесли старого меду. Осушили по ковшику.

— Знал бы ты, что они с моей Миланой сотворили!..

Кий молча и терпеливо выслушал долгий, нелегкий рассказ Хорива. Подливал ему еще меду, сам же более не пил. Внимал. Внимал и крепкую думу думал.

То племя пришло и село за болотом, не желая платить мыто полянскому князю за проход мимо Гор вниз по Днепру. Мыта не дали. И дани с них в полюдь не взято ни разу. За что честь такая? Не слишком ли долго терпит князь полянский? Чего ждет? А тут...

— Еще меду, брат?

— Не надо, хмелеть начну. Доскажу уж...

— Досказывай, Хорив, досказывай! Я внимаю.

Бедный, бедный Хорив! Кий разумел его, всей душой, всей плотью чуял — будто с в о е болело. Будто не чужая кровь кипела сейчас в этом серооком сыне неведомого племени — с в о я, полянская! С в о я боль переходила к Кию от Хорива с каждым словом! Выходит, не чужая кровь кипит — с в о я? Отчего так? Как же так? Может, через молоко матери? Кто ведает? Одни только боги.

Нелегко князем быть полянским. Там — ромен, тут — древляне, где-то — обры... А гунны с гультаями всякими? И славны — вчера братья, а сегодня враги лютые... Как с кем быть ему, посреди всех? Надобно быть, как тот добрый меч, что изготовлен на Подоле. Достаточно твердым, чтобы не погнуться. Достаточно гибким, чтобы не сломаться. И достаточно острым, чтобы поразить недруга. Легко ли?

А тут еще эти... заболотные. Как заноза! Так, может, дозволить Хориву? Га? Пускай потешит душу свою изболелуюся. Да заодно и ту занозу прочь выдернет. Чтобы не саднила...

Давно уже закончил Хорив свой рассказ, молчал, глядел угрюмо под ноги, ждал, что же ответит ему князь.

— Ну так, — промолвил наконец Кий, поднимаясь и подтягивая распушенный перед тем очкур. За ним поднялся с лавки и Хорив, подобрался весь в ожидании слова княжьего. — Ну так. Пойдешь со своими отроками на заболотных, ладно... Погоди, погоди, внимай! Я внимал, теперь ты внимай. Пойдете пешими. Отчего, мыслишь, и древляне, и славны, и заболотные все чаще пешими сражаются? Оттого что в лесу с конем не развернешься, далеко не ускачешь. И по болоту кони не ходят. Конь — не сохатый.

— Ежели нам пешими через болото, — повернул ув-

лекшегося князя Хорив, — то надобно тропы вывести.

— А я понадеялся, полагал, что ты выведал. Прежде чем проситься. Выходит, полез в воду, не проведая броду? А с конями где и как хотел пройти? Га?

Хорив опустил глаза. Стыдно стало. Ведь правду сказал князь, ведь опять не подумал до конца, поторопился. Верно и Белый Волхв укорял... Только Хориву оттого не легче!

— Одному тебе не совладать, — продолжал Кий. — С тобой Щек пойдет, поведет своих отроков. Да я сотни четыре старшей дружины дам — две тебе и две Щеку. Сам на Горах останусь, в случае чего — пошлете гонца, приду на выручку. И к болоту тебе ходить ни к чему. Ходил уже, будет! Той тропой Щек пойдет. Что и как ему там делать, то я скажу ему. А ты пойдешь иным путем, коего прежде не ведал. А я вот выведал! Или, может, и ты догадался?

— Кабы!.. — И Хорив подумал, что знай он тот другой путь, не пришлось бы выманивать Уса на поляну с дубом и Милану сумел бы выручить. Может, и Белый Волх на то намекал, когда корил? Может, приди к нему Хорив, то и указал бы тот путь ему? Ох, нет прощенья Хориву! Боги простят — сам себе не простит. Одно теперь осталось ему: сперва заболотных соседей известить, а после — в первой же сече сложить непутевую голову. Сам будет искать себе погибели!

— Экий ты недогадливый! — укорял Кий. — Сам ведь только сейчас говорил, что лодию с Усом на берегу ставили. Забыл про реку?

— Так в нее челнами войти надобно! — воскликнул Хорив.

— Во-о! Очнулся, слава Перуну! Теперь дело слышу... Уразумел, стало быть?

— Уразумел! — выдохнул Хорив, снова охваченный одним лишь нетерпением: скорей бы!

Но Кий говорил по-прежнему неторопливо:

— Внимай далее. Возьмешь в затоне у Почайны моих челнов-однодеревек сколько потребуется. Там их немало наготовили, зря ты горевал по тем, что на Истре остались. Скажешь мне только, сколько возьмешь, чтобы ведал я. Сажай на те челны своих отроков да две сотни моей старшей дружины. Поводыря я дам — укажет, где от Днепра сворачивать, и далее путь укажет. Пойдете на веслах, ночью, без огня и без шума. К рассвету подойдете к стано-

вищу. Как раз к тому же рассвету и Щека свое дело делает, которое я ему скажу. А твоя забота будет одна: не пускать заболотных на воду. Чтобы ни один не ушел.

— Уразумел, княже! — мрачно обрадовался Хорив. — Чтобы ни один...

— Ни один! — сурово подтвердил Кий. — То и древлянам наука будет... А сейчас покличем Щека, бояр, тысяцких, посоветуемся, как все наилучше изготовить. К вечеру принесем жертвы богам да на коне погадаем. Ежели добрый будет знак, завтра за день снарядитесь и к ночи двинетесь, каждый своим ходом и со своим поводырем.

— Отдай ту землю Щеку, княже, — от души предложил Хорив.

— Ты же мне обещал!

— Обещал, верно, — вспомнил Хорив и махнул рукой: — Да мне что! Мне никому из вас не жалко. Хочешь — себе бери. Хочешь — Щеку отдай. Или поделите. Как сам решишь.

— Решу, — сказал князь. — А тебе что же, не надобна та земля? Нисколько?

— Нисколько, княже. Я поле люблю, чтобы скакать да скакать. А там, за болотом, лес один.

— То не беда, Хорив. Мы из того леса поле сотворим...

12. КИЙ ПРИХОДИТ К БЕЛОМУ ВОЛХВУ

Он пришел к Белому Волхву, суровый князь полянский. Пришел, как приходил, бывало, в юные свои лета, которых — не воротить... Пришел, как и в те прежние времена, один, без провожатых, — поделиться заботами и думами, услышать слово мудрое и вешее.

Они беседовали в пещере кудесника, освежая распаленное нутро соком кисловатых лесных ягод. Кий, отстегнув меч, скинув синий с белым подбоем плащ и отороченную соболем синюю с белым пером шапку, восседал на колоде, покрытой свалявшейся овечьей шкурой. Белый Волхв сидел рядом, на другой такой же колоде. Он только что кончил гадать, глядел на догорающий огонь, задумчиво трогал струны гуслей, молчал пока. Молчал и князь, ждал терпеливо. Из полумрака глядел на них черными дырами глазниц небывало великий череп с рогами вместо зубов.

Наконец старик заговорил, поначалу будто с самим собой:

— Много огня... зело много огня... И недоброго цвета огонь — много крови. Зело много крови... А к чему столько? Надо ли?.. Боги дали нам огонь — для добра, для тепла и жизни. Боги дали нам кровь — тоже для добра, для тепла и жизни. Но то, что дадено для добра, может служить и злу. То, что дадено для жизни, может служить и смерти...

— А бывает ли добро без зла? — решился спросить Кий. — Бывает ли жизнь без смерти?

— Сам ведаешь, княже, — ответил Белый Волхв и теперь не сам с собою говорил, а обращался прямо к Кию. — На все воля богов.

— Ну ежели на все воля богов, то к чему тогда воля людей? К чему тогда моя, княжья, воля? Ведь ежели от моей, княжьей, воли ничто не переменится, тогда к чему мне дружины в поход водить? Боги сами поведут, коли на все их воля. К чему мне тогда стремиться недруга одолеть в сече? Боги сами определяют, кому победить, а кому пасть. Что же мне тогда остается? Сидеть в бездействии да мед потягивать, ожидаячи, как сами боги всем распорядятся? Не разумею!

— Богов надобно чтить.

— Я ли не чту их, богов наших! — воскликнул князь. — Я ли не обращаю к ним денно и ночью взоры и думы свои! Я ли не приношу им щедрые жертвы! Сам ведаешь. Для чего же укоряешь? Га?

— Не укоряю, княже, нет. Не укор — иное...

— Что же? Не разумею. Растолкуй, будь так ласков.

— Внимай же. То, что скажу тебе, не мною решено и не мною заведено. Так оно есть само по себе, единожды и навсегда решенное и заведенное богами. Я же скажу тебе то, что о том ведаю. Скажу так, как сам о том мыслю. — Старик прихлебнул ягодного соку и продолжал: — Вот ты толкуешь о своих заботах княжьих. Вот собрался ты в поход и ведешь свою дружину. Твоя забота — повести ее так, чтобы поход удался. И — слушаясь твоей воли — каждый кмет идет за тобою так, а не иначе, не как попало, и потому походы твои удачны. Согласен?

— Так.

— Внимай же далее. Вот идет за тобою кмет, а его комар донимает. Кмет отгонит комара либо прихлопнет, только и всего. Ни на походе, ни на исходе сечи то никак

не скажется, волю твою княжью кмет исполнит. Ну а с комаром — отогнать его кмету или прихлопнуть — то твоя ли княжья забота? Надобна тебе такая забота? Надобно тебе в таком деле свою княжью волю высказывать? Или то забота кмета, и в таком деле он без твоей княжьей воли обойдется, сам, своею волею решит, прихлопнуть ему комара или отогнать? И ты не посягнешь на такую волю своего кмета. Вот так и воля богов — на твои княжьи заботы и на твою княжью волю не посягает. Разумеешь?

Кий внимал, сдвинув крылья-брови, стремился уразуметь.

— Еще скажу, княже, чтобы легче было уразуметь тебе. Твоя забота, чтобы конь твой сытым был. Твоя воля — погнать ли его на недруга, опутать ли и отпустить на лужок пастись. Но вот опутал ты его и пустил пастись. Твоя ли забота, чтобы траву зеленую щипнуть да зубами перемолоть? Нет, не твоя это забота, и ни к чему здесь твоя воля. То забота самого коня, на то его воля, как губами траву щипнуть, как зубом о зуб потереть. А ежели конь переложит ту заботу на тебя? Что тогда? Как траву щипнешь, рукой или губами?

Кий засмеялся.

— Смеешься? Стало быть, разумеешь. Так будь же послушен воле богов, но не перекладывай на них своих забот. На твои заботы, на твою княжью волю никто не посягает. Твои заботы при тебе и твоя воля при тебе. Только заботы твои и воля твоя должны быть в согласии с волею богов. Уразумел, княже?

— Уразумел. Пускай конь мой сам, как знает, траву щиплет и зубами перемалывает, ежели я его пастись пустил. А не пущу пастись, погоню его на недруга — тут уж никакой травы. И кмет мой пускай комара того хоть хлопает, хоть слопает, то его забота. Только при том за мной пускай идет, куда поведу. Но ежели вместо того, чтобы на недруга секирой ударить, на комара секирою махать начнет, — такого кмета мне ненадобно!

— На комара секирою... — повторил задумчиво Белый Волхв. — А не получается ли так, княже, что поход на соседей заболотных, тобою затеянный, вроде как на комара секирою?

— Комар сей — кровожадный зело! И не секирою его — ладошкой. Невеликим ведь числом бить их будем. Только побьем непременно. Так побьем, чтобы впредь неповадно было!

— Что неповадно, княже? — Волхв покачал белой головой, не соглашаясь. — Дев умыкать? Так и древляне умыкают. Почто древлян не побьешь? Тут уж не комар — коршун!

— Отчего же, бил их не раз. И еще бить буду. А чтобы коршуна стрелой верней достать, надобно сперва комара прихлопнуть, в око лезущего. Нет уж, комару этому заболотному не будет от меня пощады! Мыта не платят, добром под мой стяг идти не желают. Росичи пошли, а эти... Или лучше росичей? Не сравнить — здесь комар, а там орел. Гонцов моих бесчестят, а мне — утереться? Деву нашу, Милану, сперва умыкнули, а после сожгли в муках великих. Сам ведаешь.

— Ведаю. Но то их обычай — вдову на тризне богам отдать. И Милана сама вызвалась, могла бы по сей день живой оставаться. А мы разве не приносим жертвы богам? Не сжигали мы мужей и жен на капище, не топили младенцев в Днепре?

— Своих! — возразил тотчас Кий. — Своих, полянских. То — наше дело. И давно такое было, при отце еще. При мне только Желана и род его пожгли, отдали богам на суд — за провинность великую. А Милана чем провинилась? И не ихняя она была, наша...

— Ну как сказать. Была наша — стала не наша. Что ж, умыкнули, верно. А как же мы допустили, чтобы наших дев умыкали? Где были наши кметы в тот час? Где был Хорив, когда Милану умыкнули? Сам ведаешь где. Сам ведь увел силу полянскую в земли ромейские.

— Так надо было!

— Надо было... А там, на Истре, не умыкали поляне дев славинских? Умыкали!

— Там им было скучно без дев, — Кий беспечно пожал плечами. — Или мне своих же кметов обижать? А за что? За то, что пошли за мной, куда повел, за то, что выполняли волю княжью? Ежели я коню пастись не дал, и конь понес меня послушно стрелам навстречу, а после щипнул травки с чужого поля, — стегать ли мне его за то? Милана же — дело иное. Ус ведал, не мог не ведать, что она женой брата моего Хорива стать должна. То не одному только Хориву обида, но всему роду нашему. То и мне, князю, обида. Стерпеть? А ведь я долго терпел этого Уса у себя под боком. Сам себе дивлюсь, до чего долго терпел!

— Терпел... Далеко был, вот и терпел. А не тронул бы

Ус Милану, не обидел бы Хорива и весь род твой, то еще бы терпел. Верно?

— Нет, не верно! — Кий мотнул головой, как бодливый бычок. — Я терпеливый — до часу. А когда час придет — иссякнет мое терпение, тогда уж ничто меня не удержит. Тогда об одном молю я богов: не связывайте моего недруга, но не вяжите меня! И ты меня не вяжи, не удерживай!

— Я не удерживаю, — Белый Волхв вздохнул невесело. — Где уж мне... Не я к тебе пришел, ты ко мне пришел. И я рад приходу твоему, всегда рад тебе и братьям твоим. Ты желал узнать волю богов, просил погадать. Я погадал и сказал, как сам разумею. Я не вяжу тебя и не удерживаю, нет... К чему?.. Я вон и Хорива не удержал, когда убил он Уса. Убил и тем самым ответил на обиду. Для чего же еще отвечать, коли и так отвечено? И кто ведает, не убил бы Хорив Уса — может, по сей день была бы жива Милана, и мы бы как-нибудь выручили ее...

— Как?

— Выкупили или обратно умыкнули, мало ли способов...

— Еще гонцов посылать? За новым бесчестьем? Нет уж, сыт по горло тем дерьмом, которое в подкинутых шапках было! А за то дерьмо они мне кровью своей заплатят...

— Много крови на пути твоём, княже.

— Крови не страшусь!

— А кто тебя страшает? Не о том я. Немало невинной крови прольешь ты, ежели пойдешь на соседей заболотных. То и узрел я нынче, когда гадал тебе. А для чего? Вот где моя забота, княже, вот где...

— То моя забота! — перебил распаленный Кий, впервые посмел перебить Белого Волхва. — То моя княжья забота, чтобы никто окрест племени моему и земле моей никакой обиды не чинил. То моя забота — обидчиков покарать, дабы впредь неповадно было. То моя забота — ходить мне в поход или не ходить и в какие земли.

— Но с этою своею заботой ты не к Воиславу — ко мне пришел, — напомнил волхв.

Кий растерялся и умолк. Верно, никуда не денешься: со своею княжьей заботой он сам, по своей же доброй воле, явился к Белому Волхву. Как, бывало, являлся и прежде, когда сомнения одолевали. А какие сомнения привели его на сей раз в пещеру кудесника? В чем сомне-

вался князь? Идти ли на заболотных? Вроде не сомневался: идти, ежели не самому, то, по крайней мере, братьев послать. Будет ли поход удачным? То желал бы знать, оттого и просил волхва погадать ему. Но что же показало гаданье? Удачу или неудачу? Не поймешь... Да что там гадать! Неужто сил не хватит ту занозу выдернуть, соседей заболотных прихлопнуть? И впрямь — комар против дружин полянских. Чего же тут медлить, на когда откладывать? Кий по опыту ведал: ничего нельзя откладывать на другой раз, ибо в другой раз непременно что-нибудь да помешает, а всех помех не предусмотритишь. Нет, медлить — негоже! Так что же тогда мучит душу князя? Ведь мучит, чего уж от себя таиться... Но — что? Сам не поймет. Вот и пришел к мудрому вещуну...

Заметив растерянность, столь не свойственную натуре князя, волх усмехнулся незлыми светлыми глазами, положил ему на крепкое плечо свои долгие костлявые пальцы и тут же убрал.

— Что, княже? Гложет душу тоска неведомая? Вижу. И забота гложет? Разумею. А отчего сие с тобой? Оттого что душа с разумом не ладили. У разума одна забота, у души иная, а столкнуться меж собою не умеют. У разума твоего забота верная — землю свою и людей ее сберечь как можно лучше. И у души твоей забота верная — не творить зла несправедного, творить добро и по правде. Как же совместить такое — и землю свою сберечь, и зла не сотворить? Не удастся, тяжко. Так что же, иначе нельзя никак? Можно, княже, можно! Тяжко, непросто, но — можно.

— Как? Научи.

— Твори не по кривде, твори по правде. Каждому — по деянию его. Злодея — покарай. Храброго и верного — награди. Разумного и доброго — приласкай. Но не покарай верного и не приласкай злодея!

— То — в своей земле. А с недругом?

— Обнажив меч — грозным будь. А вложил меч в ножны — добрым будь.

— А перед тем, как обнажу меч?

— Смотри по тому, на кого поднять его желаешь. На кого и для чего.

— А на соседей заболотных? Для своей же земли Полянской? Га?

— То ведь твоя княжья забота? — Светлые до белизны глаза волхва с черными колючими зрачками уста-

вились не мигая прямо на Кия. — Твоя забота, не моя?.. А я, коли спросил уж, отвечу тебе, как ведаю и как мыслю. Лучше бы не обнажать тебе меча и не ходить на них. Хорив обнажил уже меч и покарал князя их Уса, отплатив тем самым за обиду свою и всего рода вашего.

— А мыта не платить, а гонцов моих бесчестить? Долго мне терпеть еще? Под мой стяг идти не желают — может, под стяг Горислава пойдут, когда обнажит он меч на полян? Чего мне дожидаться? Га?

— Теперь, когда Уса нету, отправь еще гонца. Не сталкивались с Усом — может, с братом его столкнусь.

— А ежели не столкнусь?

— Что ж... тогда посылай кметов. Только не изводи всего племени под корень...

— А надо бы!

— Нет, не бывало у нас такого, княже! Не угодно такое богам нашим. Побей кметов недруга, возьми полон и добычу, но племени всего не изводи. Пойдешь на заболотных или не пойдешь, на других ли пойдешь, одно помни: ты — ант, полянин! Не зарони злых зерен в ниву полянскую — дурная трава взойдет, забьет траву добрую. Не простят боги такого ни тебе, ни детям твоим, ни внукам. У тебя полянская душа, Кий, суровая, но не злобная. Будь же достоин души своей, пускай немалый разум твой и к ее голосу прислушивается. Соблуди свой разум и соблюди свою душу. Не допусти себя стать хуже, чем ты есть! Вот мое слово, княже. Иного не услышишь.

Кий молча поднялся, сосредоточенный, будто в себя ушедший. Пристегнул меч, накинул плащ, надел шапку. Сдержанно поклонился Белому Волхву и, все еще ни слова не говоря, направился к выходу из пещеры. Старик тоже встал, но далее с места не двигался, глядел невесело вслед уходящему князю. А тот — уже выходя — оглянулся вдруг и спросил упрямо:

— Так быть сему походу или не быть?

— На все воля богов.

— Как узнать ее?

— Я все сказал, княже. Ежели мало тебе сказанного Белым Волхвом, что ж... Погадай еще на белом коне.

Кий нахмурился более прежнего и покинул пещеру.

13. ОГОНЬ — ЗА ОГОНЬ!

Дажбог, не дойдя до вершин дальнего бора, прикрылся тучей — темно-серой, как разгневанный Днепр, и с позолоченным верхним краем, похожим на огненную Перунову стрелу. Смеркалось быстро, на Лысой горе, на Майдане у Хорива двора и капища зажгли костры и факелы.

Под надменно-суровыми — поверх голов людских — взорами богов, которым только что здесь же принесли в жертву немало скота и птицы, затевалось походное гадание. Для чего приведен был сюда востроухий и тонконогий конь, весь — как борода Белого Волхва, только на конце морды темно, а глаз и вовсе черный, с одного краю — кровью налитой, дикий. В свете костров и факелов конь казался огненным. Он не знал ни седла, ни упряжи, служил исключительно для гадания, пасли его волхвы, а теперь держали под уздцы два неслабых отрока. Конь буянил, норовил встать свечкой, отроки то и дело приседали, удерживая его, упирались плечами в неспокойную грудь животного.

Бывалые гридни, отмерив положенное число шагов, воткнули в землю два копыя — наклонно и накрест. И еще два так же, и еще, всего три пары. Проверили, крепко ли держатся.

Волхвы сверкнули неистовыми очами в ту сторону, где находились князь с братьями, бояре, тысяцкие и воеводы. Кий, перехватив их взгляд, слегка кивнул в ответ и вскинул руку — подал знак.

Волхвы заиграли — кто на гусях, кто на бубнах. Отроки напряглись и повели озаренного огнями коня к вонзенным в землю перекрещенным копыям. Конь, похоже, смирился и даже обрадовался, что кончилось его томительное стояние, покорно затопал за отроками. Но на подходе к первой паре копий созоровал, хитрец. Вздвигая свечкой, едва не оторвав от земли повисших на поводьях отроков. Затем забил задом — раз за разом, быстро-быстро. Слава Перуну, ничья голова под копыта не угодила.

Майдан притих, будто не было на нем сейчас столько народу. Что такое с конем? Не худое ли предвозвещение? Тогда — не быть походу...

Но вот отроки совладали с буяном, побежали дружно вместе с ним, задравшим теперь хвост и легко перемахнувшим через первые два копыя.

— Правой ногой! — облегченно зашумел Майдан. — Правой!..

Не задерживаясь более, гордо поднимая и вынося вперед над каждой парой копий правую ногу, не задев ни одного, конь благополучно прошел все, что было ему положено.

— Правой ногой! — ликовал Майдан. — Добрый знак!

— Не задел ни разу!

— Добрый знак! Быть походу!

Наутро, поранее, едва только засветлело над левобережьем, начали снаряжаться. В загоне у Почайны готовили челны. На дворах у Хорива и Щека собирались отроки, сюда же пришли и старшие дружинники, присланные князем. Опытные кметы помогали молодым бойцам снарядиться, давали всевозможные добрые советы.

К концу дня, когда Дажбог уходил за сосны в древлянскую землю и далее, челны двинулись вверх по Днепру, к Межигорью. Неторопливо и дружно, без лишнего плеска, погружались в упругую встречную волну длинные весла. Нелегко было выгребать против течения, низко осели в воде тяжело груженные челны — крепкой человеческой плоти да железа в каждом находилось немало.

На носу головного челна, запахнувшись в черный плащ, в надвинутой на сумрачные серые глаза черной хвостатой шапке, стоял Хорив, весь нетерпеливо подавшись вперед.

Тем временем Щеки — в рыжем плаще и невысоком шеломахе из начищенной песком огненной меди, с пучком рыжих векшинных хвостов на острой верхушке — ехал на спокойном рыжем мерине по широкой лесной тропе. Впереди шел поводырь — приземистый лесной зверолов с луком через плечо. Следом мерно топали тяжелыми сапогами сто бывалых княжьих дружинников, все в высоких шеломах с выступом над носом, в кольчугах, с длинными ровными копьями и при мечах, с размалеванными щитами. За ними далеко растянулись Щековы отроки — вооружены кто чем, яко простые вои, с ними же — несколько возов с припасами, а в замке — еще сотня дружинников. Сила! Да не вся еще...

Шли до самого рассвета. Без огня и без шума. Не привыкать... И вышли на затянутое туманом открытое место. Впереди — болото, за ним — опять лес, в том лесу — вражье становище.

Подождали отставших, собрались все в сыром берез-

няке с осинником. Поднимется к небу, улетит туман — никто не приметит, сколько кметов затаилось за позеленевшими стволами. Поводырь взялся провести через болото, по тропке. Но Щека помнил советы старшего брата, бояр и тысяцких, решил той тропкой не ходить. Растянутся цепью — много ли сразу выйдет к становищу? Так, по мере подхода, по одному, самую великую силу перебить не тяжко.

Поджечь бы тот лес, тогда выкуренный недруг сам выскочит, сам по той тропе сюда побежит — по одному, цепочкой — под мечи и стрелы полянские. А захотят по реке уйти — там их тоже встретят, от Хорива спасенья не будет. Да, выкурить соседей заболотных — самое милое дело. А не перекинется великий огонь на свои леса, полянские? Нет, не перекинется. С одной стороны болото не пустит, с другой — речка.

Жечь лес? А как? Послать по тропе с поводырем? Выйдут в одном месте, а поджигать надо широкой полосой одновременно. Остается одно — стрелы с огнем.

Полетели стрелы с огнем на концах. Не долетели, все легли в топь, погасли. Как быть?

А туманы уже отрываются от земли, Дажбог все выше, все ярче над лесом светит. Торопиться надо.

Делать нечего, послали десятка два стрелков с поводырем — подойти по тропе поближе и оттуда достать. Но нет надежды на них у Щека. Шире, шире поджигать надо, еще Кий подсказывал, предупреждал. Как же быть? Помоги, Дажбог! Десятину добычи тебе пожертвую, помоги только!

Дажбог ли помог, стрелки ли постарались, — только вскорости здесь и там вдоль дальнего леса поднялся сильный дым в лазерное небо.

Теперь новая забота Щеку — никого не упустить, как побегут из горящего леса злополучные соседи заболотные. Ведь побегут они цепочкой, по тропе, иначе — утопнут. И снова вспомнил науку Киеву. В голове разместил за сырыми деревьями отроков с луками, а по краям припрятал по сотне старших дружинников — два крыла, чтобы не пускать уцелевших по сторонам разбегаться, перенимать. И еще — три сотни отроков в запас, на непредвиденный случай. Старший брат похвалил бы за такую расстановку.

А дым над лесом уже сплошь стоит, полнеба затмевает, ясный лик Дажбога застит. И слышится то ли стон,

то ли вой оттуда, будто сам горящий лес воет и стонет.

Наконец показались и заматались вдоль дальней опушки, не решаясь пойти в трясину, первые беглецы. Но — не люди то...

Медведица с двумя медвежатами, в другом месте — пара барсуков. Напрочь перепуганные олени наскакивали на тревожно визжавших вепрей, шарахались прочь и натыкались на семью поджавших хвосты волков. Яркие лисы и серые зайцы, шустрые куницы и хорьки, тьма хвостатых векш, едва видимых мышей и всяческого прочего мелкого зверья...

Навстречу — через болото — заспешили стрелы. Позади — огонь, впереди — топь и стрелки. Куда деваться зверю? Всюду — погибель.

Ну, веселая охота! Ну, потеха! Иные отроки, распалась, выскакивали из своих укрытий, потрясали луками, гоготали радостно и беспечно.

— Не выскакивать! — заорал всегда такой тихий Щек и погнал своего рыжего мерина вдоль расстроившихся рядов головных сотен. — Не выскакивать! Не стрелять по зверю! Беречь стрелы! Для ворога беречь!

Не вынимая меча, он шлепнул ножами по одному шелому, по другому, по шапкам, по простоволосым русым головам, колотил по плечам непутевых своих кметов.

— Не на охоту привел вас сюда — на дело ратное! Все — по местам своим! Без моего слова — ни стрелы! Порази вас Перун!..

Один, строптивый, не послушался, крикнул в ответ что-то дерзкое. Загорелся Щек, всегда спокойный такой, не стерпел. Выхватил меч и, себя не помня от гнева, рубанул наискосок по наглой роже... После маялся, корил себя, нигде покоя не находил. Иное дело — старший брат, тот запросто прибьет своего же за послушание. Мается ли после? Или привык? А можно разве привыкнуть к такому? Наверно, кому как... Только в нынешней дружине Киевовой подобное — не часто. В том и сила ее, что не терпит ослушников. Ох, нелегкое ты, дело ратное!..

Выл и стонал заживо горящий лес — деревья, звери, каждый — своим голосом, и все вместе. Выли и стонали обезумевшие люди в загоревшемся становище. Жены тащили чад своих — за руки, на руках, падали и все пытались прикрыть несмышленишей от вездесущего огня, собственной плотью прикрывали, визжа от нестерпимой бо-

ли. Старики, сбитые с ног мечущейся толпой, тщетно взывали о помощи.

Некоторые бросились к болоту, иные тут же оступались и уходили, вопя, в цепкую трясину, а те немногие, кто пробежал все же по заветной тропе, тут же падали под стрелами укрытых в березняке полян.

Большинство же, спасаясь от огня, бросились к воде, к своей речке. Здесь, на берегу, где еще не так давно провозжали Уса, они с ужасом узрели, что их боги горят как простые деревья. И по всему берегу, повсюду — те, чьи боги оказались сильнее: железные полянские кметы, высадившиеся из бесчисленных крутогрудых челнов. Иные отчаянные бросились было на высадившихся — кто с копьем, кто с мечом, кто с дубиной. Их тут же переняли две сотни старшей дружины Киевской. Так что же могут сделать отдельные храбрецы, ничего отродясь не выдавшие далее леса, против бывалых бойцов, не раз ходивших в далекие земли?

Страшнее всех прочих был черноусый полянский вождь — впереди всех, в долгом черном плаще и хвостатой шапке из черной лисы. На лице, будто из дерева вытесанном — как у богов, из-под черной шапки, светились нечеловечьим гневом серые глаза, под которыми тоже было черно. И никому встречному не было пощады ни от тех глаз, ни от разящего меча...

— А земля здесь для жита добрая, — сказал пожилой полянин молодому, вытирая меч о рукав и вбрасывая его в ножны.

— Добрая земля, — подтвердил молодой, трогая ее кончиком копья. — Выжигать да вырубать не потребуется теперь.

— Не потребуется. Только покорчевать кое-где... Наш князь все предусмотрел, когда в поход посылал. С таким не пропадешь, его боги любят.

14. ВОИСЛАВ И ГРИДНИ

Возвращались с охоты как из похода. Не торопились. Притомленные кони, отягощенные гроздьями битой птицы да тушами вепрей, продирались через высокие, высохшие к концу лета травы левобережья. И чем ближе к Днепру, к Горам, тем бодрее шли кони, будто с каждым шагом набирались новой силы. А всадники не торопились сами и

не торопили своих коней. Охота была доброй, вокруг — спокойно, к Горам так и так поспеют засветло. Куда торопиться?

— Без толку торопиться ни к чему. Но и отставать негоже.

— А ежели отстал?

— Тогда не давай себе роздыху, покуда не догонишь. Иначе всегда отставать будешь.

— Гляди, а Славко все вперед да вперед порывается.

— Еще бы! Его жена молодая ждет. Это нам с вами не к спеху.

— А то? Более всех птицы настрелял, и себе на прокорм, и жене.

— Да и нам перепадет, пожалуй... Гей, Славко! Зовешь нас на двор к себе?

— А чего ж? — отозвался Брячислав. — Мы с Бояной друзьям всегда рады.

— Так что же? — обратился ко всем прочим десятский Доброхлеб, едва ли не самый дюжий из всех гридней. — Айда на Славкин двор, попируем, песни попоем, попляшем!

Все дружно зашумели соглашаясь. Но ехавший с гриднями боярин Вонслав, перед тем вроде дремавший в седле, теперь разогнулся, повел на спутников долгим своим носом, расправил сивые усы и пробасил сипловато:

— Вам бы только пировать... Так для этого лучше всего ко мне на двор направимся. А то мне одному там скука беспросветная. Как нет похода, так и не ведаю, куда девать себя. Славко же пускай со своей Бояной побудет, пускай поворкуют, помилуются.

— А то? — поддержал боярина Доброхлеб, охотно отказываясь от прежнего своего предложения. — Поедем к тому, кто зовет. А Славко пускай к своей Бояне направляется. Часто ли им, бедолагам, вместе бывать? Все походы да походы...

— Мало походов! — возразил рыжебородый гот Аревинд, мрачно сверкнув лазоревыми, как у Брячислава, очами.

— Тебе все мало, ненасытный, — засмеялся его лучший дружок Филоктимон, черноглазый грек. — Женить бы тебя, тогда угомонишься.

— Сам сперва женись, — огрызнулся без злобы тот.

Оба давно уже научились местной речи и почти ничем не отличались от антов, охотно принимавших в свои ряды

всякого, кто того желал и оказывался достойным того.

Так, перекидываясь, как бы играючи, легкими шутками да незлыми насмешками, возвращались с потехи-охоты славные гридни князя Кия — дюжий десятский Доброхлеб, меткий стрелок Брячислав, неразлучные Ареовинд с Филоктимоном, а с ними еще и боярин Воислав, живший просто, как прочие кметы.

Кто из них постарше, а кто помолодше. Кто повеселее, а кто посуровее. Кто темноокий, а кто светлоокий. Ибо нет и быть не может хотя бы двоих во всем одинаковых. Но все они, как один, крепки плотью и духом, никто не обделен разумом, у всех опаленные в дальних походах лица. Все они научились в нередких сечах разить недруга, выручать товарища, разуместь друг друга с полуслова и с полувзора. Все верны своему князю. Куда поведет — туда и пойдут за ним. Сколько раз позовет, столько раз и отзовутся.

Десятский полагает, что походов на их долю хватает. Но неумемному Ареовинду все мнится, что мало. Уж такого его натура, сотворенная нелегкою судьбой. Ну а старый Воислав вовсе счет потерял своим походам. В них, в походах, вся жизнь одинокого грозного боярина.

В походе на соседей заболотных ни один из них, однако, не участвовал. Кий сам не ходил и всех своих гридней, лучших кметов полянских, при себе держал — для иных дел берег. Не было с ходившими на заболотных молодшими братьями княжьими и такого опытного боевого советника, как Воислав.

— Оно, конечно, верно, — оправдывал он князя, обращаясь к спутникам. — Кий верно рассудил. Пускай Щеки и Хорив почаще сами во челе дружины походят, без помощи. Так они скорее обучатся и, ежели, не допусти Дажбог, что с князем приключится, чтобы каждый — хоть Щеки, хоть Хорив — могли бы на его место встать. Пока младенца в люльке держат, он ходить не сумеет. И хотя то не первый уже поход для них, а учению нет предела.

— А то? — поспешил согласиться покладистый Доброхлеб. — Оба брата княжьих умеют кметов водить. Особливо Хорив. Щеки тоже неплохи и разумны зело.

— Да, Хорив добрый кмет и воевода, — подтвердил Воислав, умолчав отчего-то про Щека.

Гридни переглянулись меж собой, ибо ведали, что прославленный во многих ратных делах боярин не часто щедр на похвалу.

— Жалко Хорива,— вздохнул Брячислав.— Совсем ликом почернел, глядеть тяжко. Никак не забудет свою Милану.

Сказав такие слова, гридень представил себе вдруг, что бы стало с ним самим, если бы его Бояну такая же страшная участь постигла. От той думы содрогнулся весь, и дрожь его передалась коню.

— Зато самого Уса одолел Хорив,— с одобрением отозвался Ареовинд.

— И князь наш разумно содеял,— добавил Филок-тимон,— что послал его покарать соседей заболотных. Только так и можно излечить боль души его.

— Да, князь разумно содеял, с этим походом,— поддержал гридней десятский.— И недругов покарал, и землю новую добыл.

Все тут же согласились, что поход на соседей заболотных был затеян и содеян зело разумно.

— Только нас там не было! — досадовал Ареовинд и упорно повторял: — Мало походов, мало! Из моего меча скоро наральник смастерят кузнецы подольские.

— А то? — Доброхлеб усмехнулся.— Чем плох на-ральник из меча? Железо доброе, лучшего не сыщешь.

Воислав же подъехал к воинственному готу вплотную, нога к ноге, хлопнул его крепкой ладонью по правому плечу и просипел басисто:

— Будут еще походы, будут на твою долю. Найдется еще дело для твоего меча. Еще и на другую ногу охромеешь.

Гридни засмеялись шутке боярина. И Ареовинд не обиделся, тоже засмеялся вместе со всеми. Потому что одни только дурни обижаются на незлые дружеские шу-тки, а он не был дурнем.

— Да, друзья, будут у нас еще походы,— продолжал Воислав.— Великие походы ждут нас. Великие дела суждены богами князю нашему. Скоро в полюдьё пойдем с вами за конем княжьим... А ну-ка запоем, чтобы аж на Горах слыхать было!

И затанул своим сорванным в сечах басом:

А за княжьим конем
Мы на Горы придем...

Гридни грянули дружно вослед:

Гей-огей! Мы все приде-ом!

Кони встрепенулись, пошли еще бодрее в лад песне, будто и не притомлялись, будто не тащили на своих спинах и холках увесистых всадников да еще птицу и вепрей. Под ладную песню не только человек, но и конь забывает, что притомился. Под ладную песню самая тяжелая ноша легче становится.

Авон и Днепр уж виден, и Горы за Днепром — в сизых дымках над зеленью деревьев, в которой здесь и там начала проступать желтизна. Скоро — перевоз Киев, и Брячислав вспомнил, как в былое время они с отцом, тоже после доброй охоты, подходили тем же путем к тому же месту. Тогда впервые узрел он перевозчика Кия, нынешнего тестя своего, уже старого и слабого — нет более перевоза Киева, одно название осталось, другие теперь перевозки и другие перевозчики... Тогда, в тот же давний-давний, щедро обласканный Дажбогом день, узрел впервые Брячислав диво дивное: на смуглом скуластеньком личике девичьем — черные брови, как крылья ласточки, а под бровями — в частых черных ресницах — очи насмешливо прищурены, серо-синие, будто волна днепровская... Скоро вновь засмеются ему ласково те очи дивные — очи жены его Бояны...

Отдавшись думам и чуть опередив остальных, Брячислав не услышал разговора, который продолжен был, когда кончили петь.

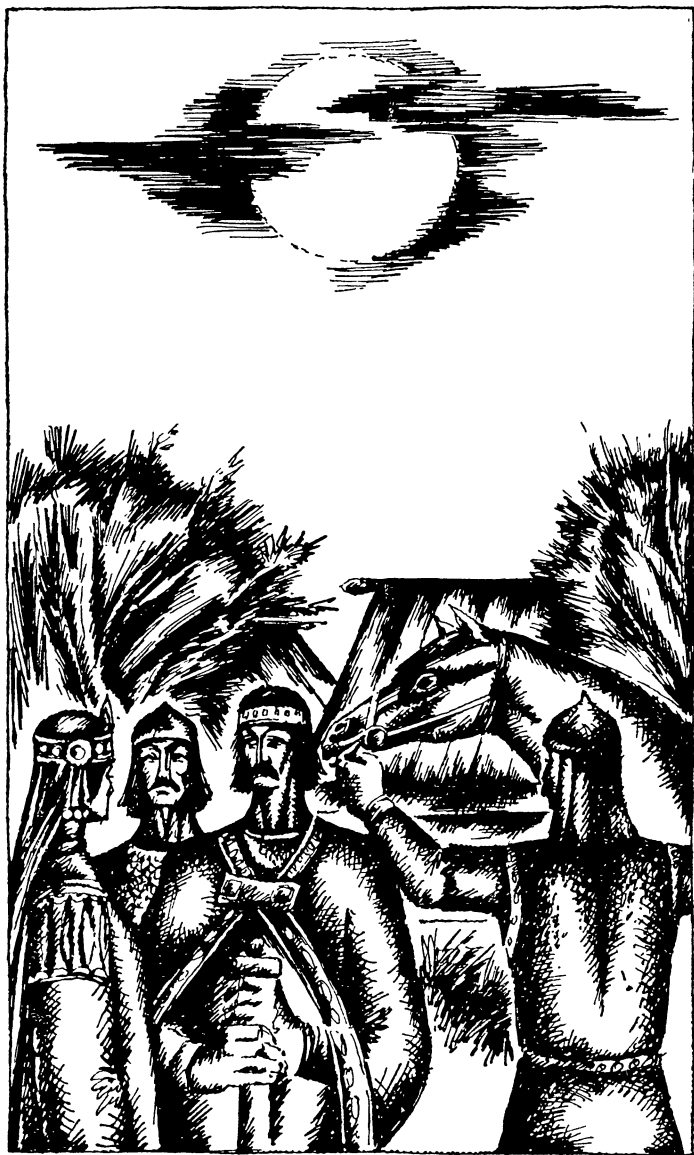
— Не простое на сей раз полюдьё будет, — говорил гридням Воислав. — С нами росичи пойдут, у северян попируем, а после все разом на древлян навалимся. Да так проучим их, так примучим, такую дань великую наложим, что никогда уж впредь не перейти им Ирпеня! Никогда более не набегать на наши Горы, не разорять дворы полянские, не умыкать жен и дев наших!

— Мы их — как соседей заболотных! — подлил масла в огонь Ареовинд, потрогав навершие долгого меча своего.

— Именно! — еще пуще распалился боярин. — Поход на заболотных, считай, только первая стрела...

— А то? — даже собираясь возразить, Доброхлеб обычно для начала соглашался. — То первая наша стрела. Только я так разумею, что древляне — не соседи заболотные. Древляне числом своим великим сильны зело. У них и Валы Долгие, и корста на Уже никто еще не брал.

— Так ты что же, — Воислав нацелил на десятского свой нос, того и гляди клюнет, — древлян устрасился?



Тут, может, впервые за весь разговор Доброхлеб не стал соглашаться нисколько, потемнел лицом, ответил сурово:

— Ты ведаешь, боярин, я одного только страшусь — щекотки.

— Так и я о том же самом речь веду,— Воислав понял, что без причины обидел десятского, и решил, старый хитрец, отшутиться.— Ведь я о чем толкую. Может, ты опасаясь, что возьмешь корст на Уже, вломишься в терем самого Горислава, а он тебя мечом щекотать начнет.

— А то? — Доброхлеб оценил стремление боярина к примирению и поддержал его шутку: — Я от его щекотания смеяться начну, от смеха же рука силу теряет, вот и не совладаю. Только того и страшусь.

— А чего страшиться? — вмешался Филоктимон.— Рука силу потеряет, тогда и твой меч, Доброхлеб, князя древлянского щекотать начнет, Горислав от той щекотки тоже засмеется...

— Тут и будут один другого мечами щекотать да смеяться,— вставил сумрачным голосом Ареовинд, а у самого в глазах — веселье.

Воислав захохотал громко и сипло, сотрясаясь сутулой спиной и поднятыми плечами — будто ворон закаркал. Конь под боярином забеспокоился, раздул ноздри и ржанул коротко. То ли близость Днепра и Гор почуял, то ли на смех хозяина отозвался. Вслед за ним подала голос и пятилетняя кобылка под Филоктимонем.

— Гляди, и коням весело,— заметил Доброхлеб, после чего гридни грохнули так дружно, что пуще прежнего взбудоражили коней и вспугнули птиц, вылетевших тотчас здесь и там.

Брячислав от того дружного хохота очнулся в седле, перестал вспоминать свою первую встречу с Боянкой, придержал коня и присоединился к боевым товарищам.

— С древлянами,— продолжал, уже без шуток, Воислав,— совладать непросто. А надо. И совладаем. Наш князь ратное дело понимает, и боги любят его! Совладаем! Тут ведь как надобно супротив сильного недруга? Приметить, где и в чем он сильнее тебя, а где и в чем слабее. Там, где он сильнее, твоя забота одна — устоять, не поддаться. А там, где он слабее, туда всю

свою силу и направь. Это в любом нашем деле так, кметов ли ведем за собой, или один на один рубимся. Сию науку я уразумел, когда был еще моложе тебя, Славко. Этой наукой и князь наш владеет. Он ведает, где его сила и где у недруга сила. Он узрит и слабое место у недруга. И ударит в то слабое место всею силой своей! Так что древлян одолеем, не сомневайтесь. А после на дреговичей и кривичей пойдем, до вятичей и радимичей доберемся. И соберем всех под единым Киевским стягом. Позовем еще уличей с тиверцами и дулебов, пускай примыкают, как бывало прежде. Великая сила соберется! Проведают про нашу великую силу славы, одумаются, замиряются с антами и тоже все под наш стяг пойдут...

— Ого! — не выдержал Брячислав.

— А то? — сверкнул глазами Доброхлеб.

— Чуете, какая сила неодолимая соберется тогда под стягом нашим? — впалые щеки Воислава почервели над сивыми усами. — Чуете? Тогда нам никакие обры не страшны, пускай приходят! О-го-го! Да мы на каждое свое седло по два обрина подвесим, будут болтаться, как эти вепри. А после, как побьем обров, тогда...

Тут боярин умолк внезапно, повесив сивочубатую голову, и добавил негромко:

— Может, не дождусь я того славного часа. Может, лягу в великой сече с обрами. Кто ведает? На все воля богов. А только чую, чую, что будет так, непременно будет. И вы, други мои, доживете, дождетесь того славного часа.

Гридни, распаленные перед тем жаркими речами Воислава, теперь — от последних слов его — приутихли, призадумались. Каждый ведал, что и он может не дожждаться, что и он может пасть хотя бы в той же грядущей сече с обрами. Такова уж доля кмета...

К Днепру подъехали тихо, без прежнего веселья.

— Как переправляться будем? — нарушил молчание Доброхлеб. — Перевозом или вплавь?

15. ЛЫБЕДЬ ПРИХОДИТ К БРАТЬЯМ

Братья были настроены добродушно. Собрались на Киевском дворе, нового коня смотреть. Ромейский гость подарил, не впервой мимо Гор по Днепру проходит, и каждый раз — подарок, то шелом золоченый, то меч с камнем на навершии, то — теперь вот — конь.

Невиданной стати и масти конь. Высокий, тонконогий, жилистый, шея гибкая и кадыкастая, как у оленя. Черные хвост и грива не долгие, не пышные, а сам блестит, будто маслом смазанный, цветом на спелое жито да на косы полянок похож. И темный ремень вдоль спины.

— Да не страшись, дурень! — Кий ласково огладил короткую золотистую шерсть на изогнувшейся конской шее. — Не дрожи как тополиный лист! Не съем я тебя, не для того взял.

Братья засмеялись. Хорив помог придержать неспокойное животное.

— И оголовье нарядное, — заметил Щек. — Серебро да камня... Пускай бы почаще ходил этот ромей мимо наших Гор.

— А он и так не редко ходит, — отозвался Кий. — Эге! Глядите-ка... Сама Лыбедь к нам пожаловала! Вот кто не часто навещает меня.

...Высокая, в долгом светлом плаще на золотой застежке — то ли короткий нож в ножнах, то ли пять пальцев расставленных напоминала та застежка. Румяная от гнева, появилась она перед братьями. Карие очи сузились, потемнели. Хороша сестра, даже в гнев хороша! Кому такая достанется?..

— Здорова будь, сестричка! — приветствовал ее Кий. — Гляди, какого нам коня привели. Буланы! Хочешь, тебе отдам?

— Здоров будь и ты, княже. И вы, братья, здоровы будьте, — сдержанно отвечала Лыбедь, не глядя ни на одного. — Конь хорош. Только оставьте его себе, а мне от вас ничего более не надобно.

Братья переглянулись в недоумении. Что это с сестрой? Кий перестал шутить, нахмурился, спросил с княжеской суровостью:

— Что так? Отчего неласкова с нами? Или обидел кто? Скажи. Хоть Щек, хоть Хорив — не пощажу, свелю покарать обидчика.

— Сам себя покарай, княже... Да где уж! Ты только невинных караешь.

Кий взглянул изумленно, подбоченился.

— Кого же я невинного покарал, сестра? Где и когда? Что-то не припомню. Да помоги уж мне, беспмятному, подскажи. Га?

— Помнишь, княже, помнишь! — Лыбедь едва не задыхалась от негодования. — Не успел забыть! Чем про-

винились старики немощные? Чем успели прогневить тебя младенцы несмышленные? За что покарал ты их? За что живьем пожег, мечами посек, стрелами побил? За что? Неслыханное злодеяние! Не бывало подобного в нашем роду!

Кий только молча головой мотал. Ничего подобного между ними еще не бывало.

— Ты про соседей заболотных, что ли? — вмешался Хорив. — Так то моя работа. С меня и спрашивай.

— С тебя какой спрос? — отмахнулась Лыбедь. — У тебя душа кровью изошла, оттого и сам крови ищешь, никак не насытишься... Знаю и то, что Щек в тот день на своем дворе не оставался...

— В тот день на своем дворе как раз я остался, — попытался отшутиться Кий. — Стало быть, с меня спросу нет.

— С тебя весь мой спрос, княже, с одного тебя! На то ты и князь, чтобы с тебя одного за всех спрашивать.

— Вон оно как? — Кий только руками развел и так, оставив их разведенными, повернулся к братьям, как бы за поддержкой. — Слыхали? Кто князь, с того и спрос, га? Выходит, не я с дружины спрашивать буду, а... погоди, сестра, погоди! Что-то тут не так увязано... Ежели с меня, князя, спрос, то... то кто же с меня спросит? Боярин, тысяцкий, воевода? А может, и отрок? Кто? Ты, Щек, Хорив? Молодший со старшего спросит? Или, может, конь буланый станет спрашивать с меня? Не я на коне поскачу — конь на мне поскачет? Га? Нет, сестра! Не так богами заведено, не так! Одни только боги могут спросить с князя, только они! — Теперь его зычный голос гремел на весь двор. — Перед богами я в ответе, перед ними — да! Перед тобой, сестра, — нет!

Лыбедь уже не глядела мимо, глядела прямо в глаза старшему брату. Князю грозному. Глядела без страха. Ответила негромко, но жестко:

— Что ж, я ждала иного ответа от тебя. Не дождалась... Пускай Дажбог с тебя спросит, не я. Пускай Дажбог спросит, для чего ты невинных живьем пожег...

— Невинных?! — выкрикнул Хорив. — А Милана чем провинилась? Знаешь ты, что они сотворили с нею? Тебя бы так...

— Кто сотворил, Хорив, кто? — обернулась к нему Лыбедь, и глаза ее снова стали обыкновенно карими, и не

гнев уже был в них, а сострадание.— Младенцы несмышленные загубили Милану? И за то в огне живьем сгорели?

Хорив ничего не ответил, лицо его снова стало как из дерева высеченное.

— От гнилого колоса гнилое зерно,— убежденно заявил Кий.— А от гнилого зерна опять гнилой колос. И не в одной Милане причина. Не хотел я ответа держать перед тобой, и негоже бы мне... Да ладно уж, Лыбедь, один у нас с тобой отец был... Внимай же! Внимай сама и другим перескажи. Да, это я велел пожечь их всех. И с меня спрос — перед Дажбогом. А Дажбог ведает, что не только за умыкнувшую и невинно замученную Милану велел я проучить их. Не только за обиду брата нашего Хорива пожгли мы их, не только! Дажбог ведает... Да, с князя спрос! И оттого князь не только о братьях — о всех людях своих, о всей земле своей мыслить обязан. О-бя-зан! О всех полянах, о всей земле полянской мыслил я, когда затеял сей поход на соседей.

— Чего же ты хотел? — спросила растерянно Лыбедь.— Не понимаю...

— А ты внимай! Дажбог ведает, чего я хочу, чего желаю. Чтобы все соседи с полянами были, а не супротив полян, вот чего я желал, желаю и буду желать! Чтобы все анты под моим стягом собрались. Тогда никто не страшен земле нашей...

— Может,— задумчиво произнес Щек,— надо было извести только Уса и род его? Тогда все прочие соседи заболотные пошли бы под твой стяг, княже...

Он заметил удивленно-благородный взгляд Лыбеди и продолжал, по своему обыкновению, негромко и неторопливо:

— Выходит, могла наша сила за счет соседской силы возрасти. А мы сами подсекли ее. Может, просчитались?

— Ты всегда все подсчитаешь! — раздраженно отозвался Кий.— Подсчитаешь и развесишь! Тебе бы на погосте торговать, а не дружины водить... А ты другое взвесь, благоразумный братик мой! Другое подсчитай. Не о торге речь веду, о делах ратных. А в ратном деле первый подсчет — где сила, а где слабина. Где, полагаешь, головная слабина в ратном деле? Не ведаешь, молчишь? Так внимай же, что я скажу. И вы все внимайте. Пока рассказывать не перестану.

Князь подошел к коню, которого Хорив все еще держал под уздцы. Положил тяжелую ладонь на холку —

по золотистой шерсти дрожь прошла, как по степи под чадами Стрибожыми. Не убирая руки, молвил далее:

— Глядите какой! Резвый, сильный. Посади на него хоть двоих — вынесет. Верно? А дай тем двоим каждому свой повод? Что получится? Один в одну сторону дернет, другой в другую. Толья зря губы коню порвут. А далеко ли ускачут? И ни к чему тогда вся великая сила конская. Не забывайте, братья, и ты, сестра, помни! Ни к чему самая великая сила, ежели разные руки ее в разные стороны дергают. Вот тогда и нарождается головная слабость в ратном деле. И не только в ратном... Да что я с вами толкую здесь! Может, еще сходку созовем, га? Еще день потеряем в пустобрехании и лайках, потолчем воду в ступе? А то мало прежде толкли... А про древлян забыли, они же часу не теряют, уже ждут нас. Или нам их ждать, когда еще раз Ирпень перейдут? Нет, не буду ждать! Не стану терять часу на порожнее брехание! Пока живой, землю полянскую, войско полянское устраивать буду, силу полянскую беречь и множить. Ни на что иное дня не истрачу более, клянусь Дажбогом! Вот и весь мой сказ. Всё! Не обижайся, сестра, рад был узреть тебя, теперь иди к себе. Займись своими делами, девичьими. А мы тут — своими... И вы, братья мои, не забудьте: разные руки одному коню только губы рвут.

— Губы коню...— повторил Ще́к, словно обращался к самому себе, размышляя вслух.— Губы коню и одной рукой порвать можно. И не туда поворотить...

И Кий, и Хорив, и Лыбедь, услышав такое, только взглянули на Ще́ка — каждый по-своему.

16. ПОПЫТКА — НЕ ПЫТКА

Кий долго не соглашался. Считал, что пустая затея. Горазд уговаривал князя, доказывал.

— Пустое замыслил ты, боярин,— упирался Кий.— Пустое! Не станут толковать с тобой древляне, только живота лишат. Надобно сие?

— Надобно,— убежденно возражал Горазд, поглаживая долгую бороду.— Надобно, княже.

— Что надобно? Чтобы живота тебя лишили? Га?

— Может, и не лишат. Может, столкнемся по-доброму. Сколько кметов сбережешь тогда! И час выгадаешь, для многих прочих дел руки себе развяжешь. А далее, кто ведает, может, еще придут тьмы кметов древлянских

под твой стяг, как пришли росичи. Сам ведь желаешь того.

— Желать желаю, да одним желанием сыт не будешь. Не верю я в такое дело, боярин.

— А ты вспомни, княже. При отце твоём Рёксе ходили древляне совместно с полянами на ромеев? Бывало такое? Бывало. А что бывало, то ещё и ещё быть может. Ходили ведь вместе и добычу делили честно. Помнишь?

— Как не помнить! То мой первый поход был. А для отца — последний. Не принесли тогда древляне удачи роду нашему.

— Как на дело поглядеть... В том первом своём походе ты сражен не был. А отец твой... Древляне тут ни при чём. На то воля богов была. Отпусти меня, княже! Один пойду к древлянам, без кметов. С добрым словом и подарками...

— Кланяться им ещё?! — вскинулся Кий.

— Низко не поклонюсь. Ромеям, когда надо было, ниже кланялись.

Вспомнив Царьгород и то самое тяжкое, что довелось испытать тогда, Кий сдвинул брови-крылья, скрипнул зубами. Смолчал.

— Ромей бы на нашем месте не упустили такого случая, — продолжал боярин, как бы не замечая состояния князя. — Ежели столкнёмся с древлянами — выгода великая!

— А не столкнёмся?

— Тогда что изменится? Много ли теряешь?

— Тебя, боярин, потерять могу! О том не помыслил?

— Отчего же, помыслил. — Горазд усмехнулся ласково, зная, что Кий от души говорит, оттого и гневается. — Ну ежели на то воля богов, ежели лишат меня живота древляне... Так не лучше ли одного меня потерять, нежели сотни кметов в походе на них? Так ведь?

— Не так, боярин, не так! Ты один сотни гридней стоишь, а каждый гридень — сотни ратников. Стало быть, что тебя одного потерять, что тьму кметов — нет разницы. А сечи с древлянами не миновать, чует моя душа. Пускай только обидят тебя...

— Вот тогда и будет причина добрая, чтобы примучить их. А прежде часу для чего? Отпусти меня на это дело, княже!

— Ну хоть полсотни гридней возьми с собой.

Горазд почуял, что князь поддается, уступает. Улыбнулся, покачал головой:

— Нет, княже, одному мне сподручнее. А коли уж не получится, то и три сотни гридней не выручат. Тогда только лучших кметов вместе со мной потеряешь без толку. Ни к чему. Один пойду, попытка — не пытка.

— Не пытка?!.. — Кий поглядел долгим невеселым взором на боярина, подошел, взял за плечи, притянул к себе и тут же отпустил, вздохнув: — Эх!.. Ладно, собирайся.

Наскоро собравшись и принеся жертвы богам на капище, боярин — без кольчуги под плащом, без меча даже и без шелома, в темной куньей шапке с рябым пером — воссел на нарядного коня и двинулся по тропе к берегу Тетерева. За ним последовал еще один конь, невысокий и крепкий, ведомый отроком. Конь тот был навьючен, а вьюки — полны подарков. Не шкуры — пушнины у самих древлян не счесть. Не сосуды с медом — этим зельем и древляне не бедны. Не мечи и не шеломы, изготовленные кузнецами подольскими, — такой подарок неуместен был бы в предстоящем разговоре. Полны были вьюки кожаными мешками с золотой и серебряной монетой ромейской да с прозрачными камнями. Немало уместилось также узорчатых кубков и заморских украшений для жен и дев.

Горазда провожали Кий с братьями, Лыбедь, Воислав, тысяцкие и многие прочие мужи полянские, в их числе немало родичей боярина. И когда скрылись за деревьями хвосты обеих коней, когда мелькнуло там, меж стволов, в последний раз рябое перо куньей шапки, у Лыбеди вдруг замерло сердце: таким беззащитным и обреченным показался ей боярин, ушедший навстречу неведомому. По своей же доброй воле ушедший попытать долю свою. Никто ведь не гнал, более того — отпускать не хотели. Сам напросился, сам настоял. Воротится ли?.. Помогли ему, Дажбог!

Ничем не выдала себя Лыбедь, простилась наскоро с братьями и спешно покинула их. Один только Щек проводил ее взором, остальные же все глядели в ту сторону, куда ушел Горазд...

.....

В высокий и нарядный княжий терем, что на корсте над Ужом, Горазда не допустили. Горислав велел передать, что самому ему недосуг толковать о чем бы то ни

было с полянским боярином, что для таких дел у него своих бояр достаточно. И пускай, уж так и быть, любой из тех бояр, который сам пожелает, примет прибывшего на своем дворе и послушает, что за нужда такая великая привела его, незваного. А уж после доложит князю — так, для интересу праздного. И подарки полянские пускай тот боярин возьмет себе — за хлопоты.

Вызвались двое — Стрелюк и Житовий. Князь Горислав разумел, что Стрелюк польстился на подарки, оттого и вызвался первым. Житовий же назвал себя, сперва помедлив, зело разумен был сей старый боярин. И князь подумал, что Житовий, как никто другой, сумеет вывести у полянина все, что древлянам надобно ведать. И подарками с князем своим поделится, пожалуй, щедрее, чем жадюга Стрелюк... Потому и решил Горислав доверить это дело не Стрелюку, а Житовию.

Тот ласково принял Горазда на своем дворе, дозволил и отроку-проводному находиться тут же, при своем боярине.

На другой день, когда поляне отдохнули с дороги, их щедро попотчевали, после чего Житовий с благодарностью принял подарки и пригласил Горазда вместе поохотиться в окрестных лесах, чтобы там, на охоте, потолковать без помех. Однако Горазд тоже был не лыком шит и от такого предложения отказался, сославшись на чрезмерную утомленность. Житовий не настаивал.

Беседа их началась после полудня и длилась далеко за полночь. Сидели в невеликом помещении боярского дома, один на один, лишь порой входили и тут же выходили прислуживавшие им нарядные древлянские девы. Бояре потягивали хмельной мед, заедали свежим житным хлебом, копченой кабаниной и крепким луком. Беседовали тихо и неторопливо. Каждый чуял в другом немалый разум и сам старался соответственно. Однако такое старание не утомительно, когда беседуешь с разумным человеком. Куда утомительнее бывает долгий разговор с дурнем.

— Да, боярин, с дурнем толковать все одно что воду решетом носить, — соглашался Житовий. — Это ты верно заметил. Был у нас, помню, один воевода. Храбрый муж, ничего не скажешь. Бывало, в сече один на сотню шел без оглядки. Ну тут и все за ним. Оттого и стал воеводою. Да недолго был... Потому что разумом боги обделили. Так не то беда, что сам дурень. А то беда, что всех

прочих дурнями обзывал. И тот у него дурень и этот, а сам — что ни шаг, то дурость. Потолкуй с таким! Эх, боярин, кабы поболее было на землях наших мужей разумных да кабы дурни вовсе вывелись... Давай выпьем с тобой за то, чтобы поболее разумных было среди нас, а дурни чтобы все повывелись.

— За такое как не выпить,— улыбнулся Горазд.

Был он, как всегда, немногословен, ликом спокоен. Больше говорил Житовий. Толковали о том о сем, к делу приступить ни один не торопился, головной разговор был впереди еще. Оба не хмелели, разума своего не теряли. Всем бы так...

— Когда муж дурень,— продолжал Житовий все о том же,— то, конечно, беда. Еще бóльшая беда, когда дурнем окажется воевода либо боярин. Но велика беда, ежели дурень князь...

— Ну, ваш Горислав не дурень,— вставил Горазд бесстрастным голосом, то ли насмехаясь, то ли всерьез.

— Упаси Дажбог! — древлянин даже руками замал. — Не про нашего князя речь веду. И не про вашего. И в мыслях не было.

— А бывает ли дурень князь? — усомнился полянин. — Разве изберут князем дурня? Воевода ли, боярин ли, тут всякое бывает. Но чтобы сам князь... Что-то не припомню подобного.

— Все может статься,— Житовий вздохнул, похоже, что вспомнил нечто давнее. — Всякое бывало. И всякое еще будет... А согласишься, боярин, что не всякого дурня тотчас распознаешь. Иные дурни поначалу разумными видятся, даже зело разумными. Такого и могут, не распознав, князем избрать. Нет ничего страшнее, когда дурень поначалу разумным видится.

— Есть страшнее,— возразил Горазд.

— Что же?

— А то, что сам ты говорил сейчас. Когда такого дурня князем изберут.

— Благодарение Дажбогу, наши князья не таковы. Выпьем за наших князей. Чтобы здоровы были и удачливы. Только не в усобицах своих удачливы, а в совместных походах против общих недругов. Как прежде бывало. Чтобы помирились меж собою и в дружбе жили. За то пью!

Горазд осушил свой кубок и поглядел пристально на Житовия. Тот пригубил, но не до дна. И на прозвучавшее

в словах полянина прямое приглашение к началу головного разговора, судя по всему, откликаться не торопился. Заговорил так, будто не слышал сказанного. Все топтался и топтался на месте. Хитрил.

— А еще беда,— продолжал он свое,— когда муж хотя и разумом не обделен, зато ленив зело. Не знаешь, что хуже, а что лучше.

— Пожалуй, лучше уж ленивый дурень.

— Отчего же? — Житовий явно не желал толковать о чем-либо ином.— Не разумею.

— А оттого,— ответил Горазд,— что ежели дурень ленив, то от его дурости беды меньше.

— Это верно,— согласился Житовий.— Когда дурень старается... такое сотворить может, не приведи Дажбог! Уж лучше пускай и впрямь ленивым остается. Только я так разумею, что леность, как и дурость, ничем не исцелишь.

— Да, дурость исцелить... не ведаю как. А леность... леность исцелить возможно. Очень даже возможно.

— Как исцелить ее? Кабы ведал, многих бы исцелил, немало дел великих содеял бы на земле древлянской. Подскажи, будь так ласков. Не таись.

— А для чего мне таиться? — пожал плечами Горазд.— Тут и утаивать нечего. Леность очень даже просто исцеляется, есть одно доброе зелье от нее, хоть кого исцелит.

— Какое же?

— Нужда великая. Вот зелье! Ничто иное так от лености не исцеляет. Нужда! Уразумел?

— Уразумел, боярин, уразумел. Когда в утробе пусто — и ленивый на охоту пойдет. Когда глотка пересохнет — и ленивый за водой отправится. Когда недруг на пороге — и ленивый за копье схватится. Твоя правда, боярин. Что ж, давай выпьем с тобой за то, чтобы всех ленивых нужда исцелила.

— Давай, отчего же. Только не любая нужда. Чтобы древлянам не было нужды на полян копье поднимать. И чтобы на полянские дворы древляне не набегали. За это пью!

Житовий видел, что как ни тyani, как ни уводи разговор, а полянский боярин упорно сводит все к своему. Стало быть, от головного разговора не отвертеться. И старый Житовий, подумав, произнес:

— Вот что скажу я тебе, как боярин боярину. Внимай.

Я тоже, как и ты, желаю, чтобы у древлян не было нужды на полях копье поднимать. И чтобы наши кметы на ваши дворы не набегали. Я тоже, как и ты, желаю, чтобы князья наши меж собою дружно жили, чтобы совместно в походы ходили и добычу делили честно. Я тоже помню, так бывало прежде...

— А что бывало прежде, отчего бы тому и впредь не быть?

— Согласен, боярин. Но ведь бывало прежде и иное. Бывало, что твой князь пытался наложить дань на землю нашу. Бывало такое?

— Бывало. Но то — в ответ на озорство, на набеги древлянские.

— Верно. И то и другое бывало. А ты сам сказал: что прежде бывало, то и впредь повториться может. Где же порука, что князь твой, припомня прежние обиды, не захочет наложить дань на землю нашу? Как оно уже бывало...

— Слово нашего князя тому порукой будет. Ежели новых набегов на нашу землю творить не станете. А мало вам слова княжьего... что ж... я готов заложником у вас остаться. И коли нарушит мой князь свое слово, то сотворите со мною все, что сами пожелаете!

— Верю тебе, боярин. Верю и князю твоему, коль скоро послал он тебя одного, без кметов, без меча даже. Не опасайся, в моем доме, покуда жив я, никто тебя обидеть не посмеет, никто не тронет. Я верю, ибо сам так же мыслю и того же желаю. Да не все у нас так мыслят. И князь наш Горислав мыслит не так. А супротив своего князя я не пойду. Как и ты не пойдешь супротив своего.

— Супротив Кия не пойду,— подтвердил Горазд.— Но уговорить его сумел, оттого и зришь ты меня здесь. И ты супротив Горислава идти не должен. А уговорить его попытайся, помоги своему князю. Попытка — не пытка.

— Эта попытка — хуже пытки,— горько усмехнулся Житовий.— Ты предлагаешь, чтобы я помог своему князю? Однако помочь можно лишь тому, кто желает твоей помощи. Уговорить его? Уговорить можно лишь того, кто готов поддаться уговору. Ты плохо знаешь нашего Горислава.

— На что же он надеется? — Горазд в задумчивости теребил свою бороду.— На Долгие Валы? Так нам даже ромейские крепости не в диковинку...

— Древляне числом сильнее, боярин. Вот на что надеется князь наш Горислав.

— Числом сильнее? Нет, Житовий, не в числе сила племени. Хотя и число — дело не последнее. Ромеев, скажем, намного меньше, нежели готов, гуннов и вандалов. И все же ромей с наибольшим числом своих недругов совладали, одних примучили, другие сами к ним под стяг пошли. Отчего так? Оттого что не одно только число силу дает. Мы здесь с тобой о дурнях говорили. Так один разумный кмет сотню неразумных в полон возьмет. Великое число — еще не залог победы, особенно в ратном деле. Да ты и сам то ведаешь. Ходил на медведя с рогаатиной, брал его? А в ком весу больше? Конь послушен тебе? А в ком силы больше? Нет, не число кметов решает, а то, каков каждый кмет и кто ведет его...

Они долго еще толковали. Но так и не столковались, хотя оба желали одного и того же. Бывает и такое...

Вскоре Горазд воротился к Горам. Живой, невредимый. И — ни с чем.

17. ДУМЫ ЛЫБЕДИ

Счастливые те, кто не утруждает себя думами. Легко им жить на белом свете.

Пожелали есть они — и едят себе, что боги послали. Едят и не ведают заботы, откуда те яства, кем и как добыты да изготовлены, будут ли назавтра и после, хватит ли на всех. Едят в полное свое удовольствие и не печалются, что где-то у кого-то голодом чрево сдавило... Счастливы в беззаботности своей.

А захотят такие люди спать — голову преклонили и спят себе безмятежно. Их сна никто и ничто не потревожит, ибо в тот час не смыкают очей кметы дозорные. А где-то на дальних дворищах левобережья в тот же час озоруют гунны либо гультия. И в тот же час в чужой стороне рыдает безутешно, терпя великие муки души и плоти, полянская дева, не убереженная от набежавших умыкателей. В дыму и в огне где-то лес, горит высохшая трава в степи, пылает чье-то жилище. А в лесу да в степи — зверь и птица, тоже горят, заживо. И в жилище пылающем — чадо малое, в люльке забытое, а огонь все ближе, ближе, уж дышать нечем, а оно еще кричит пока в безысходной тоске. Да кто услышит, кто явится —

спасти?.. Крепко спят люди, счастливые в безмятежности своей.

Иной веселится вволю, мед-брагу пьет, песни распевает, пляшет самозабвенно. День веселится, ночь веселится, и еще три дня да три ночи. А не ведает, что покуда наслаждается он веселием своим... Поле его, еще не убранное, вепрями потравлено. Жена его, ягоды собираючи, в лесном болоте увязла, самой не выбраться, зовет что есть мочи, а на зов ее один лишь медведь из чащобы явился. Дочь его, в Днепре купаючись, неловко воды хлебнула, тотчас грудь залило, на дно ушла, и быть ей теперь навек русалкой. А сын его, отрок бесстрашный, стерег в дальнем становище собранную князем дань, стерег да не уберег, и сам не уберегся, никак стрелу из плеча не выдернет, а стрела та отравленная... Ничего того не ведает веселящийся, пьет-гуляет вволю, счастливый в неведении своем. До поры.

Иной деве захотелось с отроком погулять. Знай гуляет себе да погуливает. А что еще до свадьбы уйдет отрок в поход дальний, из которого не воротится, что суждено ей сироту на свет произвести... каков с нее спрос? И с кого тут спрос? С отрока, в лютой сече павшего? С девы ли неразумной? Что дева! Иной воевода беспечный засаду вражью проглядит, ратников и воев своих под стрелы приведет и сам от стрелы не убережется — каков после спрос с него? Какой спрос с несчастных?.. А поначалу были ведь счастливы в беспечности своей.

Вот спорила с братом старшим, с князем, к ответу призывала. Зело гневался Кий, толкуя об ответе своем за землю полянскую, об ответе перед Дажбогом за все деяния свои. Спору нет, нелегко в ответе быть — за один ли двор или за всю землю. А те, с которых спросу нет, которые безответны перед богами и перед людьми... Счастливы такие в безответности своей?

Но что же это она? В чем попрекает людей?

Что счастливы? Так разве человек не смеет быть счастливым?

Что едят и пьют вволю? Так разве человеку, как и всякой прочей живой твари, есть и пить не надобно? А то, что хлеб да мед поперек горла при том не становятся... Так ежели всегда поперек горла — велик ли будет прок от еды да от питья? К чему же тогда хлеб выпекать, мед варить?

Что спят? Так разве человеку спать не требуется?

Так уж богами заведено, чтобы человек, как и всякая прочая живая тварь, спать мог. Что чересчур безмятежно спят? А велик ли прок от сна мятежного, беспокойного? Недоспит человек — будет после как муха сонная, все из рук повыронит, ни одного дела толком не совершит. Что хорошего?

Что веселятся люди? Неужто и веселиться им нельзя? Смеяться нельзя? Только горевать да слезы лить? Какой злой дух подсказал подобное?

Ну а новых чад плодить... Кто не велит? Всякая тварь живая новых чад плодит, будь то конь или сокол, ласточка или соболю. Злак тоже семя дает, от коего новые злаки произрастают. А что осталось бы от роду-племени, кабы не гуляли девы с молодцами, не рожали бы жены новых чад? Были бы тогда поляне на земле? Были бы братья ее? Была бы тогда сама Лыбедь? Был бы боярин Горазд?..

Ой, что это она про Горазда подумала? Не впервой ведь... При чем здесь Горазд? Отчего не Воислав, не Доброхлеб, не... Да мало ли мужей на Горах! Что за наваждение?

Вот ведь она какова сама! А других — судит, с других — спрашивает...

Да как она смеет судить других, когда сама еще ничего путного не свершила? Поля не засеяла, жилища не поставила, младенца не родила. А чем помогла братьям своим? Спросом да попреками? Как же смеет она судить других, когда сама себя не судит? Погодите, погодите... Кто сказал, что сама себя не судит? Судит ведь, еще как судит! Так ее ли вина, что думы одолевают? Ее ли вина, что все вокруг творящееся задевает душу? Кабы иной была — судила бы себя?

Ох, думы вы мои, думы! Думы девичьи, нелегкие... Да и не девичьи вовсе — иные, мужу бы под стать.

А девичьи заботы велики ли? Чтобы коса была заплетена да сорочка выстирана. Чтобы пол был подметен да хлеб испечен. Чтобы скотина не ревела недоеная, а молоко не кисло бы до времени... Нет, это еще не вся ее забота. Тогда что же?

Ну чего уж от самой себя таиться? Есть забота великая. Годы идут, подружки ее давно уж в женах, своих чад растят, а она все в девах. Идут лето за летом, а она — как на месте вкопана. И каждое новое лето обходит ее и уходит далее, за окоем, в неведомое. А она все на том же

месте, как дерево. Не успеет опомниться — листочки желтеть начнут, затем все сплошь пожелтеют, а там налетят чада Стрибожьи, сорвут листву пожелтевшую — вся облетит, сплошь. Может, один лишь какой-нибудь листик случайный, усохший и сморщенный, останется зимовать, так и провисит до весны. А весной...

Весной почки набухнут, проклюнутся, новые листики выглянут, расправятся, окрепнут, снова зазеленеет дерево, заживет под ласковыми лучами Дажбога. А коли не зазеленеет? Тогда усохнет. Ведь и деревьям свой черед приходит, хотя и позднее, чем людям. Источат жуки мертвое дерево, издолбят его дятлы, свалят секирами лесорубы, сожгут в огне...

Так что же, и ей такая доля суждена? Нет, не такая — страшной еще. Ибо от того дерева погибшего, покуда зеленело еще, семена окрест разлетались, на землю падали и в землю уходили. И после вытолкнулись из тех семян росточки, множество росточков. Не все выжили, иные померзли, иные посохли, иные зверь ощипал да затоптал. Но которые уцелели — те поднялись, укоренились и стали новыми деревьями, взамен усохшего да спаленного. От них, от новых деревьев, также великое множество семян падет на землю и уйдет в нее, а из тех семян новые росточки поднимутся... И так — нескончаемо. Нет, что ни говори, а завидная доля у дерева. Ей же иное предназначено.

Она — не как дерево. Она — как кобылка опутанная. Весь табун вперед ускакал, Дажбогу навстречу, а она — как ни усердствуй, как ни вскидывайся — только прыг-прыг, а ни с места. Обскакали ее подружки резвые, давно обскакали. Но кто же опутал ее? Чем?

Вроде не хуже других: и коса не жидка, и стать не горбата, и очи не угасшие... Заглядывались на нее? Еще как заглядывались! Так что же?

А то, что не желает она л и ш ь б ы...

Не желает л и ш ь б ы мужа, уж лучше — никакого.

Не желает л и ш ь б ы чад, уж лучше — никаких.

Не желает л и ш ь б ы добра поболее в доме, уж лучше — ничего, пусто.

Не желает и л и ш ь б ы жить, уж лучше...

Не желает Лыбедь, ибо н е м о ж е т желать чего бы то ни было л и ш ь б ы. Боги — свидетели.

Оттого и одна, оттого и обскакали ее со всех сторон подружки-ровесницы. Выходит, сама себя опутала? Нет,

не кобылка она: кобылка сама себя ни опутать, ни взнудать не сумеет.

Да что это она? К чему себя то с деревом, то с кобылою равнять? Негоже, не к лицу! Уж ежели равняться ей, так — с чистой реченькой, что по дну яра течет себе с негромкой песней, покуда самого Днепра не достигнет и не сольется с могучими водами его. А коли не достигнет, не сольется, что тогда? Ей рассказывали про такие несчастные речки, Дажбогом иссушенные, которые так и не добрались до Днепра, так и не слились с его могучими водами...

Невеселы твои думы, дева! А куда от них денешься, от дум своих? От волка на дерево взберешься, от медведя на коне ускачешь в чисто поле, от озорника на княжий двор прибежишь. А от дум, которые в тебе, внутри, не спросясь обосновались и озоруют, от них куда деваться? Некуда.

Вон листики на липе. Чуть колышутся. Много их. Иные — будто светятся зеленым. Приглядишься — каждая жилочка видна, посветлее самого листика. Под многими листочками — как серьги под ее ушами — малые шарики зеленые, на тонких стебельках, по два, по три. Отцвела липа, отгудели в ней пчелки, шмели да мушкетеры разные. А вон ползет по зеленому листочку жучок червонный в черных пятнышках. Вцепился, не сваливается. О чем думы его? Да и бывают ли у него свои думы, у такого малюсенького? Кто ведает? Гляди, гляди! Поднял свои червонные крылышки, выпростал из-под них другие — прозрачные, а оторваться не решается, страшится. Ну что же ты, боягуз? Мне бы такие крылышки... Ага, решился все же, оторвался! И улетел.

Куда бы мне улететь? А где мои крылья?

Может, выйти на кручу над Днепром, раскинуть руки как возможно шире и попросить Стрибога хорошенько, чтобы подхватил. И полетишь. Над рекой, над Горами, над лесом, над полем... Как птаха. Отчего человек не летает, как птаха? Наверно, одна только душа наша летать умеет. Оттого и во сне бывает, что будто летишь. Оттого и плоть наша и думы наши вослед за душой лететь просятся.

А сверху, ежели полетишь, далеко-далеко видно будет. Может, аж до самых порогов. А может, и до земли ромейской, до самого Царьгорода. Поглядеть бы на Царьгород! Кий с Хоривом бывали там, такое после рас-

сказывали — и во сне не привидится. Горазд тоже с ними был там... Опять Горазд! Да что это я?..

А сверху, когда летишь, все, что внизу, наверно, таким невеликим видится. Все мельче, чем когда с кручи вниз смотришь — на челны, на гребцов... Мелкими-мелкими с кручи видятся, а полетишь выше кручи — так и того мельче...

Нет уж, не полечу я никуда! Никуда и никогда. Руки — не крылья. Пускай одна только душа моя летает, куда сама захочет. Пускай и думы мои летят вослед за нею, за душой моей.

А куда желает лететь душа моя? Куда последуют за нею думы мои?

Ох, страшновато что-то...

Да ну! Чего мне страшиться?

Что самое страшное для человека? Смотря для кого.

Для князя, скажем? Наверно, ежели недруги его дружину побьют, землю его возьмут и племя его примучат. А для боярина? Опять же смотря для какого. Для Воислава — лето без похода просидеть, а для Горазда... При чем тут Горазд? Дался мне этот Горазд! Ну воротился от древлян, живой, невредимый, и слава Дажбогу! Что же это я, в который раз уже, все Горазд да Горазд? Уж лучше о Щеке помыслить, о брате. Он и хваленому Горазду разумом не уступит. И ликом Щек взору приятен, а у Горазда одна бородища — младенцев стращать...

Ну а для любого мужа, хоть для Щека, хоть для гридня или для смерда простого, что самое страшное? Откуда мне ведать, я не муж. То у них самих спросить надобно. Только мне так думается, что самое страшное для любого мужа, это когда он не свое дело делает. Либо делает свое дело не так, как сам желает. Ну, к примеру, его дело — зверя ловить, а он бортничает, хотя в бортники непригоден по натуре своей, вот его пчелы и жалят. Или его дело за ралом ходить, хлеб выращивать, а он на рать ушел, копьем владеет неловко, самого и пронзят... А есть у нас такие смерды-хлеборобы, которые на рать идти не могут и копьем не владеют? Не встречала таких. И все же кмет кмету рознь, простому ратнику с княжьим гриднем один на один не совладать, и отрок старшего дружинника не одолеет. На том, надо полагать, воля княжья и держится. На одном ли на том? Нет, еще каков сам князь. А каков князь, таковы и гридни. Все говорят вокруг, что такой дружины, как при Кие, у полян не

бывало прежде... Так что же самое страшное для мужей? То не моя забота девичья, о том сами мужи пускай заботятся.

А вот для нас, для дев и жен? Что для нас всего страшнее?

Ежели умыкнут? Да, зело страшно. И страшнее нет ничего?

Может, смерть всего страшнее? Всякая ли? Ежели в муках великих, то... Упаси Дажбог!

И не страшно разве одной в лесу заблудиться, да еще в грозу, когда Перун гневается, гремит то вдалеке, то над самой головой и огненные стрелы с небес мечет? Еще как страшно! Или одной в доме оставаться всю ночь, без огня, и слушать, как нечистая сила здесь и там шебаршит-ся? Тоже страшно.

Но может, все то страшно — в лесу ли, в доме ли, — когда одна? Оттого и страшно, что одна? Так, может, самое страшное для нашей сестры — оставаться одной, где бы то ни было? И всю жизнь — о д н о й... Вот где — страх великий! Что может быть страшнее для жены, для девы?

Отчего одни только невеселые думы одолевают меня сегодня? Не боги ли меня карают? А за что им карать меня? Наверно, за то, что принялась людей судить, а сама... Сама не умею веселой и беспечной быть, так и от всех прочих того же требовать дерзнула. Вот за дерзость мою боги и не возвращают мне веселья и беспечности. Чем же задобрить мне их? Какие жертвы принести?

Счастливые те, кто не терзает себя думами!

А я... нет, я не чую себя счастливой. Так что же? Завидую тем, которые счастливы бездумно? Нет, не завидую.

Ибо их бездумное счастье — оно лишь до поры.

Да и сама я несчастлива — лишь до поры.

Уже за полдень, верно. Но ведь еще не вечер?

Еще не вечер!

18. ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Как только собрали урожай, а был он в то погожее лето немалый, Кий тотчас поднял дружины и, не дожидаясь первых белых мух¹, торопясь до ледостава воро-

¹ Б е л ы е м у х и — народное прозвище снежинок.

таться, затеял великое осеннее полюдье. На сей раз решил пройти челнами и верхоконно все полуночные лесные земли, сколько окажется возможным. Начать с древлян — навсегда сбить спесь и озорство. И далее — к ненадежным дреговичам и до самих кравичей добратся. От них повернуть обратно и по пути прихватить радимичей с вятичами, до которых никак руки не дотягиваются. К покладистым северянам прежде тоже сворачивали на обратном пути, теперь же послал всего три тысячи во челе с разумным Гораздом, строго наказав боярину много дани не брать, чтобы осталась князю Вовкобию его доля, и никакой обиды не чинить. На Горах оставил Щека с тысячью младшей дружины — отроков, а также воев и ратников. Всю прочую силу повел сам, прихватив с собой Хорива и Воислава да позвав к тому же Усана с его росичами. Всего набралось без малого две тьмы. Держитесь же, древляне и прочие непокорные! Не желали добром встать под Киев стяг, когда звал он вас, дабы совместно с недругами совладать, теперь придется вам всем откупиться великой данью. Берегитесь же силы князя полянского!

Принеся жертвы Дажбогу, Перуну и другим богам, выступили.

Над Горами установилось бабье лето, деревья тронулись золотом и багрянцем, чисто светлело в вышине лазоревое небо. Дажбог согревал и без того горячие спины гребцов, гнавших челны против течения. А лица всадников, идущих берегом, щекотала едва заметная летучая паутина.

Просмоленные челны упрямо одолевали встречную волну. Нагулявшиеся за лето кони просили повода, задорно вскидывая хвосты и головы. Здесь и там слышались плеск весел, всхрапывание и ржание коней, зычные голоса переключавшихся дружинников.

Шли не таясь, под стягами, сотня за сотней, тысяча за тысячей. Шли уверенно, чуя свою великую силу. В иных сотнях тешились песнями. Следовавшие за князем гридни затянули свою любимую:

Сизокрылый орел
На гнездо полетел.
Гей, огей, он полете-ел!

В самом начале пути распростились с Гораздом, ушедшим со своей трехтысячной дружиной вверх по

Десне к северянам. Князю Вовкобию послали с ним в подарок шелковый плащ ромейский, соболью шапку с узорчатым парчовым верхом, мешок золотых монет и посеребренную надежную броню, изготовленную привезенными с Истра рабами — как раз по мерке, чтобы впору на великую плоть доброго соседа. Кий верил северянскому князю Вовкобию, не тревожился и за Горазда, разумнейшего своего боярина, и предполагал, что те три тысячи воротятся на Горы прежде прочих — тогда и Щеку там с ними спокойнее станет, а то мало ли кто пожалует из степей. Не приведи Дажбог, нагрянут обры! Во что бы то ни стало всем надобно воротиться до их прихода. Только вряд ли пойдут обры к Горам, на зиму глядя. И все же... Как говорится, осторожного Дажбог бережет.

В первый же день дошли до того места, где Ирпень втекает в Днепр. Три тысячи повел вверх по Ирпеню Хорив, отбивая у ближайших древлян охоту переходить эту речку и вторгаться в земли полянские.

Тем временем Кий прошел с другими выше по Днепру, до устья Тетерева и с ходу отбил у древлян обратно становище с амбарами и частоколом на валу. В прежние времена становище это было древлянским — в нем укрывались от полян и прочих соседей, да от своих же князей, тоже ходивших в полюдь за данью. Затем становище отобрал Рекс, сыну которого теперь заново отнимать пришлось... Отняли обратно. И здесь же встали на ночевку. Коней, стреножив, пустили пощипать оставшуюся травку.

С рассветом еще три тысячи, ведомые Воиславом, поднялись вверх по Тетереву, собирая у древлян зерно и пушнину, мед и воск, беря также скот и птицу. Сбранную дань отсылали берегом и на челнах к становищу при устье, где сам князь распорядится, что тут же отправить к Горам, что уложить впрок на становище, а что взять с собой в поход для прокорма дружин. Груженные данью челны вниз по течению шли легко.

Через две ночевки, дождавшись воротившихся Хорива и Воислава, оставив на становище немалую сторожу, Кий повел всех далее — до другого становища, где в Припять втекает Уж. Здесь их встретило великое множество древлянских кметов во челе с боярином Младом. Сеча, однако, была недолгой. Бывалые, отменно снаряженные и обученные полянские дружины вскоре разогнали бестолковую, хотя и великую, силу древлян,

невзирая на то что рубился каждый древлянин без страха.

Во время сечи сидевший на новом своем буланом коне Кий заметил в сторонке самого Млада, под которым был коренастый и долгогривый караковый конь. Князь направил буланого туда, к древлянскому боярину. Гридни не отставали, следовали за своим князем, окружая со всех сторон и даже обгоняя его. Гот Ареовинд пробился долгим мечом до самого Млада, тут же подоспели Брячислав, Доброхлеб, грек Филоктимон и еще четверо полянских гридней.

— Боярина — мне! — зычный голос Кия перекрыл шум сечи.

Взвились на дыбы, визжа и грызясь, озверевшие кони — буланный и караковый. Кий принял удар на перекрестье своего меча, крутанул — меч древлянского боярина тут же вылетел прочь. Теперь Млад прикрывался одним только щитом.

— Живьем берите его! — приказал Кий гридням.

Вдогон уходящим в великом расстройстве древлянам пустили Усана с росичами, дозволив взять себе всю дань, сколько сумеет собрать. Росичи дошли по Ужу до самого корста, на скалы и валы не полезли, только запалили стрелами частокол и терем князя Горислава, после чего с богатой добычей воротились к становищу. Здесь Кий отпустил их обратно на Рось, а Усану к тому же подарил снятую с Млада золотую цепь и его каракового коня. Немалую долю собранной с древлян дани полянский князь отправил на свой двор под сторожей росичей, которым так и так по пути к себе Гор не миновать. Доверял росичам как своим. А отчего бы и не доверять тому, кто не терял доверия ни единого разу?

Вечером Кий угощал полоненного Млада взятым у древлян медом. Говорил весело:

— Приходи ко мне на Горы по-доброму, полянского меду с тобой отведаем. Наш мед не слабее, клянусь Дажбогом! Приходи добром — не обижу, другом станешь.

Боярин угрюмо молчал, пил неохотно. Стыдно было. Под конец сказал:

— Казни меня, как пожелаешь, а только князю моему Гориславу не изменю. И нынешняя сеча — не последняя меж нами. Вы еще наших Долгих Валов не одолевали. И не одолеете!

— А на что нам ваши Долгие Валы? — Кий усмехнулся добродушно. — Мы и реками пройдем, как до сего дня и ныне проходили. Это вам наши Горы понадобились. Что ж, попробуйте побывайте.

— Бывали уже, и не раз!

— Верно, бывали. Когда меня с дружиной не было. А теперь я есть, воротился, и дружины мои все при мне... Шли бы лучше добром под мой стяг. Как северяне и росичи. Я с ними данью честно делюсь, и добычу в походах честно делим. Так и передай князю Гориславу. Уразумел? Ну чего уставился, будто век меня не видел? Казни, что ли, ждал? Эх, боярин, боярин! Коли желал бы я твоей гибели, то в нынешнем бою и добил бы... Ты ни смерти, ни казни лютой не страшишься, вижу. И князю своему верен, ведаю. А за верность да за бесстрашие я никого не казню. Отпускаю тебя. Ступай. И перескажи Гориславу, что видел и слышал.

Млад поднялся — идти. И пошатнулся: захмелел от своего же меда древлянского. Кий велел уложить хмельного боярина в шатре особом и сторожить, чтобы не обидел никто. Утром накормить, дать челн с веслом или коня, пускай сам выберет. А то куда же идти хмельному на ночь глядя?

Наутро князю доложили: гордый боярин ночью сам себя зарезал.

Тем же утром свернули шатры, оставили сторожу на становище и двинулись далее. Князь был сумрачен, все мыслил о Младе. О полянах и древлянах. Для чего враждовать им?.. Свое прежнее решение — идти всей силой, не разделяясь, — переменял. Теперь разделились: Хорив пошел далее вверх по Припяти — на дреговичей, а Кий с Воиславом — к верховьям Днепра, где кривичи, чтобы оттуда свернуть на восход, на вятичей и радимичей.

Хорив дреговичей одолел и отнял всю дань, уже собранную перед тем ихним князем, как раз завершавшим свое полюдье. Кий же с Воиславом всю землю кривичей пройти не сумели, взяли дань с одних только кривичей-полочан, в лесах у радимичей увязли, а до вятичей и вовсе не добрались.

Кий разумел, что и кривичи, и радимичи, и вятичи, даже все вместе собранные, в открытой сече не устояли бы против дружин полянских. Ибо не числом, а прежде всего умением одолевали недругов его дружины. Но в

лесах да топях — развернись и покажи свое умение, попробуй! Там — иное умение, там — все иное...

Кони притомились, гребцы выдохлись, по ночам одолевали заморозки. Высыпал и тут же растаял первый снег, сменившийся многодневным промозглым дождем. Нет, пожалуй, все же сподручнее ходить в полюдь зимой, на саних. Зимой и лес просматривается глубже, ворожьих стрелков за деревьями приметить легче. Да по следам на снегу определить, где что и как...

Отбив обратно, проведав уцелевшие да поставив новые становища со сторожей, всего до полусотни, Кий повелел поворачивать на полдень и возвращаться к Горам.

— Не надо было разделяться, — ворчал Воислав, согнувшись в седле и зябко кутаясь в промокший под дождем плащ. На потемневших от воды усах и на кончике почервоневшего долгого носа его повисли холодные капли. — Всем вместе идти надо было. И росичей не отпускать, взять с собой. И северян позвать тоже.

Мокрые кони теперь все казались вороными. Взлетали из-под копыт то брызги воды, то комья грязи. Боярин, едучи рядом с князем, все ворчал да ворчал.

— Ничего, — отозвался накоц Кий. — Еще не вечер.

19. ЕЩЕ ОДНА БЕССОННАЯ НОЧЬ ИМПЕРАТОРА

Он не выходил в сад, оставался в своих покоях. Велел погасить все огни, лежал навзничь с широко открытыми глазами. Глядел в навалившийся на него мрак.

И вот из мрака, поначалу будто лик на фреске, а затем все явственнее, все ближе и объемнее, появилось лицо. Черные глаза под сросшимися бровями сверкали, неистощимо меняя свое выражение — то озорное и капризное, то печально-задумчивое, то ласково-вопрошающее. Все ближе, ближе склонялось над ним это лицо, единственное и неповторимое в его судьбе. Казалось, он слышит ее частое дыхание, вот-вот она припадет к его груди и затихнет, и он побоится шевельнуться, чтобы не спугнуть ее, лишь положит осторожно руку, ощутив под шелком теплую худенькую спину, бережно прижмет к себе...

Император невольно поднял руку — погладить чуть впалую щеку склонившегося к нему лица... Под ладонью

оказалась пустота — рука упала беспомощно. И лицо, только что приближавшееся к нему, исчезло. Снова — мрак, беспросветный мрак.

Во мраке этом никто не увидит, как вытекают нескончаемые слезы из широко раскрытых глаз Императора — он не утирает своих слез. Уж которую ночь подряд... А днем он будет снова на виду у всех, величайший монарх величайшей империи — Второго Рима. Он будет на виду у всех — у телохранителей-спитариев, у бесчисленных придворных, у иноземных послов. На виду у самой Истории. Как и прежде — мудрый, непоколебимый, озабоченный возложенной на него свыше миссией, недостижимый в своем непревзойденном величии. Таким видели его при жизни Императрицы, таким видели его на ее похоронах, таким должны видеть его и впредь. Только бессонными ночами, когда остается он один, во мраке, когда никто не смеет без зова войти в его покой, — только тогда может Император позволить себе не удерживать слез, не утирать их. Все, что накапливалось за день и держалось взаперти, в потаенных темницах души, все это теперь, в ночи беспросветной, выпускалось на волю и выплескивалось из-под несомкнутых век, текло по щекам, и был неиссякаем тот горько-соленый источник. И не было от пролитых слез ни утешения, ни облегчения.

Один лишь Господь мог видеть его таким. Перед Богом — ни к чему таиться.

Император пытался было найти утешение и облегчение в молитве, но, едва лишь взглянул на образ Богородицы, тотчас видел другое лицо — не кроткий лик пресвятой девы Марии, а — Е е, неукротимо живую, неистощимо переменчивую, беспредельно близкую и родную. Свою Императрицу...

Нет, он не помнил сейчас того Е е остывшего лица, пугающего не столько мертвой желтизной, сколько непривычной неподвижностью. Не помнил и не желал помнить. Глядя во мрак, снова и снова видел привычную, неумную, строгую и нежную, властную и беззащитную, ему одному доступную и ведомую во всем богатстве граней непостижимой души своей.

Не только супругой была ему Императрица, но первейшим другом и советником, самым надежным, самым доверенным. Кому еще мог так верить? Никому. Перед кем еще мог оставаться самим собой? Ни перед кем. Кто еще так знал его — не только как базилевса, но просто как

человека? Никто. Кто иной знал не только силу его, но и скрытые слабости? Никто иной. Был ли в его нескудной обещаниями и деяниями жизни хоть кто-нибудь ближе, дороже, незаменимее? Не было.

Император в который раз уже пытался перебороть себя, отвлечься. Но возможно ли отвлечься? Чем отвлечься? Заботами мирскими? Делами государственными?

Да, их неуправляемость, всевозможных дел его великой империи. Которая сотрясается вся — от края и до края, из самых глубин своих, как сотрясается по ночам в изнеможении душевном грудь ее властителя.

Были, не так уж давно, неповторимые годы — росла и росла мощь Второго Рима, росла наперекор и вопреки всему. Вырастали новые города и храмы — не было пределов их росту, их числу. Расширялись от моря и до моря земли империи — не было пределов ее границам. Покорялись здесь и там неисчислимые враги-соседи и недруги внутренние — не было силы, способной противостоять гвардейцам и федератам. Слава античных цезарей блекла в лучах славы небывалого императора. И рядом, разделяя — заслуженно разделяя! — его неслыханную славу, была Она...

Что же после произошло? Отчего и когда, с какого момента наступил роковой перелом, после которого что ни год, то все хуже и хуже, и все меньше сил, и все меньше надежды?

Господи, сколько же городов было построено, названо его именем и именем императрицы — возможно ли более надежным способом увековечить имя свое, память о делах своих? И что же? Мятежи и пожары, эпидемии и разруха — вот участь городов империи. А может, со временем — и участь самого Константинополя?!

Сколько храмов, сколько монастырей было возведено при нем на землях исконных и землях завоеванных — возможно ли усерднее служить своей церкви и внедрять повсеместно свою веру! И что же? Здесь и там восстанут и бунтуют обезумевшие язычники и еретики, горят и рушатся великолепные храмы, пустеют и превращаются в развалины многие святые обители.

Сколько новых провинций, богатых и цветущих, присоединили к землям империи его славные полководцы — возможно ли убедительнее продемонстрировать силу государства! И что же? С каждым годом все острее

ощущается нехватка войск для усмирения непокорных провинций, от которых теперь не прибыль — одни убытки. И уж подавно не хватает сил для ведения внешних войн — все чаще приходится вступать в вынужденные мирные переговоры, добиваться перемирия с соседями любой ценой, на унижительных условиях.

Сколько варварских вождей сумел он в свое время привлечь на сторону империи, заставил их служить Второму Риму, а скольких стравлял меж собой, как петухов! И что же? Где они, те вожди? Даже Кий, в котором не было каких-либо сомнений, и тот вдруг отступился вероломно, увел антские дружины к себе на Борисфен, открыв для склавинских набегов границы вдоль Истра. И нет сил, нет возможности покарать изменника.

Не счесть крепостных стен и башен, поставленных при Императоре вдоль Истра, — кому еще удавалось в столь короткие сроки возвести подобные укрепленные линии! И что же? Теперь его воины вынуждены разрушать свои же цитадели — дабы не достались нападающим полчищам склавинов.

А с северо-востока абарская гроза все ближе и ближе. Страшнее гуннского нашествия. Вся надежда на то, что направят главный свой удар, как и предшественники их, на запад — против антов и склавинов. Что еще может спасти от грозного нашествия империю? Но если, не приведя Господь, абары вздумают повернуть на юг, на земли империи, и дойдут до Константинополя... Возможно ли предугадать? Как отразить тогда такую силу несметную?

В небывало короткий срок сумел он, опираясь на лучшие умы империи, «причесать», как образно выразилась Императрица, безнадежную, казалось, путаницу бесчисленных законов — что по сравнению с подобным свершением шестой подвиг языческого героя Геракла, сумевшего очистить конюшни царя Авгия! И что же? Дня не проходит, чтобы Императору не доносили о повсеместных нарушениях и искажениях его законов. И что досаднее всего — все чаще и чаще его законы и постановления попросту игнорируются. Где же взять ту силу, которая заставила бы уважать и соблюдать закон империи?

Уж не сочтены ли дни Второго Рима, которому, казалось, было свыше предписано стоять вечно?

Внешне-то все по-прежнему благополучно: в храмах

Константинополя пока еще исправно идет служба, комиты и сенаторы ни в чем не ведают нужды, на ипподроме по-прежнему устраиваются красочные ристалища, всюду — пурпур и золото, и не иссякают громогласные славословия в адрес Императора.

Но сам-то он знает истинное положение, сам-то он — осознает!.. И горькое это сознание, и тяжкие эти заботы мужественно разделяла с ним Она, хрупкая, нежная женщина. Разделяла до конца...

Кто же отныне разделит с ним и славу, и заботы, и тревоги? Некому.

Нет, не отвлекься думами о делах государственных. Ничем не отвлекься. О чем бы ни помыслил — всюду Она. Не было без Нее жизни. Нет без Нее никакой жизни. И быть не может. И не будет.

Может, один ему путь остался? Поступить так, как поступали великие его предтечи — древние римляне? Руки — в теплую воду, и — острым лезвием по взбухшим венам!.. Хватит решимости на подобное, хватит мужества? Решимости и мужества — хватит. Когда горе беспросветно, когда боль нестерпимая наваливается на душу бессонными ночами, тогда на все хватит решимости, на все хватит мужества. Но нет, нельзя! В отличие от тех великих римлян, он — христианин. Нельзя: грех!

Так что же остается ему? Уйти в святую обитель, постричься. И в молитвах страстных, в уединенном общении с Богом, вдали от грешного мира и суетных дел его скоротать остаток своего земного бытия. Да, пожалуй, так. Сей путь достоин христианина, сей путь — богоугоден.

Но угодно ли Богу, чтобы цитадель веры православной осталась обезглавленной? Чтобы Второй Рим остался без него, без Императора? Смеет ли пастирь покинуть паству свою заблудшую? Смеет ли он нетерпеливо сбросить наземь тяжкий крест, на плечи его свыше возложенный? Смеет ли забывать, что он — не просто христианин, но... Нет, не смеет! Как бы ни было тяжело — не смеет. И не смеет роптать перед лицом тягчайших страданий, ниспосланных ему Всевышним. Как ниспосланы они были когда-то праведному Иову, дабы испытать его верность.

И он призвал себя к терпению, лежа недвижимо навзничь на одиноком ложе своем. И казалось, что вот-вот, впервые за столько ночей, снизойдет на него цели-

тельный сон... Вот уж и глаза закрылись, и дыхание ровное, и сознание затуманилось... И мнится Императору, что... то ли грезы, то ли явь... чудится ему, что... Нет, не чудится, а слышно. Слышит он шепот ласковый... и теплые губы уха касаются, нежно так... и легкие пальцы по волосам скользят... И вот уже вся прижалась к нему доверчиво... засопела часто-часто, как младенец, нашедший наконец защиту надежную и успокоившийся... Слышит Император, всем естеством своим ощущает, как колотится рядом маленькое трепетное сердечко. Ее сердечко...

Он снова открывает глаза. Нет никого. Пригрезилось.

Мрак беспросветный, холод пугающий, и ничего более.

Такой же мрак и холод в гробнице, где покоится Она, там, одна-одинешенька, беззащитная, вдали от него, во тьме крошечной. Навсегда? Да, н а в с е г д а...

И губы ее никогда уж не будут теплыми, не коснутся нежно его уха, не шепнут слова ласкового. Никогда? Да, н и к о г д а...

И легкие пальцы не заскользят бережно по его волосам. Н и к о г д а...

Не услышит он рядом с собой ее трепетного сердечка, умолкло ее сердечко, отстучало — н а в с е г д а...

Не прижмется она к нему доверчиво в поисках защиты и утешения, не засопит часто-часто, как младенец. Н и к о г д а...

Н и к о г д а!..

Великий император Второго Рима, прозванный также царем Гуннским и Готским, Африканским и Вandalьским, Алеманнским и Антским... вскидывается на своем ложе, падает лицом в подушку, грызет ее, захлебываясь и сотрясаясь весь. Неудержимо. Долго. Беззвучно.

Беззвучно! Никто не должен услышать.

20. ОБРЫ

Подрумяненное предвечерним светом поле уходило от яра вверх, и окоем с туманно-сизой полосой дальнего леса казался небывало приблизившимся. Лес тот — будто войско великое — занимал правую сторону окоема, а левая оставалась свободной — там край поля упирался в еще не потемневшее небо.

Внезапно вдоль всего этого свободного левого края

появилась новая полоса, будто вырос там в мгновение ока еще один дальний лес. Только не сплошной он, а какой-то... как бы прерывистый. И не туманно-сизый, а пыльно-пестрый.

Трое росичей-дозорных, наблюдавших все сие из яра, затревожились, подозвали свистом коней. Теперь они следили за окоемом прямо с седел, не выскакивая, однако, из яра и по-прежнему оставаясь неприметными. Им уже видно было, что то не лес вдали, а всадники — невиданное множество! И все еще лазоревое небо над тем множеством коней и людей начало тускнеть от пыли, поднятой бесчисленными тьмами копыт.

— То не гунны.

— И не ромеи.

— Откуда ромеи? Может, наши, анты?

— Нет, не анты.

— Неужто обры пришли?..

— Похоже на то...

Не теряя более часу, росичи погнали коней, не выскакивая из яра, по самому дну его, вдоль пересохшего ручья. Неровные склоны неслись навстречу и мимо, чернея разинутыми ртами звериных нор...

Получив — уже затемно — тревожное донесение от своих дозорных, Усан не стал мешкать, тут же, на ночь глядя, послал гонца на Горы, к Кию. Дружине же своей велел к утру изготовляться.

Дажбог только пробуждался, поднимая над окоемом червонно-ясную круглую голову, когда воротился гонец и принес весть, что князь полянский без промедления приведет свои дружины, а росичи пускай тем часом следят за продвиженьем обров и выбирают поле для сечи с ними, но сами в сечу прежде прихода полян не ввязываются.

.....

Кий разумел, что обры — не гультаи и не гунны, помнил предостережения Императора. Спору нет, под защитой ромейских крепостей на Истре обры были бы не так уж страшны. Но что бы стало тогда с оставшимися на Горах полянами, с прочими антами? Что толку теперь гадать да вспоминать, съеденного коня не оседлаешь!..

Свои бы крепости поставить по Днепру. Да по Десне и Припяти, по Роси, Ирпеню, Тетереву, по Ужу даже, по всем рекам приднепровским. Как поставлены ромейские по Истру. Вместо каждого двора и каждого становища — крепость. Га? Камня не хватит. Ну и что? А дуб и вяз не

хуже камня против стрел. Горят, правда... Давно желал и замыслил ставить город, не на Истре теперь — у себя на Горах. Хотя бы одну крепость пока — для начала...

Поздно! Час зря утерян. А ныне одна забота: обров отбить. Все силы — обров отбить. Обры! Страшная, неведомая сила! Они не ждут — близятся... Но коли будет на то воля богов, отобьется Кий да жив останется, тогда уж непременно поставит город на своих Горах — и от степной и от лесной напасти.

Теперь же все силы — на обров...

И опять прежние думы овладевают князем полянским. Кабы всем антам — под единым стягом, да разом со славинами, — ни обрам тогда, ни ромеям, никому не совладать! Не раз убеждался Кий: мыслит верно. Да от верной мысли до свершенного дела — не один переход...

Ко всем, ко всем разослал он гонцов в ту же ночь, когда получил недобрую весть от Усана. И что же? Один только Вовкобий привел своих северян.

Дулеский князь Мусокий отчего-то не вернул гонца — может, гунны в степи переняли да передали тем же обрам? Кий слышал, будто все гунны и гультаи к обрам примкнуть торопятся.

Уличи с тиверцами переметнулись к славинам, вместе ходят теперь на ромеев. Ответили, что ежели и доберутся до них обры, то как-нибудь, на своих землях, с помощью славин, отобьются. Отобьются ли?

Древлянский князь Горислав припомнил все прежние обиды и заявил, что до полян и прочих ему дела мало, лишь бы самого в покое оставили, не мешали самому ходить в полюдь и собирать себе всю дань со всей земли древлянской. И что ежели обры побьют Кия, то слава Дажбогу, ибо тогда не придется более полянам брать дань с древлянской земли. А Гориславу обры не страшны: к нему в леса и топи степняки отродясь не заходили, не решались, и древлянских Долгих Валов да княжьего двора на корсте над Ужом никто еще не одолевал и не одолеет. И еще — что к древлянам теперь примкнули дреговичи и радимичи, они ответят то же. Так и оказалось: от тех и других такой же ответ пришел.

Кривичи же и вятичи вовсе отмолчались.

.....

Поле, выбранное Усаном для сечи, Кий одобрил. И вода недалеко, и развернуться есть где: открытого

места немало, и кустами поросшие яры под рукой, чтобы запасную силу притаить.

А обры — дозоры донесли — уже подходят. Встречи не ждут, идут без строя, без опаски, надеясь на свою силу несметную.

— Гордецы беспечные! — заметил Кий, выслушав донесение. — Они строя не ведают, навалятся всей своей силой, подобно гуннам. Что ж, нам не впервой. Га?

Собрались в шатре у Кия на великий совет братья князя Щек и Хорив, бояре Воислав и Горазд, а также князь северян Вовкобий и князь росичей Усан, оба со своими боярами. Собрались там же все тысяцкие и воеводы. Совещались не слишком долго и порешили вот что.

Усан проведет свои конные дружины знакомыми ярами наперерез обрам, затеет сечу и тут же начнет отходить, приманивая недруга сюда, к полю. Здесь же, на поле, под бело-синим стягом Кия встанут дружины полянские, как уже стояли супротив ромеев и славин с гуннами: головная сила да два крыла. В голове быть первой полянской тысяче и гридням под началом самого князя. Их подопрет Горазд с тремя тысячами пеших воев. Щек с дружинами старшими и младшими встанет на правом крыле, Хорив с дружинами — на левом, чтобы обоим сомкнуться, когда обры увязнут в голове. И еще в ярах — до часу — упрячется запасная сила: Воислав с полянскими конными ратниками и Вовкобий со всеми своими северянами. Ежели обры дрогнут и попятятся, запасная та сила выйдет из яров и отрежет им путь. А коли ничья верха не возьмет, то та же сила по знаку Кия (три стрелы горящие в небо) выйдет и нанесет переломный удар. Ну а уж ежели, не допусти Дажбог, получится неладно, то запасная сила прикроет отход.

Выйдя из шатра, все сели на коней и поскакали в разные стороны — делать, как решили. Молодой Усан в высоком шеломе с серебряными наглазниками с места погнал резвого золотисто-рыжего скакуна к своим росичам, и летел за ним, вея на ветру, багряный плащ. Повел северян к дальнему яру матерый Вовкобий, важно восседая на неторопливом сером коне, который был зело велик и крепок, яко тур, но под грузным всадником казался мелким осликом. Поспешил на правое крыло Щек — весь в светлом железе под лазоревым плащом. Накрывшим широкий круп темно-рыжего коня. К своему левому крылу ускакал Хорив — затрепетало, запрыгало

черное перо на вороненом шеломе, разостлался черный плащ над хвостом вороного коня...

Чуть задержался Воислав, о чем-то совещаюсь с оставшимся у шатра Кием. Тут же оставались Горазд и несколько тысяцких да воевод. Выстраивались под княжьим стягом гридни — вспыхивали грозным огнем концы длинных копий, вспыхивали яро из-под шеломов с бармицами глаза — серые и зеленые, карие и черные, а у Брячислава, у гота Ареовинда и у многих других одинаково лазоревые. Тем же лазоревым светом вспыхнули перья низко пролетевшей сивораки¹, и, прежде чем она успела скрыться, Брячислав крутанулся к хвосту своего коня и, вроде бы не глядя, пустил стрелу. Птица кувырнулась, бедная, и — камнем вниз, нанизавшись лазоревым знаком на чье-то копье.

— Побереги стрелы! — строго прикрикнул Кий. — Не отрок уже — баловать...

Не ведал еще князь, что вскоре обронит второпях злую слезу над порубанным телом любимого гридня — уже не отрока...

Недолог час — вознесутся к небу и разнесутся окрест страшные голоса великой сечи; стук, звон и скрежет железа, рубящего железо; рычание сражающихся — будто звери, крики раненых коней — будто люди... И падут в той лютой сече за родную землю, вместе с Брячиславом, еще многие гридни, старшие дружинники и отроки, ратники и вои. Полягут рядом поляне и росичи, немало северян, а вместе с ними — гот Ареовинд и грек Филоктимон... В первой же стычке с обрами потеряют росичи вождя своего Усана, сына славного Живуна... А после доведется запасной силе — северянам и полянским ратникам — прикрывать отход к Горам, и будет то последняя из многих сеч для сивоусого Воислава... При том же отходе тяжело будет ранен разумнейший и мужественный боярин Горазд, когда прикроет собою Кия от ворожьей стрелы...

Но немало обров падет в той сече под прямыми мечами и тяжелыми секирами, от метких стрел и длинных копий. Быть может, отчасти оттого и не решатся обры, подойдя к Горам, штурмовать отвесные кручи, не решатся проникать в леса, а воротятся на свою степную дорогу и двинутся по ней далее, на закат, где разорят земли дулебов,

¹ С и в о р а к ш а — сизоворонка.

убьют князя их Мусокия, пойдут на уличей и тиверцев, нападут на славинов. И, побив немало тех самонадеянных, но отважных мужей, будут запрягать их жен, забавы ради, в свои возы. А иных славинов заставят строить себе плоты на Истре, других же погонят перед собой на верную гибель против ромейских федератов... И после немало еще зла и разорения принесут многим землям дикие обры, не принося притом ничего путного. Возгорятся и станут задирать всячески царей ромейских, после побиты будут закатными племенами и народами. И в конечном счете погибнут, не оставив по себе никакой добои памяти.

21. ЗА КИЕВ!

О том, что надобно ставить город, спору не было. Спорили о другом: где ставить.

Сидели в тереме Кия вчетвером — князь с братьями и Горазд. Последний был бледен, не бывало тощ, долгая борода вся пронизалась белым волосом. Нелегко далась Горазду сеча с обрами, немало беды причинила принятая за князя стрела — рана никак не затягивалась, к дождю мучила нестерпимо, а сейчас над Горами все заволокло — к ненастью. Боярин морщился время от времени, но не стонал, не ронял чести, только лицо взмокало.

Вдоль стен, над лавками, на припечке, на крепких дубовых полках и в нишах стояла своя и ромейская посуда — глиняная с глазурью, золотая и серебряная. На одной стене, занавешенной привозным ярким ковром, висели доспехи и оружие. Пол из толстого слоя обожженной глины весь был покрыт мягкими и теплыми шкурами, медвежьими да волчьими.

На долгом и широком столе, на скатерти, разукрашенной вышитыми червонными петушками и лазорево-желтыми цветками с зелеными листочками, также стояло немало посуды — расписной глиняной, чеканной медной, узорчатой серебряной. На блюдах — навалом копченое мясо и житный душистый хлеб, своя свежая рыба и ромейская соленая, привозные плоды и боровая ягода. Посреди высился широкогорлый пузатый кувшин — с медом.

Потягивали крепкий многолетний мед из расписных ковшей и золотых добытых кубков, заедали кисловатой

ягодой, которую таскали с круглого серебряного блюда. Так и сидели вчетвером...

Был здесь, правда, еще пятый — любимый княжий пес Сивко, величиной едва не с телка, ходивший с Кием и на волков и на медведя. Но он в разговоре не участвовал, тихо лежал под столом, тоже чуя непогоду и подремывая. Время от времени лениво приоткрывал один глаз и раз-другой проводил по полу косматым серым хвостом, как бы давая понять, что слушает и что дело, о коем ведется речь, ему не без разницы.

— А чего толочь воду в ступе? — горячился Хорив. — Здесь, где сидим, и ставить город. На горе Киевой. Вся земля отсюда под обзором, и Подол и плавни. С трех сторон — яр да кручи, обры не полезли и никто не полезет. И ежели еще стены с башнями...

— А с четвертой стороны? — прервал Щек.

— А что с четвертой? Долго ли ров вырыть? Еще вал насыпем, на валу стены с башнями повыше поставим. Где князь сидит, там и городу быть. Чего еще толковать?

Кий внимал молча, не торопил. Помалкивал пока и Горазд.

— То все так, — возразил брату Щек. — Все ты верно сказал. А куда, скажи, княжий двор да княжий терем девать, коли город здесь ставить затеем?

— Никуда не девать, — тотчас ответил Хорив. — На своем месте пускай остаются. А новый терем, стены да башни достраивать будем. Как на Истре достраивали.

— То было на Истре, — Горазд вздохнул, то ли от боли, то ли от вспомнутого. — А здесь мы на Днепре.

— Посуди сам, — гнул свое Щек. — Город в одно лето не поставишь. Пока ставить будем, куда князю деваться?

— Да хоть ко мне на двор, на Лысую гору, — ничтоже сумняшеся предложил Хорив. — Там и Майдан и капище, боги рядом. Чем худо?

— А тем худо, — заговорил Горазд слабым голосом, — что Днепр далеко. И ни Подола, ни затона с пристанью, ни плавней левобережных, ни окоема широкого оттуда не узришь. Уж лучше на Щекову гору, хотя она и пониже. От нее хоть видать все окрест...

— Верно! — поддержал Щек. — И взять мою гору не просто, тоже яры вокруг. И город ставиться будет на глазах у князя, тут же рядом. Разумно предложил Горазд. Переходи, княже, ко мне на двор.

— А ты куда?— спросил Кий.

— Как свелишь. Могу при тебе остаться, не стесню. А могу и к Хориву. Что, брат, примешь меня?

— И близко не пушу,— засмеялся тот.

— Погодите!— остановил братьев Кий.— Есть ведь еще гора. Рядом с моей. Га?

— Так там же могилы. На могилах город ставить? Богов прогневим.

— Не прогневим,— Кий говорил все убежденнее.— Могилы на полдень от города останутся, отгородимся рвом. А с той горы еще далее видать все окрест, нежели с моей. Все пути как на ладони. И братъ ее врагу не легче, тоже яр да кручи с трех сторон. А потому мое слово будет такое. Внимайте! Город поставим на той горе, про которую речь веду. Приступать без промедления. Ведать тем делом Щеку и Горазду, и я сам при вас тут же буду. Тебе же, Хорив, заняться дружиной, ходить в полюдье и глядеть, чтобы никто не полез, покуда город не поставим. За лесом и за полем глядеть будешь. А как поставим город, тогда переберусь я туда в новый терем, а ты уйдешь с Лысой горы сюда, на это место. Хватит тебе на отшибе быть! Сядешь на нынешней моей горе, оженим тебя... Чего головой мотаешь, как конь от мухи? Не век тебе одному ходить, пора бы и чадами обзавестись. Пока не поздно... Вот у меня, гляди, двое уже, теперь третьего жду. И Щек догоняет. А ты чего же? Или стар да немощен? Га?

Все засмеялись, а Хорив уткнул серые глаза под ноги себе, напрягся весь, но смолчал.

— Князь верно сказал,— тихо одобрил Горазд.— Новый город на новом месте ставить сподручнее. И лучше той горы правда не сыскать. А еще мыслю, в новом городе и новый Майдан быть должен, пошире прежнего. И новое капище на нем.

— А боги как же,— спросил Щек,— на Лысой горе одни останутся?

— Богам при новом капище быть надлежит,— ответил боярин.— Перенесем их с Лысой горы.

— А на Лысой горе что будет?

— То вторая забота,— снова вмешался Кий.— Первая забота наша, чтобы скорее город поставить.

— Дозволь, княже, слово молвить,— Хорив поднял засветившиеся серые глаза, смуглое лицо его залилось багрянцем.

— Говори, отчего же, — усмехнулся князь. — Только знай, оженю тебя непременно, тут мое слово последнее. Я как-никак в роду старший...

— Я не про то, — Хорив перевел дух и, обращаясь взором ко всем сидящим, сам встал и поднял добытый когда-то в походе золотой кубок давней греческой работы, полный меду. — Хочу испить с вами... За новый город. За первый город на земле полянской. И не гневайтесь, что припомню Истр, припомню Киевцу спаленный... Для того только припомню, чтобы еще слово молвить...

Все встали с ковшами и кубками в руках и внимали терпеливо, чуя, что сказано будет не пустое.

— Нарождается человек, — продолжал Хорив, — ему дают имя. Потому что без имени нету жизни у человека. А ставится город — дают имя городу. Потому что нету жизни городу без имени. Так назовем же первый полянский город именем великого князя нашего! Хочу испить с вами за Киев город!

— За город Киев! — воскликнул Щек, подходя к Хориву и целуя его.

— За Киев... — тихо произнес ослабевший Горазд, опираясь свободной рукой о стол, чтобы устоять.

— Что же, быть по-вашему, — растроганный князь вздохнул и первым осушил свой ковш. — За Киев город так за Киев город.

— За Киев! — дружно повторили все и осушили свои ковши да кубки.

22. ДУМЫ ГОРАЗДА

Вот еще крепче прихватило. Вчера было легче. А нынче... Стерпеть надобно, как вчера терпел. Терпеть, никого не звать. И ныне и завтра и после — терпеть!

Как долго не отпускает... Конеч, что ли?.. Кажется, душа уже покинула плоть немощную. Покинула, да не отлетела прочь, а будто одной рукой еще держится. Долго ли удержится?.. Удержалась вроде. Удержалась и воротилась. Отпустило, слава Дажбогу! Так же внезапно, как прихватило перед тем. Чело взмокло.

Нечиста ты была, стрела обринская!

Ну ничего... ничего... Важно, что отпустило. Теперь снова душа на месте, снова разум прояснился.

Слышно, как кони буянят в конюшне, бьют в доски копытами. Немало добрых коней в новой конюшне на

широком дворе боярском. Два раба-полонянина под присмотром племянника-отрока коней блюдут.

А за конюшней — коровник, там жены да девы из родни боярской за скотиной поглядывают. Еще подальше — кабаны в загородке тесной, не ладят меж собою, взвизгивают.

В амбарах — зерна вдосталь, в погребах — мед и вина ромейские.

Велик двор у Горазда, немногим менее княжьего. Велик и род его, на дворе живущий. Прежде еще многочисленнее было, да после сечи с обрами не воротились многие. Прежде, до обров, жен в роду недоставало, теперь — мужей недостает. Прежде, бывало, не ведали, где бы на стороне еще деву добыть, а ныне — иная забота: как бы свои девы не засиделись. Иначе иссякнуть может великий род, как то уж случилось со многими родами полянскими. Мало полян осталось на Горах и окрест после сечи с обрами. И ежели древляне, скажем, дань платить не пожелают да, упаси Дажбог, перейдут Ирпень, а за ними — кривичи, дреговичи... Их дружины с обрами не рубились, ихних кметов не поубыло. Того и жди — все на полдень мимо Гор двинутся, как то бывало не раз, поближе к землям щедрым. И не то что мыта за проход платить не пожелают, но еще и Горы разорят, оставшихся полян примучат. Как упасться?

Одно спасенье — город ставить. Верное решение принял князь, теперь — не мешкать, успеть бы!

Двор боярский от нынешней Киевской горы недалеко, а к новому двору князьему, когда город поставят, еще ближе будет. Место доброе, высокое. За частоколом, что на земляном валу, здесь и там повыше дворы вырастают — дворы тех братьев и прочих родичей Горазда, которые отделиться пожелали. Да неподалеку — еще один немалый двор, где обитает первый тысяцкий с родом своим, тоже не скудным. Теперь с Гораздом породниться хотят, сын тысяцкого, недавно из отроков в старшую дружину переведенный, выплатил вено за молодшую сестру одного из боярских племянников. На чем дворе жить молодым или отделяться им — пока не решились.

Как бы там ни было, а род боярина Горазда не иссякнет. Добра всяческого, в ратных и мирных трудах нажитого, всем хватит, никто в обиде не останется. Это, конечно, ежели надежными хозяевами будут. А то ведь

самое великое добро, годами нажитое, кровью и потом оплаченное, разорить да растерять недолго.

Нет уж, покуда жив Горазд, старший в роду своем, быть порядку и достатку на дворе его. Покуда жив... Но настанет час — доконает его стрела нечистая, справят тризну... Что после будет? Кто род возглавит? Кто добро обережет и приумножит? Примутся многие, за желающими дело не станет. А поладят ли меж собой? Не растащат ли все по колышку да по бревнышку? Жалко.

Жалко стен рубленых, коней верных и прочей живности. Жалко мехов и парчи, ковров заморских, блюд и кубков золотых да серебряных, в походах и на Погосте добытых. Однако то все — наживное. Есть у боярина кое-что, чему цены нет, чего было бы жалко более всего прочего. Никаким золотом серебром того не заменить...

Да, сберегается у него кое-что в оплетенной железом скрыне¹. Не золото, не серебро, не каменья. Там, в скрыне, лежат тесно, до самого верха, пергаменты ромейские, привезенные боярином из Царьгорода, когда ходил туда с Кием к Императору. Исписаны все те пергаменты греческим и латынью.

Греческому и латыни, разговору, писанию и чтению Горазд обучился в давние лета, еще отроком будучи. Обучили его приходявшие к Горам ромейские гости, немало шкурок собожьих да куньих отдал за науку. И не жалел. После не раз пригодилось. Хорошо бы и князю той наукой овладеть; Горазд не раз предлагал, но Кий все отговаривался, на недосуг ссылаясь. Дескать, после, погодя. А когда после, когда погода? Ежели вчера и нынче недосуг, то и завтра недосуг будет.

Слава Дажбогу, младший брат княжий Щек желание проявил, и не только сам, более того — сынишку своего Селогостика, когда подрастет, обучить намерен. В таком добром деле Горазд рад помочь. Может, не напрасно бережет он ромейские пергаменты в своей скрыне?

Что же написано на пергаментах, привезенных в полянскую землю из далекого Царьгорода? Многое написано. И — разное.

На одних пергаментах написаны законы ромейские,

¹ С к р ы н я — сундук.

по приказу Императора воедино собранные. Только не все тут. Всех законов ромейских столько, что особый воз потребовался бы — их там полсотни книг да еще дюжина, где собраны указы самого Императора. Прочитать столько — все дела свои прочие забросить, и то остатка жизни не хватит. Нет, Горазд привез только так называемые «Институции», в которых все изложено покороче — для ромейских юнцов, желающих обучаться. Пять лет обучаются они, и в первое лето должны выучить «Институции», а уж после, в оставшиеся четыре, — все прочее. И тогда — пять лет спустя — лишь основами той науки овладеют, тогда допущены будут сами суд вершить. У антов иначе, здесь суд вершит либо сходка во челе со старейшинами, либо сам князь. Со времен Кия все чаще — князь. А Император в Царьгороде тоже нередко своих ученых мужей, которые суд вершат, поправляет, и слово его после них окончательное. Про то Горазду не раз ромеи рассказывали — те, с которыми в Царьгороде толковал, а также приходящие к Горам слы и гости. Что ж, по разумению Горазда, так оно и должно быть, чтобы один муж в своей земле окончательное слово молвил и за то перед богами ответ держал. Оттого и по душе боярину Кий, что принял на себя такую ношу.

Вспомнилось, как еще в Киевце на Истре прочитал Горазд князю пергамент с таким суждением Императора, что, мол, безопасность земли и народа укрепляется оружием да законами. Что тем и держатся ромеи. Кий тогда выслушал внимательно, помолчал и молвил:

— Мыслю такоже, боярин. Оружие у нас, слава Дажбогу, есть. И не хуже ромейского. А законы... Есть у нас и законы, только — неписанные.

Теперь, вспоминая тот разговор, Горазд подумал, что со временем обучатся поляне читать да писать, и тогда понадобятся им законы писанные, как у ромеев.

Впрочем, у ромеев все писаное. Даже про жизнь богов и про деяния богов есть у них пергаменты, там же и те законы, которые еще ромейскими богами заведены были. Такие пергаменты тоже привез Горазд. Читал их — зело забавно и поучительно. Чтут ромеи единого бога — Бога Отца, старца великого, высоко на облаке восседающего. Тут боярин не раз отмечал, что Дажбог выше любого облака. И что Дажбог всем виден, а ромейского Бога Отца никто не зрит... Еще, пишут ромеи, есть у них, также незримый, Бог Дух Святой. Малюют они его в

облике голубя, а каков сам есть, того толком разъяснить не могли Горазду, говорили, будто всюду тот Дух Святой и во всем. Ну боярин для самого себя так уяснил, что речь ведется как бы о душе Бога Отца, которая и все прочие души в себя вбирает, в каждую душу проникает, чтобы владеть ею. А в которую не проникает, та душа на погибель обречена. Не все тут до конца ясно было, хотелось потолковать о том с волхвами, и прежде всего — с великомудрым Белым Волхвом, однако не решился. Опасался, что навлекут на него волхвы гнев антских богов и повелят принести им в жертву ромейские пергаменты, пожечь их все на капище. А может, и самого Горазда туда же заодно. Либо навлекут на его дом и двор гневную стрелу Перунову. Нет уж, хватит с него стрелы обринской!.. Оттого и не стал сказывать ни волхвам, ни даже князю и его братья про ту часть пергаментов, где о богах ромейских речь ведется. Остерегся.

Еще сказано было там, что есть у Бога Отца Бог Сын, по прозванию Иисус Христос. Будто рожден он был по воле Бога Отца без зачатия непорочною девою Марией. Лик Богородицы, с младенцем Иисусом на руках, не раз видывал Горазд в ромейских храмах, когда посетил с князем Царьгород. Там же видел он и лик самого Христа, уже мужем ставшего.

Написано было на пергаментах и то, что Бог Сын был и смертным сыном человеческим, бессмертным сыном Божьим. Такого Горазд никак уразуметь не мог, сколько ни тщился, и тешил себя тем, что не разумеют того даже многие ромеи. Он слыхивал, будто иные из их полагают, что Иисус не мог быть сыном человеческим, а только — сыном Бога Отца; Император же на таких зело гневается, а Императрица к ним благоволит; якобы и Безбородый, как и все его соплеменники-армяне, тоже так мыслит — что не может быть бессмертный Бог смертным человеком, только Императору своему хитрый военачальник в том не признается, опасается.

И еще: всех вместе — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого — ромеи называют Святою Троицей и тому триединству усердно молятся.

Зело любопытно все сие Горазду. Только у антов — проще и понятнее. Пожалуй, не годятся антам боги ромейские. Свои — ближе, разуму доступнее.

С кем потолковать обо всем об этом, с кем поделиться думами? Кому довериться? Не с кем поделиться думами

сокровенными. Некому довериться. Родичей вокруг — хоть отбавляй, а душа боярина — одна-одинешенька...

Был бы сын, хотя бы один! Тогда спокойнее стало бы Горазду. Спокойнее, что после смерти его не останется великий двор без единого хозяина, не растащат родичи добро по колышку да по зернышку, не пропадут напрасно нелегкие труды боярские. Обучил бы он сына своего греческому и латыни — не попали бы в чужие руки, не сгинули бы без пользы пергаменты ромейские. А там, как знать, может, и дождался бы Горазд, когда сын его вырастет плотью и разумом. В чем сам уже немощен, в том сын подсобил бы. И было бы с кем словом перемолвиться, думами поделиться сокровенными. Было бы кому довериться.

Но откуда взяться сыну, когда жены нету?

Обидно. В роду своем — старший, добра — не занимать, разумом — не обделен. А один, один сам с собою, хуже иного дурня либо гультая. Отчего так? Когда-то, еще отроком будучи, не единожды заглядывался Горазд на красных дев полянских. Бывало, и в походах озорывал. Но ни одну не умыкнул, ни одну не выкупил. Не торопился, все выжидал, что повстречает такую, которая всех прочих краше и разумнее окажется. Все ждал. А час не ждал. А после — недосуг было. А там и вовсе потерял Горазд какой-либо интерес к женам да девам. Дела ратные, заботы о судьбах родичей и порученьях княжьих — вот что сплошь заполонило все думы Горазда. Не успел опомниться — а уже не молод. После стрелы нечистой — напрочь плотью немощен. Куда, к чему ему отныне жена, та к о м у? И откуда теперь взяться сыну — без жены?

Невесело.

Более того — тяжело. Невыносимо тяжело на душе. Как никогда прежде. До боли! Боль плоти — ее не просто вытерпеть. А боль души... Поди-ка вытерпи, попытайся!

Что же остается боярину Горазду? То же, что и прежде. Жить, покуда живой. Терпеть, покуда терпится. Дело свое делать исправно, чести не ронять. А дел на его долю еще хватит, хватило бы сил...

Кию надобно помочь — город поставить. Щека да Селогостика обучить латыни и греческому, чтению и писанию. Хориву... Тут иное. Чем поможет он непоседливому Хориву? Пока что Хорив сам помог Горазду: уступил выкупленного у ромеев еще на Истре старика-

раба, разумевшего и по-ромейски, и по-антски. И никакой платы за того раба взять не пожелал. Ну ничего, еще представится случай сотворить добро для Хорива.

Что же получается, боярин? Не столько для своего рода живешь, сколько — для княжьего? Для князя, для молодых братьев его, для... Что? Ну да!

Ну да, есть еще сестра у них, Лыбедь. А ей какая подмога от Горазда? А надобна ли ей подмога от него?

Прежде не думалось о том. А сейчас вот подумал. Так что тут думать? Просто ведь... До чего же просто! Нету мужа у сестры княжьей. И у тебя нет жены. Вот и... Надо же, совпадает как! Может, самим богам так угодно было подгадать?

Чем нехороша тебе Лыбедь? Всем хороша. Глядеть на нее — взору услада. Слушать речи ее — отрада разуму. Род ее — достойнее не сыщешь на Горах. Сына бы от нее!.. Так чем же неудобна тебе Лыбедь?

Постой, боярин, постой! Погоди. А ты, ты сам, хорош ли ты для сестры княжьей? Пригоден ли?

Что ж. Разума и добра — на семерых. Славы и чести — всем бы столько. Ну? Что «ну»? Не запряг еще...

К чему ты ей теперь — стрелой травленный, плотью немощный? К чему ты ей, когда т а к и м стал?! Поздно-вато спохватился, боярин. Где прежде был? Куда очи твои глядели? Не видать тебе, т а к о м у, ни сестры княжьей, ни сына от нее. Смирись!

Легко сказать: смирись. Смирению учат пергаменты ромейские — где о Христе. Антские боги — иные...

А может... Сам любишь говорить: попытка — не пытка. Так принеси щедрые жертвы богам своим, испытай удачи. Чего тебе страшиться?

Чего страшиться? Боярин Горазд доселе ничего и никого не страшился. Но что станешь делать, когда не примут боги твоих жертв и отворотятся от тебя, когда не пойдет к тебе Лыбедь — к т а к о м у, и сам Кий не пожелает отдать сестру свою т а к о м у? Что станешь делать тогда? Как далее среди полян жить станешь? И куда уйдешь от них?

А от себя самого — куда уйдешь? Вот то-то и оно!

Что же ты прежде не спохватился, а, боярин? Что толку теперь вопрошать? После сечи секирой не машут...

Вот снова прихватило. Да как прихватило! Не только пуше вчерашнего — пуше нынешнего даже... Ух-х-х!..

Терпеть, никого не звать... Тер-р-р-пе-еть!..

.....
М-м-м!.. М-м-молчи, молчи, боярин! Молчи, не роняй чести... Пускай никто не слышит, не зрит, не ведает, все одно — перед самим собой своей чести не роняй. Терпи, терпи, как доселе терпел...
.....

Да сколько же можно вытерпеть человеку, еще живому? Бо-оги-и!
.....

Не отпускает, никак не отпускает. Конец, что ли?..
Нет, не конец еще. Не конец...
.....
.....

23. СТАРИКИ И СТАСИОТЫ

Только стремительно высокие кипарисы и густоажурные кусты туи оставались зелеными. Остальная растительность на улицах и площадях Константинополя щедро отдала за месяцы знойного лета свою спасительную тень и теперь, прежде чем обнажиться, закрасовалась осенними красками — желтым, оранжевым, даже пурпурным. Словно напоминая о богатстве государства, о пожарах на его границах, о золоте в его казне и о пурпурной мантии Императора.

— Что осталось от нашего золота? Где знаменитая посуда, взятая в карфагенской сокровищнице? За тридцать лет своего царствования Император умудрился истощить казну. На бесконечные войны и ублажение своих любимых федератов. На слишком щедрые подарки всем этим варварским вождям, ни одному из которых я не доверил бы даже должности привратника в своем доме. Он растратил богатства своей империи, он...

— Он же защитил и приумножил их, мой друг. Не говорю уж о торговых путях и рынках сбыта, здесь ты лучше разбираешься. Но вспомни-ка трофеи, захваченные у вандалов. Мало? А как мы потрошили остготов!.. Я был тогда попряме и покрепче, чем теперь. Первый Полководец заметил меня еще в африканской кампании и взял к себе в личную охрану.

— Он принял тебя за какого-нибудь гепида или герула?

— Не смейся, дорогой. В личной охране Первого Полководца не густо было нашего брата. Доминировали

крещенные варвары. Но какой идиот решится отрицать, что они и впрямь были непревзойденными драчунами? Император знал их способности и умел пользоваться ими. Не торопись же осуждать его.

— Не суди и не судим будешь? Это хотел ты сказать? Но позволь мне судить о том, что я вижу так же явственно, как вижу сейчас крест на куполе храма Богородицы и портики Влахернского дворца...

Так беседовали два старика, ветеран и домовладелец, прогуливаясь прохладно-солнечным днем вдоль прямой улицы в северо-западной части города между Золотым рогом и Большими стенами.

Первый — как ветеран армии — кормился за счет назначенной ему Императором скромной пенсии. Немало золота и серебра накопил он когда-то в различных походах, немало ценных подарков — награду за храбрость и верность — получил из щедрых рук Первого Полководца. Все это давно промотали беспутные сыновья. Серебро из Антиохии, украшавшее сейчас его высохшие руки и шею, оставалось лишь последним свидетельством былой роскоши.

Второй содержал в Эксокионии — дальних кварталах Константинополя, между старыми и новыми стенами, — три доходных дома. Два по семь этажей и один девятиэтажный. В многочисленных каморках этих домов-башен ютились бедняки, бежавшие в город из разоренных селений и готовые выполнять любую, самую тяжкую и неблагодарную работу, лишь бы прокормить свои многодетные семьи. От каждого из таких несчастных требовать большой платы за жилье было бы неразумно: пришлось бы либо сдавать комнаты в кредит, либо вовсе лишиться квартироплательщиков. И расчетливый домовладелец предпочитал не взвинчивать цены, а вкладывать доходы в строительство новых домов и тем самым увеличивать число квартироплательщиков. Спрос на жилье год от года возрастал. Росли соответственно и доходы домовладельца, почти все его толстые пальцы были в золотых перстнях с бриллиантами. Однако — то ли от преклонного возраста и плохой работы кишечника, то ли от дурного характера — толстяк вечно брюзжал, хотя держался при этом осанисто, как сенатор, а утомленно прикрытые веки придавали его одутловатому лицу сонливое выражение. И был лыс.

Ветеран же был тощ и согнут, будто в поклоне, его

еще не поредевшие седые кудри свисали на впалые щеки, а глаза сверкали, как у кошки в темноте.

Оба, как это свойственно старикам всех веков и всех земель, предавались праздным воспоминаниям о бесспорно лучших временах прошедших и сравнению их с бесспорно худшими временами наступившими. О светлых умах и темных страстях. О высоких словах и низких душах. Вечные контрасты!..

— Разумеется,— продолжал брюзжать лысый толстяк-домовладелец,— я учитываю не только расходы Императора. Я не забыл о его доходах, нет. Не менее трехсот фунтов золота ежегодно. Мне бы хоть одну треть таких доходов!

— Всего только одну треть? И не более того?— Ветеран затрясся от сиплого смеха, еще больше скрючившись.— Так тебе надо стать правителем провинции. Будешь получать как раз по сто фунтов в год. Но отсохни мой язык, если все свободные места уже не заняты. Ты опоздал, дружище! Впрочем, не вешай свой мясистый нос. У префекта претории Востока шесть сотен чинуш-дармоедов. Они, полагаю, тоже не бедствуют. Так неужели из шести сотен не найдется ни одного, кто вскоре отдаст богу душу? И тогда ты сможешь занять его место. Смотри же не проворонь!

— О, перестань издеваться надо мной! Думаешь, я не знаю, что наш щедрый Император расплодил уйму чиновников, не умеющих даже подсчитать разницу между прибылью и убытками? Но отчего же, скажи ты мне ради Христа, с каждым годом дорожает хлеб? Почему в нем теперь больше золы, чем муки?

— Потому что,— ответил ветеран,— всех оборванцев, которые живут в твоих домах, надо вернуть на поля. Пусть обрабатывают землю, которую предательски бросили. Лучше бы не родились их отцы! А в городе только и умеют что бунтовать. Семь бунтов только за последние десять лет! Мало? Эх, был бы сейчас жив наш Первый Полководец, показал бы он этим вонючим подонкам. Всех бы вымел обратно в села железной метлой, всех до единого!

— А кто бы в таком случае платил мне за жилье?

— Так не жалуйся, черт побери, на золу в хлебе.

— Не богохульствуй,— лысый толстяк вздохнул громко.— Если бы только зола в хлебе... Пойдем-ка помедленнее, а то душно что-то... А насчет бунтов ты,

пожалуй, прав. У меня такое ощущение, что империя — накануне гражданской войны.

— Похоже на то, — мрачно отозвался ветеран, двинув ногой серый шарик упавшей с кипариса шишки. — И единственное, в чем я могу упрекнуть своего Императора, — это в чрезмерной демократичности. Он дал слишком много воли плебсу...

— Наверное, потому что сам не из патрициев.

— Именно! Однако господь одарил его исключительными способностями. А он вообразил, будто каждый выходец из низов может оказаться таким же незаурядным. Будто исключение может стать правилом! В этом первое и главное его заблуждение. Потому-то он и возвысил совершенно незаслуженно такое множество потомков Хама. Оправдали они его надежды? Как же, жди! Они дорвались до непривычной власти, до непривычного благополучия, но не обладают наследственным благородством души и разума. Они неизбежно приведут Второй Рим на грань катастрофы.

— Это было бы ужасно! — воскликнул собеседник, тяжело дыша и опираясь складки просторного одеяния на своих жирных телесах. — А Император ничего не видит и не слышит. Или не желает видеть и слышать. И вместо того чтобы заботиться о земных нуждах своего государства, витает в небесах и занимается богословскими диспутами. Чем расходовать дорогостоящий пергамент на замечания о толковании Нового Завета, лучше бы издал побольше продуманных постановлений...

— Ага, теперь и ты богохульствуешь!

— Нисколько. Богу — богово, кесарю — кесарево. Надо издать постановления...

— Мало их было издано, что ли? А выполняется ли хоть одно? Поменьше воскресных проповедей, побольше власти! Вот что нам необходимо сейчас. Надо возродить девиз Первого Полководца: «Метко, сильно, быстро!» Во всех сферах жизни. И все равно... Все равно такие, как мы с тобой, осуждали бы Императора. За недостаточную демократичность. Не за одно, так за другое. Как бы он ни поступал. Потому что его дело — царствовать, а наше дело — ворчать. Будь она проклята, наша старость! Не был бы я сейчас старым крючком, разве позволил бы я своим сыновьям — лучше бы им никогда не появиться! — разве позволил бы я им беспутничать и не считаться с выкормившими и вырастившими



их родителями? Нынешние детки паразитируют на родительской любви, как клопы на твоих квартиростемщиках!

— Но родительская любовь от этого не убывает? — парировал домовладелец.

— Смотря чья. Родитель родителю рознь. И будь я помоложе, я бы...

— Что ты бы?

— Я бы снова пошел в гвардию, где скоро придется служить... бабам! Да, бабам! Потому что мужчины стали хуже баб, я не говорю о евнухах. Где наша бывшая гвардия? Где наша бывшая армия? Где они, где?!

— Тише, пожалуйста, потише. Ты так расшумелся, могут услышать...

— Плевать! Что они могут мне сделать? Что мне терять, наконец? Пускай слушают! И ты тоже слушай. Я не спрашиваю, как некоторые, где наша казна. Я спрашиваю: где наша армия? Почему из шестисот сорока пяти тысяч регулярного имперского войска осталось всего сто пятьдесят тысяч? Где остальные? Погибли в сражениях? Вранье!

— Куда же они подевались?

— Откуда мне знать? Потому и спрашиваю. А где гарнизоны наших пограничных крепостей на Истре? Сколько их мы в свое время построили и укрепили! И сколько разрушили — сами же! Чтобы не достались склавинам. Все равно достались... Так почему же нашлось кому разрушать, но не нашлось кому защищать? Рас толкуйте мне, старому воину. Не понимаю! Или мой рассудок так же ослабел, как мои руки? А ты видел сейчас, когда мы проходили мимо Больших стен, видел, в каком они состоянии? Это — в столице. Что же тогда говорить о провинциях? Нет хозяина, нет порядка!.. И ты тоже хорош, дорогой... Чем строить свои многоэтажные голубятни для ошипанных воробьев, лучше бы отремонтировать хоть пару башен вдоль Больших стен.

— А кто бы оплатил мне эти работы? Император, что ли?

— Оставь в покое Императора. Еще смерть Императрицы подсекла его. В конце концов, у каждого человека есть своя ахиллесова пята, своя главная слабость. Даже у Императора. Его главной слабостью была Императрица, мир праху ее. Жаль, не завели они детей. Племянники уже грызутся из-за наследства и престола — при

живом дяде! Вот мы его осуждаем за то за се. А где гарантия, что новый не окажется во сто крат хуже?

— Хуже, чем сейчас, некуда.

— Послушаем, что ты запоешь при новом. Император... он просто стар. Ты видел позавчера, на ипподроме, как опухли его глаза? Щелки в подушках! Он стар и немощен, как ты и я. Вот где причина всех наших бед — моих, твоих, всего Второго Рима. Когда так много знаешь и так мало можешь...

— Взгляни-ка! — прервал его собеседник встревоженным голосом. — Стасиоты!¹...

— Что?! Лучше бы не родились их отцы! Где?

— Да вон же, идут как раз нам навстречу. Подумать только! Ведь иные — из знатных и зажиточных семейств...

— Давно ли ставших знатными и зажиточными? Вчера еще жалкий оборванец, а сегодня придворный сановник! Как тут не вскружиться непривычной голове? Как не избаловать отпрысков? Вот и... Впрочем, мои не многим лучше... Когда господь создавал человека, он был усталым к концу недели...

— Ты опять богохульствуешь!.. Куда бы нам свернуть?

— Теперь уже некуда. Проклятая старость!..

Молодые и рослые, как гвардейцы, они приближались к старикам неторопливо, перегораживая освещенную солнцем улицу. Бороды не по возрасту. И «гуинские» (последний крик моды!) прически: ровно подрезанная челка и локоны по плечи. Модные хитоны с пышными буфами над тесными рукавами расхристаны — видны крестики на тонких дорогах цепочках. Небрежно наброшенные богатые плащи украшены понизу яркой варварской вышивкой. Из-под плащей виднелись короткие мечи и длинные кинжалы. И — тоже по последней моде — остроносые полусапожки, удар твердым носком такой обуви свалит хоть кого...

Приблизились. Запахло недавно выпитым вином. Один, видимо вожак, самый расфуфыренный, глядя как бы мимо равнодушными бесцветными глазами, заметил, обращаясь к ветерану:

¹ Стасиоты — «золотая молодежь» в Византии VI века, существовавшая за счет шантажа, грабежей и оплачиваемых политических убийств, предававшаяся кутежам и разврату, бесчинствовавшая на улицах Константинополя и других городов.

— Браслеты твои не по мерке, болтаются. А мне — как раз в самую пору. И хватит кланяться, разогнись, я разрешаю.

Ветеран, багровея, молчал.

— Да как вы смеете... — пискнул было каким-то явно не своим голосом домовладелец, но другой стасиот, сжав крепкими длинными пальцами его трясущиеся от негодования и страха полные бритые щеки, улыбнулся одним только ртом — глаза не улыбались, глядели нагло.

— Ты, толстый, помалкивай. Пока не покрасили пурпуром лысину. Понял? И готовь свое золотишко. Да поживей, а то нам некогда.

Домовладелец замолчал. Но тут не выдержала душа ветерана. Стоило ли воевать за таких? Заговорил с укором:

— Стыдитесь, ребята! Вы же в сыновья мне годитесь...

— Мы сыновья негодные, — прервал его вожак. — И ты нас, папочка, не устраиваешь. Даже как дедушка не нужен ты нам, своих девать некуда. А серебро твое, так и быть, примем. Кончай кланяться и давай сюда браслеты. Перстни — тоже...

Старый опытный воин понял: это сражение — проиграно. Но душа не мирилась. Безо всякой надежды пригрозил:

— А глотка у меня, между прочим, еще крепкая. Крикну — стража услышит, прискачет...

Стасиоты загготали, один присвистнул.

— Кричи, папочка, кричи погромче! Сейчас ты у нас так закричишь, что после долго-долго молчать будешь... А ты, толстый, зачем колечко в рукав упрятал? Нехорошо обманывать, грех!..

24. ДЕНЬ РУСАЛОК

Прошел по Днепру лед, крошась друг о дружку да о камни у порогов, растопляясь в воде под лучами Дажбога, к которому вновь возвращалась его прежняя щедрость. Ни одна льдинка, миновавшая Горы, так и не доплыла, надо полагать, до соленых вод Понта Евксинского.

Обильные внешние воды покидали левобережные плавни, испаряясь туманами к небу, стекая в Днепр, впитываясь в пески, в земную глубь и тут же выбиваясь

оттуда ожившими вербами. И повсюду на кустах вербы серебрились пушистые комочки, будто невиданно малые бесхвостые мышата росли прямо из тонких ветвей среди проклюнувшейся бледно-зеленой листвы.

Наступил Семик, или День русалок, — весенний праздник полян и всех антов. Потому строительство города на новой Киевской горе было приостановлено.

Этим летом поляне никуда в поход не собирались. В полуденных степях хозяйничали обры, отрезая привычный путь к Понту. Кий твердо решил никуда и ни на кого не ходить, пока не поставит город на Горах. Даже в полудне сам не ходил, послал одного только Хорива с молодой дружиной, остальных же держал при себе на Горах. Мало ли что...

Уже был выкопан ров, отделявший полуденную часть горы, где нетронутыми остались могилы. Он тянулся от яра и до яра, глубиной в два-три человеческих роста, с укрепленными дерном чуть наклоненными краями — чтобы не обваливались и не оползали после дождей. Вдоль рва навалили камней, насыпали земли, получился вал. Только на валу принялись ставить не частокол, как прежде, а два ряда стен бревенчатых, плотно набивая меж ними песок с камнями.

Всю зиму, в стужу и мороз, в метель даже, из строевого леса, сплавленного сюда еще минувшим летом, возводили башни и стены, терема и конюшни. От зари до зари стучали секиры по дереву и молоты по железу. Сбивали наледь с неохватных бревен, тесали с обоих концов — для замка. Дружно накатывали — раз, два — взяли! — и подгоняли, чтобы бревно к бревну.

— Е-ще взя!..

Неслухи-бревна вырывались из заледеневших нескладных рукавиц, катились обратно, на плечи, на головы. Раззяв калечило. Снова брались, цепляя замороженное дерево баграми и секирами.

— Е-ще р-раз!!!

Напрочно сцепляли по углам, как сцепляются меж собою крепкие пальцы.

Под коренные бревна укладывали камень, поплотнее, в три-четыре ряда, чередуя круглый с плоским, отесанным. Из камня же ставили новое капище — поболее того, что на Лысой горе, и не круглое, а вытянутое и с выступами на четыре стороны — на полдень и полночь, восход и закат. Тут уж потрудились каменотесы, в их числе и те

рабы, которых когда-то на Истре отбил и выкупил у ромеев Хорив. Только трое из них определены были по другим делам: старик — пересказчиком, другой — оружейником, а третий — лекарем и он же серебряных дел мастером.

Прерывали работы только на ночь да в дни праздников. Как сейчас вот — в День русалок...

Освободясь от надзора за строителями, Щек вывел своего малого сынишку Селогостика погулять под ясным небом, поглядеть на праздник. С ним увязались и двое сыновей Кия — старшенький Идарик и меньший Межемир. Все трое детей дружили меж собой, и волхвы предрекали, что ждут их великие славные дела... ежели всегда так же дружны будут.

Уже под вечер, собираясь отводить малышей к матерям, Щек услышал множество поющих женских голосов, доносившихся с той дороги, которая поднималась от самого Подола и огибала по верху Горы. Пошли туда и увидели два наступающих друг на друга неторопливых хоровода. Все девы и жены здесь были в долгих ярких одеждах с вышитыми узорами, нарумяненные, во множестве блестящих украшений с камнями — медных, серебряных, а у кого и золотых. Золотистые волосы — у одних темные до черноты, у иных едва не белые, у большинства же цвета спелого колоса — стянуты обручами с подвесками-слезками; на висках — крутые завитки того же металла, что и обруч; в ушах — невесомые длинные серьги с подвешенными камнями, до самых плеч; на открытых шеях — цепочки, ожерелья, ряды нанизанных бусов-каменьев, червонных, лазоревых, белых...

Щек узнал в хороводе и Бояну — вдову гридня Брячислава. Нарядная, улыбается. А что же — горевать весь век? Или — в жертву Перуну, как то бывало еще при Рексе? Двоих детей растит — то и будет лучшей памятью павшему мужу...

Посреди каждого хоровода кружилась плясунья с долгой палкой в руке, а на палке не то сноп, не то человек соломенный.

— То русалки, — разъяснял детям Щек. — Видите, у каждого хоровода своя русалка. Глядите же, что далее будет...

Они, как и многие вокруг, остановились у дороги и глядели. А оба хоровода сблизилась, пение прекратилось, поднялся невообразимый гвалт — кричали, хохотали,

взвизгивали. Над смешавшимися в единую толпу хороводами качались, будто кланяясь без толку на все стороны, соломенные русалки.

— Что они там делают, дядя Щек? — спросил изумленно Идарик. — Дерутся, что ли?

— Право, тато, дерутся! — подхватил Селогостик. — Вон одна русалка упала уже... нет, поднялась, поднялась!

Межемир, наименьший из троих, помалкивал, наблюдая внимательными глазенками, карими, как у Кия.

— Каждый хоровод, — объяснил Щек, — защищает свою русалку. А теперь, глядите, все побежали в лес на поляну. Там они растерзают русалок и всю солому разбросают.

— А чего они так жалобно закричали? Они плачут, да, тато?

— Им жалко русалок, сынко.

— А они их похоронят? Га, дядя Щек?

— Непременно похоронят, Идарик. На поляне. И будут там плакать над ними.

— Пойдемте и мы туда, за ними, глядеть!

— Нет, детки, — ласково, но в то же время строго возразил Щек. — Вам пора по домам.

Отведя малышей, он велел оседлать коней и с десятком своих дружинников поехал через яр и ручей на полночь — к Лысой горе. Туда же, на Майдан, к концу дня хотел прибыть Кий с боярами, тысяцкими и воеводами, в сопровождении гридней, чтобы принести жертвы богам, еще не перенесенным на новое место, и пировать до утра, в честь праздника. Хориву же до Майдана со своего двора — рукой подать: только выйти за частокол на валу...

Щек молча ехал в наступившей полутемноте по знакомой тропе меж закрывающих небо деревьев и думал о Семике — Великом Дне русалок. Волхвы утверждали, и все поляне были в том убеждены, что души умерших жен и дев, особенно утопших, становятся русалками. Живут они в воде, откуда только при полном и ясном месяце выходят на прибрежные лужайки поиграть. Зимой же, когда вода становится льдом, русалки поселяются на деревьях и спят там на ветвях, как птицы. Иные все лето после могут так и пробывать там, высоко в листве, никем не видимые, только иногда можно услышать шорох...

Щек вздрогнул: закопошилось как раз над головой. Поднял взор — там, в дальней вышине, в сплетении многих темных ветвей, светилась непонятная звезда. Звезды — тоже души человеческие. И нет им ни конца ни края. Нет им числа...

Тут, непонятно отчего, мысли Щека обратились к Лыбеди. Он давно уже не видел сестру, с той самой поры, как стала она женой Горазда.

Многие желали взять ее себе в жены, чтобы породниться с могучим полянским князем. Даже великан Вовкобий, князь северян, оказался в числе желавших. Кий — по праву старшего в роду — всем отказывал, кому пожестче, а кому помягче. Вовкобию сказал так:

— Не обижайся, друг. Всем ты хорош и люб ты мне. И лучшего мужа для своей сестры не мыслю. Но сам посуди. Отдать тебе сестру, чтобы увез, не смогу никак. Сам ведаешь, каждая жена теперь на счету у полян, тут не то чтобы соседу их отдавать, а у соседей бы еще занять... Были бы у меня хотя бы две сестры, уж для тебя бы, друга верного, уступил бы любую. А нету ведь двух, одна Лыбедь у меня, так Дажбог присудил... Взял бы тебя в свой род, лучшего родича не сыскать, всегда рад тебе здесь, на Горах, рад пировать с тобой и вместе в поход ходить. Но, опять же, сам посуди. Не такой ты человек, чтобы в примаки¹ идти. Зело великий и славный ты муж, чтобы стать примакком. И не захотят северяне твои отпустить от себя такого князя. Да и сам я не решусь обидеть северян, оставить их без тебя...

Так говорил Кий соседу своему Вовкобию. Верно ли говорил? Может, упустил возможность породниться с северянами и тем самым еще крепче привязать их к себе? Но не исключено, что опасался иного: как бы после, породнившись, северяне не подмяли под себя полян, не сели бы на Горах. И Щек подумал, что старший брат поступил разумно и дальновидно, отказав Вовкобию, но так, что не поссорился с ним, не обидел.

Славный добродушный великан-северянин, выслушав столь деликатный отказ, тотчас согласился, что в примаки ему идти мало чести, и с легким сердцем, без обиды, остался у себя на Десне княжить по-прежнему.

Иные же, получив отказ, огорчились и даже гнева-

¹ П р и м а к — муж, приходящий жить в семью своей жены.

лись, однако оставляли свой гнев при себе: с Кием не поспоришь...

И досталась Лыбедь полянскому боярину Горазду, осталась в своей земле, на Горах. Что же, Горазд — великого разума муж. Да никак не оправится после сечи с обрами. Рана от принятой за князя стрелы никак не затянется, что ни день — все намокает да намокает, и волхвам заговорить не удастся. Знать, нечиста стрела была... Счастлива ли с таким мужем Лыбедь? Кто ведет? Сама ведь не скажет, гордая! А что знают о ней братья?..

Щек вздохнул тяжело от таких неожиданных дум. Вдохнул и конь под ним.

Вскоре выехали к Лысой горе. Боги над капищем озярялись множеством костров и факелов. Светились окна и в доме Хорива за частоколом.

Недалек час, переберется отсюда Хорив на гору, где досиживает последнее лето старший брат. Уйдет князь с нынешней своей горы на соседнюю, будет сидеть в новом тереме, за высокими городскими стенами, рядом с новым Майданом и новым капищем. Туда же, к новому капищу, в город Киев, перенесут отсюда и деревянных богов. Тогда поселится на осиротевшей Лысой горе нечистая сила, и будут на ней ведьмы плясать по ночам, тревожа вечный сон полянских дружинников, погребенных после Желановой смуты здесь же, под великим горбом-могиллой. Так предрекают волхвы...

А самого Хорива ни в доме, ни на дворе его, ни на Майдане все еще не было. И никто не ведал, куда подевался княжий брат. Только престарелый Белый Волхв, давно уже не покидавший своей пещеры, глядел на любезного сердцу гостя незрячими белесыми глазами, тихо перебирал костистыми пальцами чуткие струны и говорил:

— Да не только утопленницы становятся русалками, Хорив. Не только... И невинно убиенные, и спаленные в муках... Душа человеческая не исчезает после смерти. Но у каждой души — свой путь. Одни остаются жить в детях и внуках. Другие улетают к звездам и возвращаются оттуда обратно к людям — каждая в свой предназначенный срок. Иные же становятся русалками. Ты спрашиваешь, стала ли русалкою душа Миланы? Того тебе ведать не следует. А следует тебе ведать иное. После смерти человека душа его еще долго-долго может жить в

памяти нашей. В душах живущих. Сейчас душа Миланы еще не ушла из твоей памяти, еще живет в тебе...

— Я же чую, чую!— воскликнул Хорив и тряхнул головой так, что черные кудри упали на серые глаза.— Лето за летом, поход за походом, а душа ее во мне, во мне! В сечах лютых погибели себе искал — Дажбог не допустил...

— На все воля богов,— произнес волхв.— Будет на то воля их, настанет срок, и покинет твою память душа Миланы...

— Никогда! Никогда боги не допустят такого!

— Того ты не можешь ведать. Придет и твой срок, Хорив. Приведешь в свой дом жену, которую сегодня еще не зрел. И быть после на Полянской земле многим детям твоим, многим внукам и правнукам. В них долго еще будет оставаться твоя душа, в их памяти. А останется ли с тобой и где будет тогда душа Миланы... то и от тебя самого зависеть будет. Только добрая память о живших прежде не должна мешать новой жизни. Не может мешать. Помогать должна. И поможет, не раз поможет.

Ослепший старик умолк. Но струны под его пальцами зазвучали громче — отзвук их входил в душу Хорива и оставался там, в душе его, надолго. Навсегда...

На Майдане в тот же поздний час все громче звучали голоса пирующих. Там же находились, вместе со всеми, Кий и Щек, только их голосов не было слышно, оба пировали молча. Обоих тревожило, что нету с ними Хорива, запропал где-то.

А куда он от них, от братьев, денется? Куда уйдет от города Киева, вставшего отныне и навек над Днепром? Некуда уходить. И — незачем.

Что тут истина бесспорная, что предположение и что домысел — в том давно уже ученые люди стараются разобраться, немало интересных трудов о том написано, немало споров по сей день ведется. Так пускай рождается в тех спорах не пагубная усобица, а — единая правда.

Я же тем временем, как сумел, поведал то, что удалось узнать. Поведал так, как сам себе представил, когда после долгой разлуки воротился в родной город и будто увидел вдали, с высоты нового моста, старые и нестаряющиеся горы над неповторимым Днепром.

1 p.



ГОРИС ХОТИМСКИЙ • ПОЯВЛЕНИЕ